

Помимо отрубания голов, роговцы четвертовали, распиливали, сжигали живьем. Сибирский писатель В.Я. Зазубрин в 1925 г. встретился с партизаном Ф.Я. Волковым, который согласился передать в новониколаевский краеведческий музей «на историческую память» ту самую двуручную пилу, которой он вместе с женой казнил приговоренных. Председатель Кузнецкого РИКа Дудин на зазубринской записи рассказа Волкова начертал: «Факт распилки колчаковских милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых подтверждениях не нуждается».

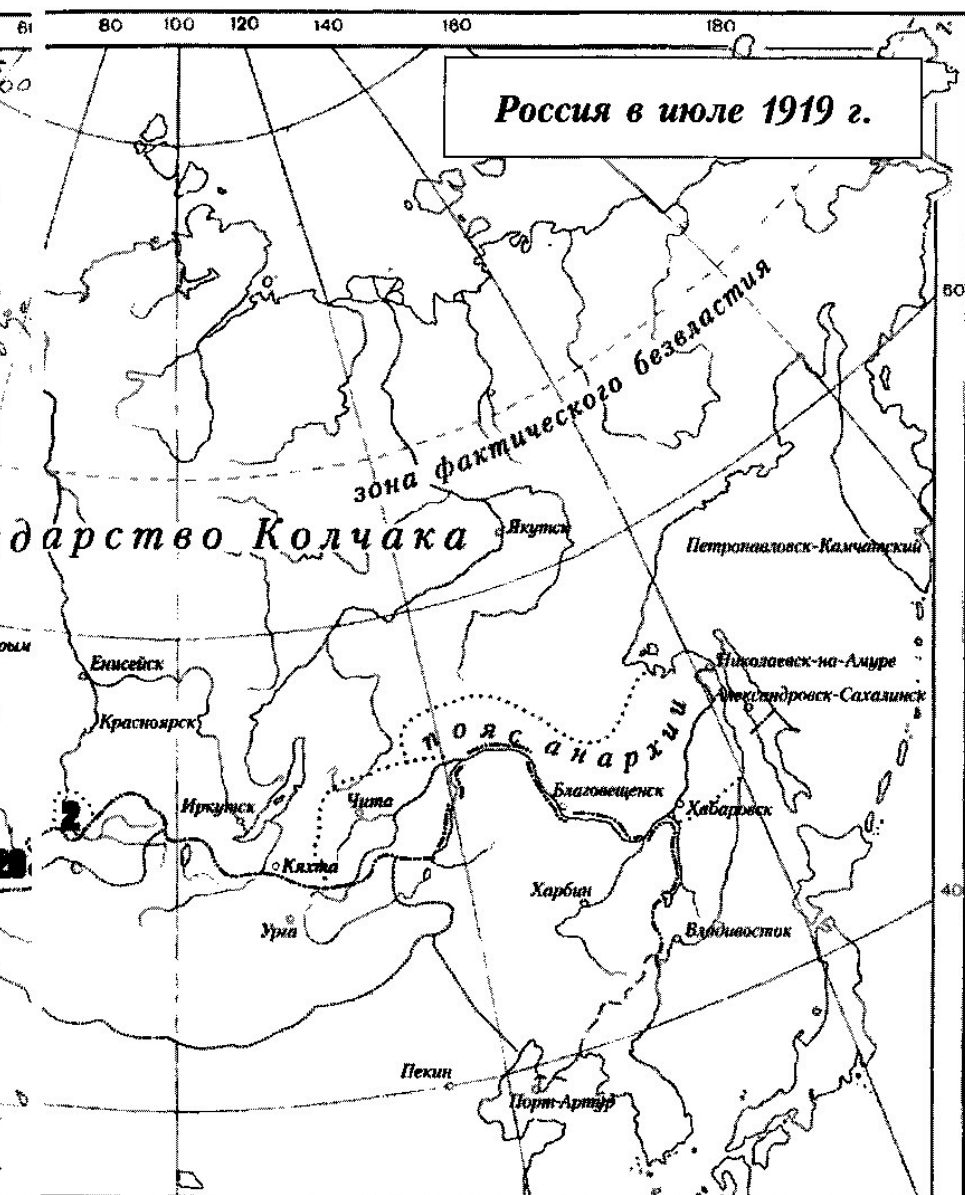
**А.Г. Тепляков. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в
Сибири, 1918—1929 гг.**

В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда — вниз головой — пленных красноармейцев, оставляя ноги их — до колен — на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землей, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других

Максим Горький. О русском крестьянстве



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Государство Мамонтова | 8. Всевеликое войско Донское |
| 2. Государство Шетинкина-Кравченко | 9. Уральское казачье войско |
| 3. Северо-Западная армия Родзянко | 10. Оренбургское казачье войско |
| 4. Зона турецкой оккупации | 11. Грузия |
| 5. Вторая Речь Посполитая | 12. Армения |
| 6. Зона Румынской оккупации | 13. Терское казачье войско |
| 7. Северное правительство | 14. Кубанское казачье войско |



15. Закаспийское правительство
16. Хива
17. Бухара
18. Особый Читинский округ
19. Государство анархиста Рогачева
20. Пояс анархии

21. Семиреченское казачье войско
22. Туркестанская советская республика



СИБИРЬ В ОГНЕ

Неизвестные
рассказы
о Гражданской
войне

Новосибирск
2017

УДК 821.161.1-3

ББК 84(0)5

С 34

- С 34 Сибирь в огне. Неизвестные рассказы о Гражданской войне. — Новосибирск: Common place, 2017. — 358 с.
ISBN 978-999999-0-33-2

В книге собраны малоизвестные рассказы советских писателей 1920-х годов, посвященные различным эпизодам Гражданской войны на территории Сибири. В этих рассказах нет имен известных комиссаров, офицеров, руководителей партизанских отрядов. Центральное место в них занимает судьба простого человека, вовлеченного в вихрь трагических событий, которые прокатились по всей стране после революции 1917 года.



ISBN 978-999999-0-33-2

Публикуется под лицензией Creative Commons
Разрешается любое некоммерческое
воспроизведение со ссылкой на источник

Оглавление

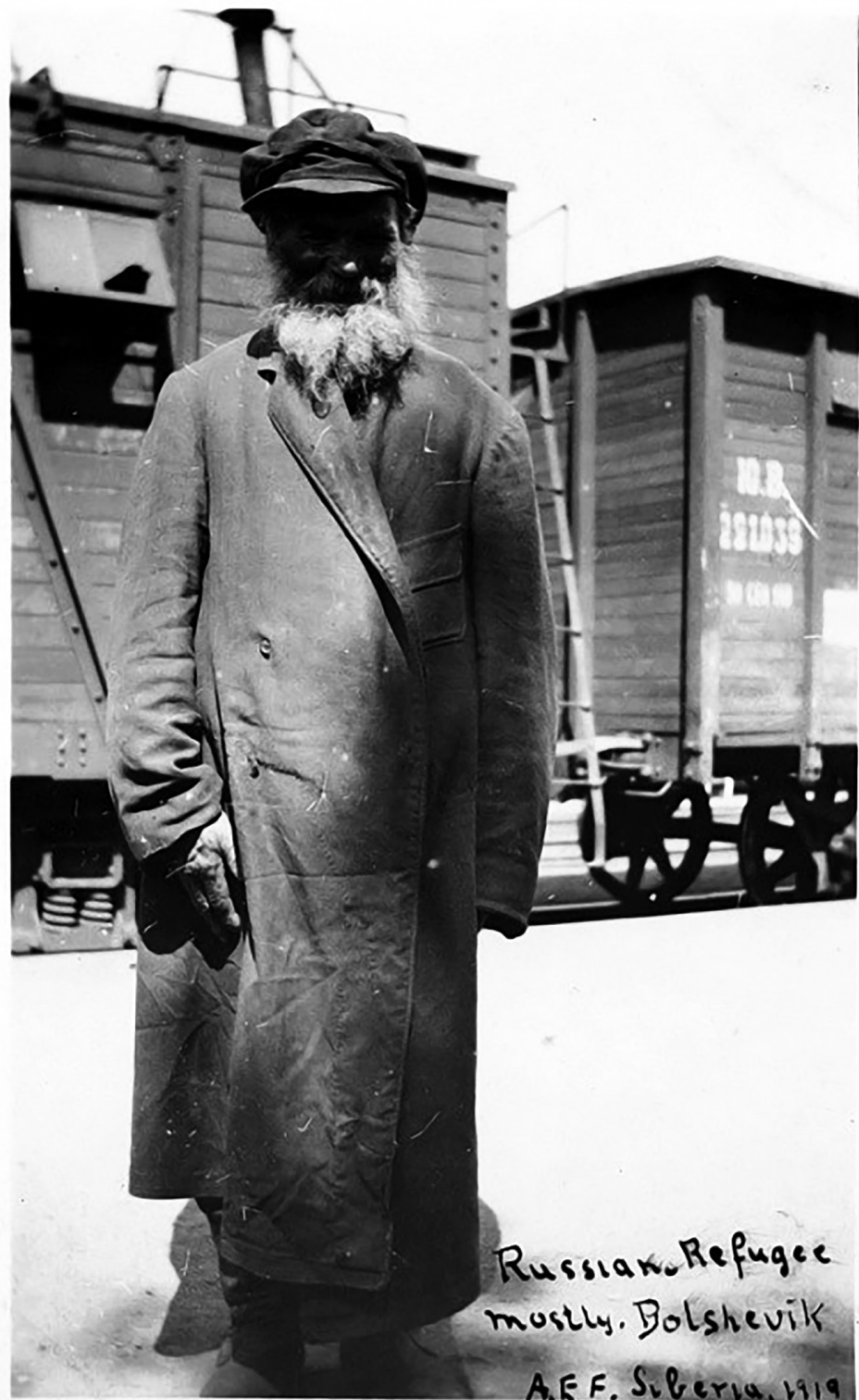
Максим Горький. Рассказ о необыкновенном	9
---	---

Сибирь в огне. Неизвестные рассказы о Гражданской войне

М. Басов Эвакуация	48
М. Кравков Таяжными тропами	58
К. Урманов Заноза	80
Н. Дубняк В те поры	95
А. Сорокин Примитивы	104
Р. Фраерман На мысу	113
Г. Пушкарёв Миниатюры	138
А. Коптелов «Антихристово время»	147
М. Скуратов Котел	182
В. Боровский Голые люди на голой земле	209
С. Горлов Колодезь	269
М. Никитин Партизанская женка	279

Приложение

Г. Вяткин Четверо	303
В. Шанявец Паутина	313
Ф. Абрамов Воскресник	351



Russian Refugee
mostly. Bolshevik
A.E.F. Siberia, 1919

Максим Горький

Рассказ о необыкновенном

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнатке «мавританского» стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он вытянув ее, на ней тяжелый, рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрепаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустики желтых, редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щетку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно, такие пучки лица, серые, угловатые, с глазами неопределенной окраски, — обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное острие, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору, — я упрямил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую, темную губу. А иногда слова утрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивленно расширяются.

Оставляя большую ногу неподвижной, он все время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Темные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пеструю — золотую, красную, синюю — стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплета рамы, ищет чего-то на широкой, темной полосе пустынной Невы. Расстегивая и вновь застегивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдаленно, глубоко из груди.

По месту жизни, по бумагам — я сибиряк, а по рождению — русский, рязанец из-под Саватьмы. Слово это — Саватьма — осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли:

— Мы из-под Саватьмы.

Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это — река, а вода в ней необыкновенно черная, однако никому об этом, — даже товарищам, ребятишкам, — не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал:

— Дурак, не Саматьма, а — Саватьма, и не река, а — город, уезд.

Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой — нет.

Деревню свою — не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жилье, а игрушку; есть такие игрушки: домики, церковки, скот, все вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зеленой краской. В детстве очень манило меня это село.

Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности — объелся рыбой. Пошел я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

Это был человечиче кряжистый, характера тяжелого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчете у бога: сами грехом не брезгуют, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за всё и, еще будучи подростком, увидел бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать — каторжно.

Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а всё еще едят, покраснеют, надутся, а всё чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда — в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично нарядятся и всем стадом — гонят в церковь, за двенадцать верст.

Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены, — один в солдатах, — две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены — дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена — зверь баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был еще батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом еще старухи какие-то, вроде крыс.

Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву:

— Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то. А тот отвечает:

— Заживет и без того. А охромееет — выгода, в солдаты не возьмут.

Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует:

— Конечно — уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они — окаянные.

Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Со всем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одежду починит и рубахи пошьет. Братья, невестки не любили ее, смеялись над нашей дружбой.

— Какой он тебе жених, когда хромой!

А у нее этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась — редко, а улыбнется — сразу легче станет мне. И не плакала; побьют ее, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако — злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давать; поймает цыпленка, стиснет его в ладонях и задавит.

— Зачем ты это?

Не сказывала, только плечиками поведет. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушел. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю: «Надо там жить».

А где это село — не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однажды даже письмо послал ей, не ответила.

У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы — мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежду почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище мое Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языков. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следовательно и говорит:

— Ты сам сознался, что по чужому виду живешь; значит — скрываешься от воинской повинности али от чего-то и еще хуже.

Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено — хромой, стало быть это я и есть, Зыков. В Сибири никому не верит.

— Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а все-таки надо собрать справки о тебе.

Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной:

— Вовсе ты не Зыков и не Языков, а — Язёв, потому что у тебя морда рыба.

Так и прозвали: Язёв.

Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, все думаю: как это допускается — морить челове-

ка в тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лежа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три, — тут и всё. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу, «Богородицу-деву» — трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

Конечно, вера — глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

Валялось в камере, кроме меня, еще семеро, — четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик — высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснется раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив ее водою, расчешет голову, бороду, застегнется весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось — умный сектант!

Слесарь — черный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят, усики чернеют. Глаза — как у киргиза. Лощеный весь и на тюленя похож, на ученого, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

Вот, однова, когда воры заснули, слышу я — старик ворчит:

— Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и дают. Упрощение жизни надо сделать.

Слесарь — досаждает, бормочет:

— И я про то же говорю.

— Врешь. Ты — вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты — особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут — горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, коман-

да и насилие. Отсюда все необыкновенности в пище, одежде, все различия между людей. Это все надо — прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть — там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими владеть он не должен. Вот — пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка.

Слышу я — правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на все отвечает, у нее естество густое, ее хоть руками бери.

Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так — спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я — слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: все на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой — хотя, не хотят — поравняются и все станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия, — попов, купцов, чиновников и вообще господ, — запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

— Душу окрылить надо, — доказывал старик. — Главное — свобода души, без этого нет человека!

Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю: «Господи Иисусе, какая простота святая живет между людьми, а они всю жизнь маются!»

Думаю и даже улыбаюсь, а воры еще больше смеются надо мной.

— Смотрите, Язёв о невесте думает!

Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, все слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время бог еще был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает:

— Живи у меня, Яков; ты человек смирный, с приду-рю, бродяжить тебе не годится.

Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует:

— Иди, иди, Яков, ищи свое счастье.

Конечно, я рассказал ей все, до чего дошел, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается:

— Всё — верно. Так и надо.

Я — ей:

— Шла бы ты со мной, Любаша!

Забоялась:

— Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла.

Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе ее я себя видел, как в зеркале. Прощалась — заплакала однако...

Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барины разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своем был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки — красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому: «Не притворяйся, я твое уродство вижу».

Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кряхтит, песенки сквозь зубы поет и все отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И — побаивался я его.

Встретил он меня хорошо, шутит:

— Ага, явился, мешок кишок!

Это у него любимая поговорка была — мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с маленькими детьми, сунет руки в карманы и — шутит. Поднес мне водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришел на кухню:

— Ну, говорит, рассказывай!

Было это зимней порой, к ночи, вьюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает, — борода небольшая, куриным хвостом.

До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всем даже до того, что задумаюсь и — будто нет меня, только одна душа в воздухе живет. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

Рассказал, конечно, про старика, про слесаря — доктор хохочет:

— Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить — легче, умному — забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который все простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом — чернозем. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это — закон!

Ловко говорил; будто в мешок зашивает меня. И, конечно, шутит:

— Надо, говорит, смотреть на все с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая.

Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки — толстые, в переплетах, их два шкафа, а эти — тоненькие, детского вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю: «Как мне

знать, правильно ли тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшний, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

Доктор спрашивает:

— Читаешь?

— Читаю.

— Интересно?

— Интересно.

Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а — для чего писалось. Писалось же, говорю, для успокоения моего.

Однако — читать я привык; наклонись над книжкой, глядишь в нее, как в омут, текут, колеблются разные слова, и незаметно проходят часы; очнешься — удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. А суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть. Своя мысль — честный огонь, при нем чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечки. Этим я могу похвастать.

Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало — после работы в больнице и объезда недужных по городу, скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое вино это, ухмыляется, балагурит, все об одном:

18

— Мы-де присуждены жить под властью прошедших времен, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днем командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей, и от этой канители не увернешься, как ты ни вертись.

Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность, и тут доктор обмолвится:

— Конечно, лучше бы все сразу к черту послать...

Однако — сейчас же и прибавит:

— Ну — это невозможно!

Досадно мне слушать его.

«Ведь вот, думаю, и умен человек, и знает все, чего надо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боится». А я уж решения достиг и остановился на нем твердо: ежели райская птица, человечья свобода, запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем задыхается, — режь сеть, рви ее!

Я даже намекал доктору, подсказывал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся — осмеет он меня, не то — по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы, и если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какой-нибудь беспорядок — я на него не сердился.

От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в бога, как незаметно лысеют: еще вчера щупал макушку — были волосы, а вдруг — хватъ — на макушке голо! Да. Не то, чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Ненадолго однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на все из-за бога, как из темного угла, а теперь сразу развернулся предомной простор, явилась безбоязненность и эдакая легкость разума. Простился я с богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидал, что в бога верует только негодница людская, враги наши.

Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь, и видел все мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одежды, разных необыкновенных штучек. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни, — для красоты пожалуйста в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звезды! Звезды тряпкой вытирать не требуется. А от этих разного вида земных бляшек — только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

Доктор одевался, умывался — скажем — пять минут, а запонки в рубашу втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по-матерному ругается, как мужик. Тоже и ботинки с пуговицами — сколько времени требуют? А простой, русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застежки, ленты, кружева и всякие фи-

гурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью — и сам крупнее будешь. А игрушки — прочь, игрушки надобно вымести вон...

Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется — правильно говорит человек, а отказаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что все господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками — бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет, — он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что, ударив раз, два топором, он это же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, все насчет осторожности, дескать — сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже иной раз жалко было мне его.

Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зеленым глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник, иглой ткнул, глаз вытек довольно аккуратно, веко опустилось плотно, и особенного безобразия лицу ее этот случай не принес. Лицо — художавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь; молчаливая такая, строгая, а говорили про нее, что распутна. И вот потянуло меня к ней, чувствую, что зеленый глазок ее разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Рожа у меня в ту пору еще добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша снова сказала:

— Глаза у тебя, Яков, как у барышни.

Однако при всем этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей:

— Ты — кривая, я — хромой, давай вместе любовь крутить.

— Нет, говорит, не хочу, устала я от вашего брата.

Упрямство это еще больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на сердце, одолел бабу, и — точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у нее была похожа на драку: я скоро заметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у нее, не одолеет — сердится.

И замечательного прямодушия была; спрашиваю ее:

— Обманывать меня будешь?

— Не буду, — говорит. А подумав несколько, вдруг — довесила:

— Только, видишь ли...

И — как по уху ударила:

— Буду.

Я ее чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в ее воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь — дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью. А все-таки прямота ее понравилась мне. Вскоре увидал я, что и по душе она — сестра мне и разум у нее не спит.

Характером была трудная; чуть заденешь ее, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет, и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил ее:

— Чего ты такая злая?

Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал ее, когда ей шел еще шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насилие, ну, а потом сестра догадалась и выгнала ее из дома. Года три жила она проституткой, потом избili ее пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал ее, но он не согласился.

— Жила ты с ним? — спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо:

— Где уж, нам уж, выйти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся.

— Что ж ты, говорю, насмехаешься? Тебе его благодарить надо.

Облизала губы и ворчит:

— Я еще поблагодарю.

Просто говоря, была она женщина редкая, это потом увидите. Тело тонкое, ловка, как белка, одевалась в свободные дни хоть и не богато, а достойно настоящей женщины из благородных. Да. Любаша была миловиднее лицом, а телом — неуклюжа.

Вот — живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война

все разыгрывается, глотает людей, как печь дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит:

— Ну, мешок кишок, едем, что ли, изломанных дураков чинить?

Поехали. Татьяна тоже взяли сестрой, она фыркает:

— И — верно: дураки! Поломали бы ружья, пушки, вагоны — вот вам и война.

Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут — песни поют, оттуда ползут — стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне:

— Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!

Посерел, скулы обострились, рычит на всех и без оглядки ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне:

— Вот как дерзко человек к делу рвется!

А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы:

— Ему за это чины, ордена дадут.

«Ну, нет, думаю, тут должен быть другой расчет!»

Доктор говорил обо всем честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца пьяницу, как наследник хозяйству. Служащие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются — плохо, все плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он говорил осторожней, ну, не нашел я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что простым порядком в морду ударит, совсем освирепел.

Вдруг выскочил на станцию легавый старичок, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что ли, выпучил глаза и завертелся, закружился, орет на доктора:

— Под суд, под суд!

Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет:

— Это что?

Ну, для начальства бумага — не закон, как для бога-маза икона — не святыня. Арестовали доктора, посадили к жандармам, — Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидел, до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней:

— Что он, доктор, любовник тебе?

И надо мной смеются. Мне — конфузно. Хоть и не замечал я, что она обманывала меня с доктором, да ведь разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одежда лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь:

«Это она из благодарности за доктора старается».

Не знаю, как бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землей, как воронье на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, револьверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция — побежал солдат с войны.

Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нем, одни солдаты. Высыпались они на станцию, и начался крутёж, такую пыль подняли — рассказать невозможно. Начальника станции — за горло:

— Давай машиниста!

Старика жандарма ушибли до смерти, — злой был старичок. Всё побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки и — дальше! Остались мы, как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал да проснулся.

— Нам бы уехать отсюда, — говорю.

Он мне кулак показал:

— Я те уеду!

Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их — еще поезд гремит, тоже полон сумасшедшей солдатней, и — пошло, покатило, стал народ вывертываться наизнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая метель буянила.

Страх в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты, фельдшер, сестры, санитары разбежались, и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас всё едут, едут с воем, с гиком, — подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, невдалеке прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза, — жуть! Проживешь в темной тишине, как в яме, часок-другой, и снова слышно: гремит, воем, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

Дней десять в этом страхе торчали мы, а — зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было всего девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась революция и должна быть перемена господства власти. Я — соображаю: «Значит: другую узду на людскую нужду».

Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, до плотности камня. Татьяна слушает доктора въедчиво.

Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос:

— Брезгуете?

Заглянул в окно, стоит она перед доктором, струной вытянулась, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей:

— Иди, иди...

Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит:

— Жить нам тут незачем.

Смеюсь внутри себя, соглашаюсь:

— Конечно, незачем.

Я за ней очень следил, — хотелось мне поймать ее с доктором. Тогда бы избил я ее, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить ее, — не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, ехать Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат — мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдем в деревню — накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому:

— Упрощения жизни ждать надо, вот чего. Слабеет сила господства, иссякает; вон они и воевать разучились. Пустяками они держат нас под собой. Глядите, — надвигается наше время.

Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его она поверила, революцию эту принимает как праздник свой. Говорю ей:

— Ты, дуручка, одно помни: без лакеев господа не живут. Фыркает, не слушает меня.

Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идет крутёж. Во всю силу, на улицах, на площадях шумит народ, шевелится, вроде раков в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим, скажу: китаец — человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китайцем — не пробуй, обыграет.

Татьяна — у праздника. Блестит зеленым глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем:

— Довольно господа брезговали нами, будет!

Гляжу я на нее и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые шашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завел знакомство с парнем одним, — политический, только что со ссылки бежал, силач, ручки длинные, а — смешно сказать — человек мелкого дела, часовщик. Состоял в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Бунт понимал так, что-де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю:

— Ты — шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты — мол — не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь.

— Погоди, — обещает, — шагнем!

Хороший был парень, а — простоват. Заторопился поверить в партию, а тогда — какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская, и господских не одна, да только все они тогда дело крутили на власть, не на интерес народа, а против царя. Это вот теперь наша партия правильно идет.

При мне и началось там необыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами, и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге народ били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком — глаза человека будто остеклели, как у слепого или покойника, а присмотришься — дрожат глаза.

Был у часовщика приятель Петр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть

пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семнадцать рублей и говорит:

— Вот, глядите, товарищи: словами мы все разрушаем, а на деле крысу убить стыдимся, не то что городского, и если убьем кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей.

Это — верно сказано: я сам видел, как у политических длинна дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще читинское время было для меня довольно поучительное, посмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях еще больше.

Я, счастливым случаем, уцелел от смертной расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мне, спрашивает:

— Ты, хромой, откуда — не из Барнаула ли? Ну, — говорит солдатам, — я его знаю, это — дурак! Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил.

Я — обрадовался, шучу:

— Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали.

Унтер толкнул меня в переулок, кричит:

— Ступай прочь, сукин сын, моли бога за нашу доброту.

Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным-то носом, политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические — мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощение жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли — меры нет! Политика — это тоже направление к господству, к насилию. Видел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех — одна цель: показать себя умнее другого.

Татьяна говорит мне:

— Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и, кроме себя, ничего не склонен видеть...

Глупо говорила; она стала еще злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у нее стал острее, травянистый глаз,

вроде как бы медь окисла в зрачке, и такой стал ядовито мокренький глазок. В голосе — тоже медь звенит. Подурнела, еще боле усохла, нос вытянулся, губы истончились.

Да.

— Кроме себя, говорит, ничего не видишь.

Каждый из нас, дуреха, живет в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот — святые, они будто на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому.

Стала мне эта женщина окончательно противна, ушел я от нее и нанялся сторожем на станцию одну, — название у нее смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело свое делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнивать, жизнь упростить. Это — все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме, — жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда — как у сома, усы китайские. Этот — действительный дурак. Вытаращит глазищи, слушает и сопит, а ночами — я ночным был — придет ко мне, упрекает:

— Ты говоришь то самое, за что вашего брата насмерть бьют. Это тебя политические научили.

А я ему в простоте душевной отвечаю:

— Политические, Осип Григорьич, не учителя простецам, а — враги. Они хотят власти, а нам нужна свобода души.

Сопит Кириенко:

— Очень приятны твои слова, после того, что случилось. Все-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я, говорит, вижу, речи твои по Евангелию, но теперь и это не годится.

Коротко сказать — стал мне Кириенко добрым другом, и это мне очень помогало, потому что речи мои так по сердцу людям пришлись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума, и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенке разика два сказал:

— Поглядывай!

И все бы у меня шло хорошо, и жил бы я там спокойно года, — вдруг черт сунул на мою дорогу Сеньку Курнашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пестрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а — шустрый, учение мое сразу принял. Однако — другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я — бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать — расчета нет; вижу — Сенька мчится к водокачке, на его счастье — не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат:

— Кириенку убили!

Действительно: лежит Кириенко поперек тропы, головой в кусты, руки вперед головы выкинул. Служащие сбежались, опасливо утешают друг друга:

— Не трогайте тело.

Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства взыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете — молоток на длинной ручке, которым по вагонным колесам стучат? Вот с таким. Суетится Сенька больше всех и твердит:

— Я — на водокачке был, — вдруг слышу — палят, а я на водокачке...

«Ах ты, думаю, дерзкая мышь!»

А в это время другой жандарм, старичок Васильев, кричит:

— Браунинг нашел, и от него нефтью пахнет, прошу всех помнить — пахнет!

Люди нюхают оружие, и Сенька тоже понюхал, усме-
хается:

— Верно, пахнет!

А Васильев и объявляет ему:

— Нефтью пачкаются у нас двое — ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю.

Глупый был старичок, ему бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки, — мне парня жалко, — а Васильев свое твердит:

— Тут, главное, — нефть и рукоятка сальная. Тебя, Яков, я тоже арестую, ты сторож и должен был видеть.

Сенька отпрыгнул от него, да с размаха как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно,

Семена схватили, связали, меня — тоже, да еще Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас в зале третьего класса, сторожат, под окнами ходят, палки в руках у всех.

Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шепотком говорю Сеньке:

— Зачем ты это сделал, дурак?

Не сознается, пытит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донес на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил:

— Молчи!

Тогда суд был строгий, — найди виноватого где хочешь, а — подай сюда! Наказали парня смертью, велели повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что:

— Всеми здесь указано, что сторож этот — полуумный, верить ему нельзя.

Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись:

— До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрет тебя суд!

Со станции меня, конечно, рассчитали, и лет семь я прожил цыганом, — где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел, — нищий городок. Живу, гляжу на все, а душа беспокойна и упрямо ждет: должно что-то случиться.

В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно — от хозяина. Вот одна еду порожнем по улице, гляжу — монашенка идет, и это — Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу:

— Любаша!

И точно обожгло меня — не она! Даже и не похожа — лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога еще больше и потянуло в Сибирь. Вы, может, так понимаете, что это — баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в миру такой особенный, первый человек, встретишь его, и — будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот

пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме — нянька. Ей лет восемьдесят, едва ходит, злая, тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он — няньку.

В конце весны очутился я в Томске, пошел в больницу наниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людьми, которых раньше видел, не по душе мне: намекают они, что ты все на одном месте вертишься. Доктор — поседел, щеки желтые, зубы в золоте; он тоже обрадовался, руку мне жмет, по плечу хлопает, как приятеля; конечно, шутит:

— Ну что, мешок кишок, много ли истребил необыкновенного?

Принял меня на службу к себе, и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку, про все, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя, — как будто все лишнее с души в чулан складываю, прячу, и — очищается настоящая суть души. Рассказывать — очень полезно, рассказал, забыл и — снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется.

— А ведь не просто все это, Яков, а?

Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается зашить меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены, и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

Вдруг — все понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я все в цирк ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тяжеле и сильнее себя, одолевал необыкновенной своей ловкостью, тонкой выучкой. И вот смотрю я, как он охаживает здоровенного борца, русского, и сразу, как проснулся, догадываюсь: «Выучка — вот главная фальшь, в ней спрятан вред жизни».

Даже в пот ударило меня и будто все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух словах клад для души и ключ к жизни: «Выучка — вред».

Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишен свободы. До слепоты ясно озарило меня, что отсюда идет все необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит: дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить или — объявить выучку запрещенной. Помню — шел домой осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нес, и был я как выпимши.

Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль — море, а чужие — реки, сколько их стекает в морской-то водоем, а вода морская все соленая.

К доктору гости приходили, всё люди солидные, вели они политический разговор, не стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал по-волчьи, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем. Приходил он всегда с чемоданчиком, потрет руки, лысину, бороду и требует отчета:

— Ну-с, как живем?

К старикам у меня нет уважения, старики — вроде адвокатов, все грехи, поступки готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твердым умом. Конечно, я понимал, что этот — опасно политический волк, а после Читы политика мне была вполне понятна.

Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел весь, высох, поставил чемоданчик на пол и вместо — здравствуй! — говорит:

— Ну-с, будет война.

Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварили войну. Крестный ход, колокольный звон, ура кричат на свою гибель; доктор подмигивает:

— Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!

Приуныл я. В ту пору никто не мог понять, какую пользу эта война принести может, хотя старик и доказывал доктору, что война обязательно кончится революцией, однако в этом я утешения не видел. Революция — была, а толку не родила; после нее еще хуже стало.

Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал волковатому старику:

— Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу.

Старик — свое твердит:

— Разобьют нас в три месяца, и будет революция.

Говорить о времени войны этой — нечего. Вавилонское безумие и суeta сумасшедших. Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место гонят чехов, венгерцев, немцев и — черт их знает, каких еще. Разноязычие, болезни, стон, смещение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу — оробел я. Доктора гоняют из города в город, из лагеря в лагерь, — он по пленным делам был.

Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный человек, — ночей не спит, пить-есть время не находит, очень восхищался я трудами его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчета заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов — не ищет, с начальством — зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик — жалуется, люди у него замерзают,дохнут с голода. Доктор своей властью от первого же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его — под суд за это. Однако — отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в краснокрестный халат, темные очки на носу, пополнела, урядливая. Сказала, что она, еще до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех:

— Выучка, Яков, я? Никакого упрощения жизни не заметно, а?

А я и сам в то время, — от усталости, что ли, — поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

Вдруг — как будто приостановилась чертова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он ее, зажал в кулак, побелел весь и говорит, глядя горло:

— Яков — царя прогнали...

Меня тоже покачнули эти слова. Никогда я не думал о царе серьезно, и если говорили, что от него все зло, —

не верил в это. Зло — везде видел я. А теперь подумалось: а что, как и в самом деле царь и был головой господства? И вот — оторвали голову.

Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет, и у всех вижу радость. Неужели — доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу — так оно и есть, ошетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девку, и видать, что того, что было десять лет назад, он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулеметы и весь воинский снаряд. А главное — что им ни говори, всё понимают: верно — кричат — довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

Пространства там огромные, места глухие, не то, что здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлестана и на каждых десяти верстах село, на каждой сотне — город. Там, сквозь леса, не все доходило до нас вовремя, так что когда начался крутёж назад, к старым порядкам, — я этому сначала не поверил.

От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг — конники приезжают, приказывают: пожалуйста воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там будто какие-то немецкие наемники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а — не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покряхтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война эта — дело непонятное нам, кто ее затеял — мы не знаем, прячься, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

Тут, на мое счастье, точно с облака спрыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господские затеи.

— Эта война — против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это, говорят, змея недодавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам, — вот ваше дело.

Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной.

— Ты, просят, не уходи от нас, твоя голова нам полезна.

А кольчаковские всё нажимают на деревни, на мужиков, поборы пошли, грабеж, хлеб тащат, скот уводят, сено — всё! Слышим — кое-где мужики в драку пошли, отстаивая свое хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, черный, сухой парень, длинный, сядет на лошадь — ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, всё больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду.

Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был не велик, троих подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а однако распалило и меня; ружье — инструмент зазорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Делом этим мужики очень возгордились, хвастаются друг перед другом, домой шли — песни пели.

А как подошли к своему-то селу — глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным вожаком, разделил он нас на две части, обошел село, и — нагрянули мы врасплох. Тут дрались сердито, одних убитых оказалось с обеих-то сторон тридцать семь. Зато — досталась нам пушка, два пулемета, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живем на вольном воздухе, людей бьем, песенки поем. Да.

Во всякой форме жизни есть свой недостаток; явился недостаток и у нас: начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться — неохота. Доносишь свое донельзя — с мертвого снимаешь, а мертвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, изысканной жизни. Скушно мне; ночами — думаю: когда конец этому крутежу? И мертво-

го духа нанюхался я много. Да и людей жалко — много людей погибало от глупости своей, ой, много!

Хоть я человек не боевой, а тоже раззадорился, стрелял и колол с большой охотой, однако вижу: война — занятие глупое и дорогое. Главное тут — огромный расход на пули, — сотни пуль истрачены, а людей убито десятков, остальные разбежались. Кроме того — война вредное занятие: портит людей.

У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберем пленников, он обязательно пристаёт — давайте, расстреляем! Просит Ивкова: дозвольте пристрелить! Глазенки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он все-таки застрелит пленника и оправдывается:

— Это я — нечаянно!

Или скажет:

— Да он все равно раненый был, не выжил бы!

Раза два бил его Ивков за эти штуки. Таких, набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

Ивков, начальник наш, был характера угрюмого, ума не видного и все моря хвалил, — он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный, — потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умен. Любил он вперед всех выезжать, выедет, грозит ружьем, как дубиной, и матерно ругается, а в него — стреляют. Людей — не жалел.

— Честные люди — они на море живут, говорил, а на земле основалась сволочь.

Вообще же больше молчал, все покряхтывал, спина у него болела, били его в каторге, что ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня:

— Ну-ко, Язёв-Князёв, безобразие, поди усовестить их, чтобы к нам переходили, а не согласятся, — расстреляем, скажи.

Вот эдак-то захватили мы разъезд, пять человек солдат конных, и один, пораненный в руку и в голову, начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу — не простой человек. Спрашиваю:

— Из господ будешь?

Сознался: офицер, подпоручик, да еще к тому — попов сын. Я ему угрожаю:

— Мы тебя застрелим.

Он — гордый, бравый такой, складный, лицо серьезное, и большой силы; когда брали его — оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты.

— Конечно, говорит, расстрелять надо, это такая война, без пощады, без жалости.

Как он это сказал — мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает нас, особенно же Ивкова, оказалось, он за тем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая.

— Погубит, говорит, всех вас дурак, начальник ваш.

И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь, и за многое, что я сразу вижу: всё — правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот, — Успенский-Кутырский, фамилия его, — обозлился на всех и ничего ему не надо, только бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя:

— Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих.

Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю — хорош человек! Ивков ворчит:

— На них нельзя надеяться.

— Вояки-то мы плохие, говорю.

— Это — верно; силы много, а уменья нет. Поговорим с ним еще. Расстрелять успеем.

Угостил я его благородие господина Кутырского самогоном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне.

— А черт ее знает, где она! — бормочет господин Кутырский. — Может, и с вами правда. У нас ее — нет, это я знаю.

Коротко сказать — согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по-военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз каялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это — молодчина! Он вперед, напоказ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисьей ухваткой, тихонько, крадучись, и действительно берег людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стерты ли, и купаться

приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет!

— Кто вшей разведет — того драть буду! — объявил.

Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодежь недолюбливала.

Было нас под ружьем шестьдесят семь человек, и вот в эдаком-то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались — как дешево удача нам стоила.

Вначале он много разговаривал со мной, но скоро отстал, — ничего не может понять, натура не позволяла ему.

— Ты, говорит, Зыков, с ума сошел.

Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, немцев, а русских несколько жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит, и — как пленникам! Это уже — после, когда он Ивкова заменил; Ивкова убили. Он, Петька да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу и вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему, — застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоед он баловством своим.

А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом — летит! В одной рубахе, около руки — наган револьвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубаху застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал нам хвалебную речь:

— Это, дескать, был великий страдалец за правду и настоящий герой.

Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруны, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский — не любил и даже — я так думаю — боялся. Бояться меня он должен был, потому что я все-таки не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что поблизости ищут нас кольчаковские, — сильно надоели мы им. Кутырский, который умел все выспрашивать, повел нас к Ново-Николаевску, а тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вме-

сте, санитарных пять телег да девять человек пленных нашей стороны, партизанцев.

И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Петр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул:

— Эй, мешок кишок!

Гляжу — лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж — больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит:

— Трое суток не курил, черт вас возьми...

А закулив, все-таки спрашивает:

— Упрощаешь?

Вожу я, что хоть он и доктор, а — не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

А матрос спрашивает: помню ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть ее по делам ранним. Упросил Кутырского послать за нею человека — послали. Мне любопытно: что будет? На третьей сутки прикатила она в шарабане, встретила меня как будто радостно.

— Большевик?

— Ну да, — говорю. — Конечно.

Хотя я тогда еще не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело — плохо, надо скорее добывать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками махает, щека у нее дергается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо темное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказывала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком встретилась всего три месяца тому назад, когда он, раненый, в больнице лежал. Ну, это не мое дело. Спрашивает:

— А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?

Тут я говорю ей:

— Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом.

Так ее и передернуло всю, — жаль, не видно было, за очками, как ее глазок играет; не могла она забыть, что пренебрег доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту совсем удостоверился.

Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор — враг. Пошел я к нему, говорю:

— Тут — Татьяна!

Он только усы языком поправил; хрипит:

— Вот как...

И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не подойдет ли она к нему, не разговорятся ли? Нет, ходит она сторонкой, прутиком помахивает; подойдет к матросу своему, — он на телеге лежал, — перекинется с ним словечком и опять ходит, как часовой. Я к доктору два раза подходил — спит он будто бы, не откликается. Будить — жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскаленное лицо у него, — у здоровых людей при луне-то рожи синие.

К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского:

— Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?

Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненые, доктор да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у нее под лоб ушли. Кутырский — кричит:

— На кой они черт?

Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит:

— Собирайся!

Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу:

— Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня.

А я говорю:

— Сам скоро помрешь, Александр Кириллыч.

Все-таки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его однако убили; старик солдат, которого Японцем звали, да еще один охотник, медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом Японец, догнав, говорит мне:

— Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов.

Они там всех добили, прикладами, чтоб не шуметь.

Попенял я им, поругался немножко, — Кутырский сконфузил меня:

— А если б, говорит, на них на живых разведчики наткнулись?

И-да. Конечно, — убивать людей — окаянное занятие. Иной раз, может, легче бы себя убить, — ну, этого должность не позволяет. Тут — не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла, — как тут быть? Многие совсем неизлечимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

Признаться — подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит и по знакам на коробке вижу я, что папиросы — Татьяниного дружка. Может быть, она это — из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так — убивали жалеючи.

Вот вы видите: я человек кроткий, а однако своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим — не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков — не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил:

— Стариков — не жалейте, они — вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой — переменится, а старикам перемениться — некуда. Они — самолюбивы, сами собой любят; каждый думает: я — стар, я и — прав! Они — люди вчерашнего дня, о завтра старики боятся думать; он, на завтра, смерти ждет, старик.

Тоже и насчет разных хозяйственных вещей я учил:

— Крупную вещь — шкафы, сундуки, кровати — не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные, — бей в пыль! От пустяков все горе наше.

Да. Так вот — пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся — ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, косят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чем дело? И — нет-нет, а шмыгнет селом старик в папаше, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него темненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки, — есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.

Время — весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям, — другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твердости — нет. Жалуются на поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чем суть? И вот, сижу снова за селом, у поскотины, катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало мне это любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил:

— Это кто же у вас?

— Это, говорит, человек праведный и умный; он обман не терпит.

Говорит — нехотя, сурово.

Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал:

— Это — вредный старик, он тут у нас давно живет, ссыльнопоселенец; раньше — пчел разводил, а теперь построился в лесу, живет отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против ее, а когда у него пасеку разорили — совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, верст за сто, приходят, советы дает, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит.

И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это — злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли, хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству — конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.

«Вот куда метнуло», — думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там еще с десяток парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им, — отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и — чуть что не по-прежнему парнишки затевают, — бьют их. Я внушаю им:

— Разве не видите, где злой узел завязан?

Боятся, говорят:

— Перебьют нас.

«Эх, думаю, черти не нашего бога!»

Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди — глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Все торопится покрепче сесть да побольше съесть.

Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избенка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчел, собачонка лохматенькая — в этом все его хозяйство. Пришел я к нему светлым днем, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котел кипит, — в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки елок висят, лыком связаны, — мутовки будут, значит. Рукодельный старичок; согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нем посконь синяя, ноги — босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша еще другой головы, что ли. Чувствую — шишечка эта особенно злит мою душу.

— Вот, мол, пришел я потолковать с тобой.

— Толкуй.

И — молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А все-таки — тихо кругом старика.

42 — Чего ради ты людей мутишь? — спрашиваю. — Какая твоя вера, какая затея?

Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаивалась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого — весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого черта; за избенкой — пахучий лес, перед ней, внизу — долина, речка бежит, солнышко играет.

«Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».

Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему — ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушел. Иду, оглядываюсь: на пригорке костер светит. Соображаю:

«Действительно — это вредный зверь, старик!»

Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут — на-ко!

Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне:

— Что ж, Князёв, отлежался ты, шел бы теперь куда тебе надо.

И жена его, и обе снохи, и батрак-немец, — все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо, — понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а еще недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю — очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут — вспикело у меня сердце.

Пошел к Раскатову, говорю:

— Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко.

Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушел из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвертые дождался ночи потемнее и пошел. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и реворверт, я его Раскатову продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный, — он характер жизни выдает.

Пришел к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это — зря; старик сразу понял, что чужой пришел. Храпит со сна:

— Кто таков? Чего надо?

Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика — по руке, а собаку — пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибешь.

Вошел в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли еще не узнал меня, то ли испугался, — бормочет:

— Почто собаку-то...

Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а все не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно — когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, уперся в нее руками и — молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю:

— Ну, старик, жизнь твоя кончена...

А рука у меня не поднимается.

Он бормочет, хрипит:

— Не боюсь. Не себя жалко — людей жалко, — не будет им утешения, когда я умру...

— Утешение твое, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?

Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было — тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избенку, — был бы мне тогда — каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдешь. А так я прикрыл дверь и пошел лесом в гору, до солнца-то верст двадцать отшагал, лег спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся — готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю:

— Что вы деретесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели...

Испугались, а — верят, вижу.

— Отчего кровь на онучах?

44

— Это, говорю, рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня.

Ну, — обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была — дурака крутить в опасный час, несчетно выручала она меня. К утру я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. А-яй, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всем глупы: и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

Хотя бы старик этот... Ну, про него — будет. Это мне неохота вспоминать. Твердый старик был однако...

Да, да, — глупы люди-то... А всё — почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их — в про-

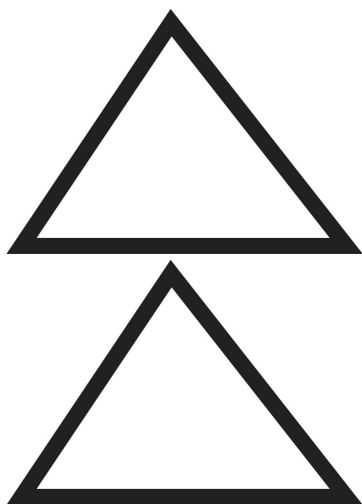
стоте. Мне вот это необыкновенное до того холку натерло, что ежели бы я не знал, как надобно жить, да в бога веровал, — в кроты бы просился я у господа бога, чтобы под землей жить. Вот до чего натерпелся.

Ну, теперь вся эта чертова постройка надломилась, разваливается, и скоро надо ждать — приведут себя люди в легкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отместить, вон... Необыкновенное — черт выдумал на погибель нашу...

Так-то, браток...



Михаил Басов



Михаил Михайлович Басов (1898—1938) родился в селе Юргинском Тобольской губернии в крестьянской семье. С 1916 сотрудничал в газетах Благовещенска. Окончил Омскую школу прапорщиков (1917), мобилизован в белую армию (1919). После перешел на сторону красных, вступил в РКП(б). После чехословацкого переворота арестован, отсидел восемь месяцев в тюрьме. С 1921 — в Ново-Николаевске. Сотрудничал в газетах и журналах. Был одним из организаторов и редакторов журнала «Сибирские огни» (с 1922), редакции Сибирской советской энциклопедии. В 1928 вынужденно переехал в Москву, работал в Госиздате. С 1930 — в Иркутске. Заведовал краевым отделом народного образования (с 1932), председатель Оргкомитета, первый председатель правления Восточно-Сибирского краевого отделения Союза советских писателей. Участвовал в краеведческом движении, являясь председателем Восточно-Сибирского краеведческого общества (с 1931). Ответственный редактор иркутского журнала «Будущая Сибирь» (с 1935). Опубликовал ряд статей по вопросам книжной торговли, издательской деятельности. В апреле 1937 арестован, расстрелян.

Эвакуация

48

Вечером пошли обозы. Везли раненых, почерневших и беспомощных. Худые лошади тянули пушки, зарядные ящики и перегруженные телеги. Солдаты искоса бросали взгляды на возы с офицерским и беженским добром и матерились.

Тянулись вереницей хозяйственные команды — спереди кухня, сзади кухня, а в середине сани — старые и разбитые. Зачем везли — никто не знал, а ехали в Сибирь, где лесу и саней много. И до зимы далеко.

Музыканты толпой прошли. Лошади у них заморенные — везли трубы и барабаны.

Ночь простояли — двинулись дальше.

Запряг лошадей и хозяин. Вozy уже с неделю стояли готовыми в завозне. Пока запрягал да возы перевязывал — пристяжная слегла и не встала. Так и осталась у крыльцадохнуть.

Хозяин был хмур и сердит — боялся красных.

Оставил на весь дом одну Матрешку, — девку-кухарку лет восемнадцати. Была она неразумная, рыжая и веснушчатая да круглая, как шар.

Осталась одна Матрешка и в хлопоты ушла. Хозяйства всего было — десяток кур да огород.

Дни выдались жаркие. Тополя листа не подымут, разомлели. А Матрешка носит да носит коромысло за коромыслом, да гряды полет. Мокрая рубаха льнет к телу, пыль лицо щиплет. Сядет между гряд и тянет эдак тоненько:

Сошью милому рубаху

Из крапивного листа...

Поест хлеба с огурцом — словно выкупается.

— Огурец как огурец, а вот поди ж ты, с хлебом как выходит. И хлебу дух другой дает.

Утром встанет:

— А день-то нынче! От Христа пешком пришел.

И верно. Хмуро все было да ветрено. А тут — теплынь.

Ночью опять застучали колеса и заскрипели ворота. Спит Матрешка — намаялась за день и не слышит, как ввалились во двор. И когда над ухом задребезжало стекло — вскочила, словно ожглась. Метнулась к двери — и там бабаанят.

Вошли — темно, пусто. Зажгли свечку в столовой и улеглись. Ямщики ходили и стучали дверь, ничего не слышала Матрешка, опять спала.

И проснулась — забыла, что ночью вставала.

Лошадей увидела, двух ямщиков — в сених спали, мешки в столовой...

Кончилось.

Самовар поставила — смотреть пошла. У самой двери брюхатый лежит и усы черные. По обличью будто барин, а штаны — рвань рвань. А рядом, тоже на мешке на одном, калачиком свернулся маленький да худой, а руки в карманы, будто замерз. В углу — матрац и простыня — под одеялом

чернявый такой лежит, в пиджаке черном и на солдата не смахивает. Ботинки хоть и грязные, а новые — рядом стоят.

Увидала в коридоре ребят — белобрысые оба, босиком, и замазанные же — господа! Черти чистые! Мечутся во сне да руками ловят.

— Сердешные, исскреблись все. Баню бы.

Пока самовар, то да се, а у Матрешки и баня топится.

Встали — перво-наперво за водку. Слышит, зовут и ее туда.

Пятеро уж их оказалось, кроме ребят, и офицеры все. Один гладкий весь да широкий в кости, ровно бычок молодой, а другой — рыжий, толстый. Усы распустил, шашка посередь брюха болтается, а спереди, видно — и зубов нет. Сам смеется и спрашивает все, как зовут, да девка или замужем, да водку пьешь ли.

— Не, не пьющая я...

— И я, брат, непьющий был, когда без штанов ходил. Шпарь, Матрешец, шпарь.

Набольший, видно, у них. Себе налил и чокается. Выпила Матрешка и того пуще заverteлась. Все достала — и капусту и огурцов, как просили, и яичницу опять сделала. Рыжий этот самый и на кухню пришел, все учил, как яичницу глазком пустить, и лук сам крошил.

А вечером — песни. Пианино раскрыли, и маленький наигрывать начал, да все жалобные. Потом к тому, чистенький такой, ровно и не солдат, пристали — сыграй да сыграй. А у него и ящик особенный имелся, гармошка в нем. И играл все славно, тоскливо так, и сам пел, ровно в церкви, ребята сказывают, будто попом был, а зовут как — и не знают. А рыжий все его:

— Выпьем, попие, за хр-роматическую.

50

Пьет и еще того пуще заливается.

Маленький, тот скоро напился. Поблевал малость и уснул. И остальные скоро свалились.

— С отвычки это мы, — говорят, — давно не пили.

Рыжий один все ходил. Уж легла Матрешка — пришел и все в огород звал. Отвязалась и заперлась в кухне.

И пошло, и пошло.

Споили таки Матрешку. Ребята больше всего виноваты, тоже пить начали — ну, и ее привадили.

А что те делали — и не расскажешь. Черненький этот, верно, попом был, сам сказывал — из револьвера в потолок все стрелял. С рыжим разделись как-то и обедню отслужили в одном белье — всю наизусть: тот, говорят, псаломщиком где-то был. Тоже, бывало, сестер наведут, ух, пить люты были. «Графинею» одну звали — та всегда на столе и засыпала. А уж и бесстыжая же была — в уборную вместе с мужчинами ходила.

Крутили так с неделю. Утром проснутся — мутит всех. Поп все уговаривает отдохнуть, а как водку принесут — налакается и плачет. Ну, а видно, всем надоело. Рыжий только не перестает. И не спит ведь, бродит все, утром уж свалится, полежит часок-другой и опять как встрепанный.

Отдохнули малость — борщ хороший сварить заставили, плохо без горячего — и опять пуще того. Только толстый этот, рваный, перестал, говорят, болесть у него худая открылась, нельзя пить. Сидел все в углу и молчал.

Поп этот родственнику нашел — привел. Видно, не сестрам чета, строгая такая. Ну, пить пили, а не безобразничали. Толстый все стихи читал да руками размахивал — Иван Андреевичем его звали.

Ушел провожать потом эту родственницу. И остальные будто пристыдились — не безобразничали, а разговаривали все. Сидят так смирененько, выпьют и толкуют.

А разговаривали они так.

— Грызет, Фомич?

— Грызет.

— А ты их лови да в бутылку — сдохнут. Крупные?

— Как горюх.

— Это хорошо, что крупные. Так, чтоб сквозь рубаху действовать можно. Счастливый, говорят, человек, ежели да у него вша крупная водится.

— К черту вшей! Говори о бла-а-ородном!

— Ты, пописе, молчи. Вша, она вещь такая...

— И откуда она берется?

— Она, брат, сама растет. Пить больше надо. Выпьем, пописе?

— Пить я могу, это бла-ородно, а вот срамоту вашу слушать не желаю.

— Ты срамотой-то сколько лет деньгу зашибал? «Не спи, не дообедывай, все крести да исповедывай...» Так? Ну

а я этой срамотой тоже жил. Верно, верно... Рубля по два в день зашибал. Это вот, когда мы в солдатах были. Сидим это, бывало, на нарах, известно — делать нечего — давай, ребята, в вошь! На полтинник. Ну достает, это, один вошь, за спину, что ли, лезет, другой — в штаны. Выпустят — сейчас это мерять. Ежели юркая да щуплая — другую давай. Надо, чтоб обе ровные были да крупные, и с кровью чуточку, чтоб чернелось. Начертят, это, круг и пустят. И пойдет шум — брат ты мой! Одни за одну мажет, другой за другую, рублей на десять зараз играют, вся казарма. Как за круг выберется одна — рев стоит.

— А дальше?

— Ну а дальше, известно. Потому как она выиграла, скажем — сади обратно за рубаху — призовая. А проиграла — ногтем ее. Один там был — прямо завод какой-то имел, очень уж беговые были. Как поставят, так она прямо за круг. Другая стоит, стоит, повернет туда, сюда, до круга пойдет — и обратно — какая это игра? А эти рысаки на отбор. Садимся играть — «Ну-ка, дай рысака». — «Гри-венник!» Ну и платишь, потому — порода.

— Договорились, язви вас.

— А что?

— Да уж дальше некуда.

— А дальше мы, попие, в ад пойдем. Я вот в девятую камеру попаду.

— Почему в девятую?

— А так, в девятую. Алкоголики все там. А рядом, в восьмой, проститутки будут. А еще рядом — сифилитики. Слышишь, Трубач? В десятую камеру, говорю, попадешь, к сифилитикам. Вот застрелиться только тебе надо.

— Застрелился бы, да воли не хватает.

— То-то и оно.

— А Матрешка?

— Матрешка в рай пойдет. Ее вот Трубач сифилисом только наградит — а в рай она обязательно попадет.

— Эх, сволочи вы сволочи!

— Сволочи. Всякий человек сволочь. Мы вот выпьем сначала.

— Благодать, братцы. Немножко вот керосином относит, а хорошо.

— Об этом не говорят. Ты, Фомич, пьяной дисциплины не знаешь. Единожды я выпил спирту со столярным

клеем. Рта не мог раскрыть — все склеило. Понос был — ужас! А четверть все-таки допили. И промолчали. Вот что значит дисциплина!

Ввалился Иван Андреич — родственнику попа провожал.

— Гнусное предложение сделал честной женщине. Стоял на коленях и умолял сжалиться. Отвергла. Не люблю, говорит, рыжих и пьяных. В масть не вышел. Стихи читал и на луну показывал — безрезультатно. И пьян я, это верно.

Только пьяный я гордо беспечен,

Я не хнычу о завтрашнем дне...

— К черту завтра!

— К дьяволу на рога!

— Не жалам!

— А все-таки интересно, где мы завтра будем?

— Ты, попие, не кисни. Когда нужно, поставим точку. Расстреляют нас и конец. Видел, вон дровни везут, так и мы — бросят их, когда пора придет, а нас расстреляют.

— А Тазовая губа?

— К черту Тазовую губу! Спирту там нет, рыбу ловить холодно, вшей кормить не желаю. И вообще довольно. Никуда я больше не поеду. Сорок лет промаялся, ревматизм вот нажил. Правда, лет двадцать пропито было, ну да об этом не говорят.

— Иван Андреич, ты за что в ссылке был?

— За народ, язви его! В Архангельске шесть лет. Мужика будить ходил. Думаю, спит бедняга, и все проспит. Ну, пошел будить. Разбудить не разбудил, а сам попал. Зато вот теперь он продрал глаза да нас же и лупит. Не буди зря скотину! Попробуй-ка ее теперь усыпить... Я вот нутром знаю, что меня расстреляют. Я его будил, а он меня к стенке.

— И правильно! Не буди не вовремя! Спросонья и я тебя по лбу хвачу.

— Ты, попие, дурак, ты по обедне соскучился. И тебя не расстреляют — а в совнархоз возьмут. Обидно.

Только пьяный я гордо беспечен...

— Хорошо умереть пьяным.

Напоили-таки Матрешку и здорово. Замертво свалилась в чулане.

А в столовой пили — потом хватились:
— Где же Трубач?
Кто-то сказал, что к Матрешке ушел.
— Зажигай свечи, — скомандовал поп.
Нашли какие-то огарки и зажгли.
— Стройся и айда за мной!
Вытянулись веревочкой и затагнули:
— Се жених грядет в полу-у-нощи...
Выходит это Трубач из чулана и бочком, бочком наутек.
— Согрешил, сволочь!
Вернулись и опять пили. И по очереди заходили в чулан. Были и гости, щеголи из штаба. Те тоже.
И все знали, что у Трубача сифилис.
После всех пьяные ребята тоже ввалились и уснули в чулане.

Рассвет принес новые звуки. Утренним ветерком, теплым и ровным, шли они к селу.

Была стрельба, доносилась канонада, отдельные выкрики и топот.

Солнце еще не взошло, но уже хором чирикали воробьи и кудахтали куры, заглушая шедшие извне звуки.

Матрешка сидит на крыльце. Небольшой узелок рядом, платком повязана голова. Не мигая смотрит в одну точку, на серого. Казалось, давно она тут сидит. И раньше так было — сидела утром на крыльце и валялся у ног сдохший серый, зловоньем заражая воздух. Только где это было и было ли вообще — не знает. И так же громко, как всегда по утрам, кричали куры.

На взмыленной лошади промчался верховой. Остановился у дома напротив и долго и сильно стучал шашкой в окно.

— Отступление... Нечаевка взята, здесь сейчас будут...

И понеслось по селу:

— Красные, красные...

Быстро запрягались лошади. Телеги, громяхая, неслись к выезду. И сидели в них бледные, испуганные и немилосердно хворостиною или веревкой лупили лошадей. Кто-то выстрелил — крики и визги столбом поднялись вверх, и лошади сгрудились у выезда. Рвались постром-

ки, ломались оси — но все покрывала неумолкающая, хором несущаяся ругань. И, как из лопнувшего бочонка, разлились во все стороны возле русла дороги...

...Попу снились ризы. Светлые — пасхальные, и темные, с каймой — великопостные. Примерял их долго в ризнице и ругался — ни одна не подходит. И неловко было — как это он, в пиджаке и стриженный, служить выйдет...

Подбросил ладану в кадило — и едкий дым ожег легкие.

— А, черт!

И заорал:

— Горим!

Бросился к двери — заперто.

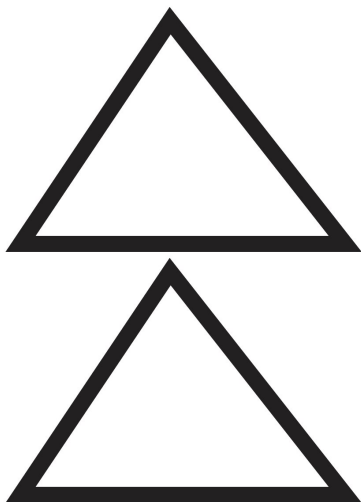
Завертелся дико на месте. Лбом стукнулся и ноготь на руке сорвал. А сзади огонь шел, охватывая весь дом.

Проскочил в боковую комнату, обрезал руки — но вышиб окно и ушел.

А поджегшая дом Матрешка ковыляла далеко в поле.



Максимилиан Кравков



Максимилиан Кравков (1887—1937, по другим данным 1942) родился в Рязани в семье действительного статского советника. Родители умерли рано. После окончания гимназии поступил в Петербургский университет, избрав специальность геолога-минералога. В 1908 году вступил в партию эсеров, но вскоре был арестован по обвинению в покушении на рязанского генерал-губернатора и осужден. В 1913 году был выслан на поселение в Тайшет. Много путешествовал. После Февральской революции избирался гласным Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. Был управляющим Нижнеудинского уезда, где и проработал до конца 1919 года. В 1920 стал заведующим Иркутским краеведческим музеем. Был арестован ЧК по обвинению в принадлежности к эсерам. Дело было прекращено после подачи им заявления о выходе из партии. Освободившись, уехал в Омск, после переехал в Ново-Николаевск, где возглавил отдел кинофикации и активно занимался организацией краеведческого музея. В Ново-Николаевске принял участие в работе над первыми номерами «Сибирских огней». Был организатором и участником возникшего в конце 1920-х годов Общества по изучению Сибири и ее производительных сил. В 1923—1934 годах в составе геологоразведочных и географических экспедиций побывал в Саянах, в Горной Шории, в низовьях Енисея. В 1933 году был арестован по подозрению в принадлежности к контрреволюционной организации бывшего белого генерала В.Г. Болдырева. В последний раз арестован в мае 1937 года как член «японско-эсеровской террористической диверсионно-шпионской организации» и приговорен к расстрелу. В октябре того же года погиб. По другим данным, умер в заключении в 1942 г.

Таежными тропами

58

— Стой!

Напротив — чех-часовой, винтовка на изготовку.

Маленький солдатишка, весь подозрительность, смотрит зло и приказывает винтовкой.

Я остановился, сделал бессознательно самую невинную, самую добродушно-жалобную физиономию и попробовал повернуться. Не тут-то было.

— Ты!.. — и со своеобразным акцентом русская матерная брань. — Идем до коменданта!

Когда я шел, подняв руки, а за спиной угадывал острый штык и шаги, здесь, сквозь невольный стыд плена, я почувствовал, что иду к чему-то, пожалуй, непоправимому.

Пульс жизни забился так, что застучало в висках, и мгновенно я выбрал самое простое и кратчайшее по времени. Направляясь к станции, мы пересекали ряды уснувших товарных вагонов и затерялись в их глухих и безлюдных лабиринтах. Повинуясь приказу, я шагал по длиннейшему коридору из двух поездных составов, замыкавшемся закруглениями пути. И здесь, сразу повернувшись, я оттолкнул рукой оказавшийся так близко от меня и словно заснувший штук, а другой схватил за подбородок чеха. Он вздернул кверху винтовку, а я, столкнувшись вплотную, обоими руками вцепился ему в лицо и шею, и через секунду оба мы грохнулись в песок. Был ли силен мой противник — этого я не знаю. Но что я в этот момент был силен, это я знал, это узнал и он. Чех молча продолжал цепляться за ружье, а я, по-зверски вкладывая самозабвенно всю силу в пальцы, сдавил ему гортань обоими руками. В его глазах мелькнула смерть, он опустил ружье и начал слабо пытаться разжать мне руки. Я оттолкнулся от него, схватил винтовку и вспрыгнул на ноги. Кругом пустыня, ни души.

«Сейчас он закричит», — вдруг понимаю я, не отрываясь от мутных глаз лежащего солдата. «Он первый захотел...» — всплывает что-то вроде мысли и, повернув ружье прикладом, я взмахиваю им высоко...

Мельница в лесу. Отошла от поселка и осела на ручье, среди черных, многоярусных елей. Дорога неезженная давно: до помола ли тут, когда в трех верстах погуливают железные броневики. Издали и не поймешь — поезд как поезд. А когда озлится — остановится и длинной красной иглой бросит пламя. Тяжко загрохотав, помчится в тайгу спущенная с цепи смерть...

Молчаливые, безучастные стоят придорожные деревушки: хозяйством, мол, заняты, не политикой, — мы сами по себе. И безучастные с виду, принимают бешеный удар сумасшедшей гранаты, пущенной с броневика сумасшедшим командиром, в истерику ввалившимся от неуловимости партизанской «банды»... Примет деревушка трескучий столб разорвавшегося снаряда, смолчит, да запомнит. И накрепко запомнит.

А наутро, глядишь, и слетел на повороте с рельс какой-нибудь воинский поезд. И опять мечутся по линии беспомощные броневики, опять на телеграфных столбах висят трупы, опять безумно хлещет граната в какое-нибудь на пять верст от дороги ушедшее село. За соломинку хватается утопающий, а стихия, бездонная, безбрежная, неумолимо топит обреченного...

Тихо сейчас на мельнице, жарко жжет полуденное солнце и вздуваются по кустам металлическим блеском горящие паутинки.

Дед Архип, старый мельник, в шляпе, до дыр выгоревшей на солнце, сидит на пороге сарайчика, против плотины — подпер костылем подбородок. Рядом сын Архипов Максим, дезертир и партизан, на корточках поохотничьи примостился, жесткими пальцами собачью ножку крутит. Рот открыл и слушает, выпучив на меня глаза. Четвертый, пожилой человек, по виду учитель, по одежде крестьянин, нахмурился, озабоченно мнет бородавку.

— Вот так и вырвался... — заканчиваю свое сообщение и молчу. Молчат и другие — не о чем спрашивать, стали угрюмее.

— Эх, беда, беда, — про себя начинает дед. — Война. Ну, молодятник в тайгу уйдет, а ты куда от земли пойдешь? Деревню-то спрячешь? Да баб, да ребятишек? Ведь все пожгут, проклятые, все разорят...

Старик костылем стучит гневно. Максим глаза опустил — партизан, а отца боится.

— Отец, — вмешивается Максим, — товарищев-то схоронить надо. Вчерась тут недалеко чехи наезжали.

60 — А без тебя не знают? Советник... тайный! Ты лучше лодку-то наладь, да матери скажи, чтобы чай пить собрала. Попьете и поедете.

Максим дружески подмигивает мне глазом — соглашайся-де, паря, не прогадаешь.

Я знаю их план. Там, где-то за порогами, у деда есть избушка. Место заповедное, в пустынных горах. Туда он сразу предназначил и меня, и нового знакомого. Андрей Иванович, так было его имя, бежал недавно из тюрьмы, где числился заложником, бежал от петли.

— Максимка отвезет — на это он профессор, — не то с иронией, не то с гордостью рассказывает Архип. — Лод-

ку мы оставим. А через месяц, поуправимся с покосом, да тут маленько приутихнет, тогда и выплавим обратно.

Недолгие у нас сборы. Лодка нагружена, Максим кончает прилаживать к шесту оконечник, я распутываю бечеву.

— А что, товарищ, — любопытствует Максим, — был у нас слух, что в Советской России, в Красной армии пушка теперь такая есть, что от Москвы до Урала дострелить может? Вот, брат ты мой, — хлопает он меня по колену в восторге, — будь у нас такая — и пошли бы мы этих гадов шпарить! Так, с мельницы, всего бы Колчака разнесли... Вот, будешь за порогами, — переменяет он тему, — поглядишь медведей. Отец велел сеть вам оставить, винтовку да дробовик. Только товарищ-то твой уж городской очень. Тяжело ему там будет... А я, как доплаваю вас до верхней избушки, поживу там денька два с вами, потом срублю плот и обратно сюда. А лодка у вас останется... Идем, отец, чай пить...

Иззубрилась четко грань хребта. Источенным памятником безвозвратно минувших веков засмотрелась на волны похожая на часовню скала. Медленно поднимается тень от земли, незаметно гаснут освещенные бахромки вершин на высоком кряже. Наливается краснотой отблеск заката на дальних сопках и, всегда неизменно бесстрастная, ровно течет река.

Максимка давно уехал, мы вдвоем с Андреем Ивановичем. Новое наше жилье — обомшелая, с плоской крышей охотничья избушка. Сложена из гигантских бревен, конопачена мхом. Не нравится здесь Андрею Ивановичу.

— Ну чего вы тут хорошего отыскиали? — полушутя говорит он мне. — Тень всегда, под боком гора мрачнейшая. Ведь это же ссылка, понимаете вы, хоть на месяц, а ссылка!

— Верно это, — дружелюбно соглашаюсь я, — зато красиво...

— Н-ну красиво, я не спорю, — примиряется он и тут же звонко шлепает комара. — Дьявол кусачий!

Кто во всем мире смог бы догадаться, что мы здесь, в этом месте, где на карте — пробел? Вычеркнуты мы из

списка обычной жизни и отдали себя горам. А в душе моей словно грот кристальный, зажженный солнцем. Вчера даже ночью встал и радостно убедил себя, что я в царстве тайги. И пока Андрей Иванович спал и бормотал что-то сонно, я слушал, как где-то далеко падали ели и странным голосом кричала ночная птица. Теперь вскипает чай, я пойду на россыпь, наберу смородины.

— Куда вы, — кричит Андрей Иванович, — и не жаль вам ноги бить?

Камнепадом диких, расколотых глыб сбежала гора каменной лавиной, запнулась о нетронутый следом прибрежный песок и оцепенела. Листья бадана, зеленые, мягкие уши, кустятся в камне, серым кораллом кроет мох угловатую жесткость гранита. Тепла еще россыпь от дневного жара, а глыбы внизу кажутся золотисто-зелеными подушками. Ароматна черная смородина, спелая полная чашка. Не хочется мне к избушке, к Андрею Иванычу. Я стою на камнях и сквозь рваные окна лапчатой хвои вижу, как дышат вечерним солнцем заречные склоны, вижу, как высокие облака застыли в побледневшей сини, замечаю, как рядом циркнул бурундучок и присел на колоде на задних лапках. Умерла тайга или вот-вот стряхнет свою извечную зачарованность и молвит страшное, по-человечьи? Молчит.

Хрустальное утро — сине и жарко. Я вожусь у лодки, Андрей Иванович сидит у берега и покручивает бороденку.

62

— Чем же мы питаться-то будем, — допытывается он, — ведь нельзя же все сухари да чай? Для мускульной работы жиры нужны, а мы, как схимники какие, черт побери! Езжайте-ка за рыбой, а я тут с дробовичком похожу, нет ли рябчиков...

Милый Андрей Иванович, с удовольствием соглашаюсь, — лишь бы не вместе. Я и сам не знаю, что нас разделяет. Он относится к людям, с которыми надо встречаться только в праздничной обстановке. Вчера вечером он долго рассказывал мне о своем прошлом. Несомненно, он образованный, наблюдательный и умный человек. Говорить он любил и говорил красиво, только как-то уж слишком уверенно. Слушать положительно не умел,

а когда был в ласковом настроении, видимо, насилуя себя, интересовался мной. Прожитые годы, нервная трепка в тюрьме и ссылке и теперешняя жизнь озлили его.

— Озлили, — вслух рассуждаю я и, упершись ногами в корму, вывожу шестом колеблющийся в струе нос лодки.

Напор — скользнула вперед лодка. Брякнул в гальке шест, шуркнул, скрипнул — опять подалась аршина на два. Так, вдоль берега проталкиваюсь я навстречу течению и перед лодкой вспухает треугольная борозда в маслянисто-прозрачном блеске воды. Тень моя и лодки дрожит на солнечном, играющем ковре подводных камней. Бежит, бежит широкая рябая плоскость реки, зеленая и голубая, с ультрамариново-синими полосами, и кажется, будто кудрявый берег плывет куда-то мимо. Вот и затончик длинный и глубокий. В такую жару здесь стоят ленки — вкусные рыбы, ждут насекомых, неосторожных мышей или просто нравится им нагретая вода затона. Перевертываю шест оковкой вверх, чтобы не брякал, — чуткая рыба ленок — и тихо направляю лодку. Неслышно причалил: подымаю конец сложенной в лодке сети и привязываю его к кусту. Отталкиваюсь осторожно и плыву к другому берегу затона, стараясь не запутывая сбрасывать сеть. Тонут ее переплеты, держится на воде верхняя тетива поплавками, и за лодкой протягивается от берега упругая, клетчатая стена. Перегородил все устье, а теперь — ожидание и азарт. Сейчас, не стесняясь шумом, грубо толкаю лодку и выплываю в затон. Больше плеска — пусть все обитатели его спасаются в реку. Вот под лодкой стремглав прошмыгнула длинная темная тень. Ага, ленок!.. Другой, третий. Оборачиваюсь — одни поплавки у сети утонули, остальные дрожат и прыгают. Вот в другом конце бултыхнулся и плеснул у верхней тетивы блестящий хвост. Скорей повертываю назад — уйдут еще, черти!.. Подплываю с замиранием сердца: вырвется рыба — пропал и обед и ужин. Нет, прочно попались, запутались и плавниками, и ртом. Вытаскиваю толстую, бьющуюся рыбину с радужными, красноватыми боками. Еще одну и еще. Теперь мы сыты, — мы счастливы на сегодня!

Проходит время, все созревает, давно уж покинули гнезда возмужавшие соколята, длинными сделались ночи и первые зовы осени чуются в перламутровых облаках. Месяц прошел, убывает запас сухарей и никто не

едет за нами... Андрей Иванович сделался раздражительным, обессилел, больше спит или уходит на берег и сидит в безнадежно-тоскливой позе. Моя рыбная ловля начала изменять: вода сильно упала и ленки неохотно заходят в затоны. У нас сухарей осталось на месяц, несколько пулевых патронов к берданке и немного пороху и дробин. Зато в лабазе будочки, выстроенной на спиленном сверху стволе дерева, я нашел два пуда соли, оставшиеся еще с прошлого года от промысла, и сейчас мастерю колоду для солки рыбы. Солнце рано садится за горы и мне не хватает дня. Андрей Иваныч ни в чем не может помочь, в этом я убедился, и он для меня как большой ребенок. Хотя подчас, в раздражении он больно обижает меня и был однажды момент, когда руку мою потянуло к берданке, — но тогда я был голоден и смертельно устал, а теперь я боюсь этого воспоминания.

— Не могу я выносить больше ваш проклятый лес, он гнетет меня, давит, у меня глаза заболели какой-то близорукостью, я не вижу горизонта...

— Но что ж делать, Андрей Иванович! Придется терпеть. Вы уж слишком мрачно настроены. Смотрите, убьем зверя — и мясо будет. Да, вероятно, и Максимка скоро придет.

— Ну вас к черту с Максимкой! Он, может быть, уж давно висит на каком-нибудь телеграфном столбе, а о нас и некому вспомнить. Нужно ехать самым вниз и все.

Эту песню я не первый день слышу. Но, во-первых, как пройти в нашей лодке пороги, а самое главное — куда мы выедем? В лапы к чехам?

— И зверь, — продолжает Андрей Иванович, — болтовня это все. Убьем, убьем. Полтора месяца торчим в этой трупобе, а чего убили?

Я вспоминаю, что недавно, охотясь за рябчиками, Андрей Иваныч увидел медведя и с тех пор далеко от избушки не ходит. Этого не говорю, а только ожесточенно рублю теслой колоду, выколупывая сочные смолистые щепки.

— Знаете что, — предлагаю я, — место здесь надоело и вам, и мне. Давайте спустимся к устью Гутара, там на стрелке сохранилась хорошая юрта. Рыбы в том месте больше, да, пожалуй, и зверь попадается чаще.

Андрей Иванович выдерживает марку: презрительно пожимает плечами.

— Не все ли равно, — бормочет он, — здесь или на устье — один черт!

Но он, несомненно, рад. Это его давнишнее желание. Я же дорожил избушкой на случай непогоды. Поздно ночью кончаю последние приготовления к завтрашнему отплытию. Голодно от плохой и скудной пищи, шатает меня усталость и, завертываясь в шинель, я ложусь у костра, под открытым небом. Укутанные темными чехлами хвой, молчат высокие деревья, и брызгами бриллиантов искрятся в черных прогалах звезды.

Мы почти не говорим друг с другом. Когда Андрей Иванович спит, а я смотрю на лицо его, мученически измощенное, с ввалившимися щеками, — я забываю дневную злобу и мне становится страшно, точно я присутствую при медленном умирании самоубийцы. Мне тоже плохо, я сильно истощен. У меня, вероятно, кровь приливает к ногам и от этого они стали какие-то спотыкливые и тяжелые. Непонятная лень овладевает порой, и долго стоишь перед лесной колодиной, не решаясь перешагнуть ее. Голод выгнал меня сейчас на добычу. Недалеко от юрты я нашел спокойную таежную речку, причалил к мыску у группы березок и вылез с винтовкой. День серый, тихо — парит. С того берега кликнет раза два птичка и опять все молчит. Ровно течет плескучий шорох реки, но так однотонен он и непрерывен, что вливается в тишину и растворяется в ней. Злой и страстный кипит вокруг комариный звон и клекчет на дереве бурундук, накликает непогоду. Свежий след. Трава примята, глубоко впечатались в слабую почву копыта. Забыл усталость, смотрю — соображаю. Ходил сохатый. Совсем недавно. Сегодня ночью. Мелкое дно залива порастает вактой, солоноватой водорослью, и все оно истоптано ямками, затянутыми мутным илом. Зверь приходит ночью кормиться водорослями. Буду караулить его из последних сил. Три березы растут букетом. Я рублю жердины, прибиваю их гвоздями к березам аршина на четыре от земли. Кладу между ними перекладыны, маскирую ветвями — и готов помост или лабаз, моя ночная засада. Сюда я вечером заберусь и буду ждать сохатого, потому что в нем — спасение.

Долго я спал у юрты. А когда проснулся, был уже вечер. Облака разошлись и светило ярко солнце. Андрей Иванович попил чая без меня, даже не разбудил и куда-то ушел. Я тороплюсь. Протер заржавевшую винтовку, налил в пузырек дегтя от комаров и взял на дорогу горсточку сухарей.

Страшно мне смотреть в сухарный мешок — там останутся скоро одни лишь крошки... Андрей Иванович не хочет мириться с порцией: «Как же, — возмущается он, — и так жрать нечего, а тут еще и сухарей не досыта». Я махнул на него рукой — будь что будет.

Неслышно спускаюсь в лодке, журчит река, сидишь на корме и отдыхаешь. Век бы так плыл навстречу бодрящему ветерку. Я рано добрался до места: еще солнце греет. Спрятал лодку в кустах и осторожно, стараясь не делать в сторону шага, по дневным следам своим, я дошел до берега. Закинул наверх шинель и полез с берданкой. Славный вышел лабаз — широко видно с устланной листьями платформы. Приладили во все стороны: чтобы целиться было удобно, чтобы не шуршали ветки закрадки. Осмотрел ружье, взвел курок и поставил на предохранитель. Наверху не так много комаров, а все-таки приходится и лицо, и руки смазать дегтем. Передать невозможно, как здесь хорошо, как легко дышать этим воздухом, в котором запах смолы слился со свежестью водяной прохлады. Через реку напротив обрывистый берег.словно каменные, гигантские фолианты, косо стиснутые в полки, выступили меж деревьев бело-ржавые плиты. Справа от лабаза старый, догнивающий лом, слева длинная тихая заводь, языком стеклянным уползающая под своды елей. В этот затон и приходят звери. Будет ли ночью удача? Где он сейчас, тот сохатый, который должен прийти и накормить нас собой? А вдруг придет, и я промахнусь?.. Нет, добрый дух затонов и курей поможет нам! Он дает промышленникам ленок и зверей. Сам обитается в глухой курье под дряхлым ломом и похож на бревно, користое, как спина крокодила, без ног и без рук, с усатой головой выдры. Может быть, и живет-то здесь, вот в этом завале облупленных старых деревьев, белеющих на солнце. С того берега смотрится в затон шишковатый, лысеющий хребет. Нет добра и нет зла, бесстрастно говорят его молчаливые сыновья-деревья и спокойно гибнут от времени, заменяясь другими.

Село солнце, сумерки вместе с туманным паром закрывают берег. Теснее сошлись деревья, нахмурились, почернели. Вдали монотонно воркует голубь. Где-то рядом всплеснула и четко закрякала утка. Тишина. Пахнет водой и болотом.

Понемногу начинает клонить ко сну. Я жую сухари, стараясь хрустеть потише, жую и слушаю. Узкой сделалась речка, одна серебристая полоса отражает зорю, остальное потоплено мраком и черной башней стоит перед лабазом купа деревьев. Интересно, что было на этом месте несколько веков назад, в такой же вечер? Я знаю — здесь, на столетней елке сидел зелено-серый и рыжий черт — моховик. А под елью был камень, белый, как сахар, и ушел он глубоко в изумрудно-зеленую реку. Выплыла к камню речная красавица, по пояс оперлась на скалу и стояла в воде, и лукаво смотрела на черта, лукаво и ищуще. Кровь загорелась в черте, озорник и охотник поймать захотел... и стало спускаться чудище с ели. Прыгнул на камень, а красавицы нет, и только мертвым, стеклянным глазом смотрит из речки тайменья морда. Заскучал моховик и поплелся в тоске по берегу, брякая копытами о гальку...

Я проснулся, словно толкнул меня кто. Ясно слышно, как бредут по воде и шуркают в гальке копыта. Остановятся, снова переступят, поплескивая. Несомненно — сохатый! Не дышу, тихо-тихо подымаю холодную берданку, оттягиваю предохранитель. Забулькало, заплескалось где-то близко, за черными кустами. Умолкло. За хребтом, в сиреневой полянке неба, бледно-блестящий круг луны. Кружевные пятнышки облаков дрожат на диске и луна от этого стала какой-то тревожной. Неужели уйдет? Опять зашумело, передвинулось ближе. Булькает рядом. Верно вытянул голову из воды и слушает. Журчат и стекают с морды струйки. Фыркнул, как лошадь, опять переступил. Темная купа деревьев, мутная вода под ней и неясная тень, словно выдвинувшаяся передо мной. Ничего определенного не вижу, только боюсь этой длящейся тишины и невольно прицеливаюсь. Мушки не видно, ствола не видно. Только яснее заметна черная тень. Поправил ружье. Он или нет? А если уйдет? Жму ровнее ружейный спуск. Огненным громом разорвался выстрел. Шумно метнулось перепуганное чудовище и, наискось передо мной, длинно растягиваясь, бросился через воду сохатый. Я толкнул еще патрон и в момент, когда зверь скрывался

в темном берегу, грохнул вторичный выстрел, далеко разбрызгав красные искры. Затрещало на берегу и умолкло. Промахнулся? И этого не знаю: темнота укрыла и надежды, и разочарования. Только бы хватило терпения досидеть до зари. Я на тысячу ладов перебирал все возможности. То упрекал себя за чрезмерную горячность: зачем выстрелил куда-то в темноту, то успокаивал мыслью, что зверь может быть ранен, может быть, даже упал где-нибудь недалеко.

Медленно светлело небо, шире становились полосы блестящей воды, выделялись ясней контуры берегов. Проступил на небе темный хребет — невеселое небо, без солнца, все задернуто серой мутью. Совсем рассвело. На плоской отмели, перед зарослью тальника, теперь уже заметны с лабаза черные следы на грязи — туда убежал сохатый.

Я почти не сомневаюсь в неудаче. Спускаюсь все же с помоста, бреду по мокрой траве и отвязываю лодку. Здесь вот широким «маховым» следом вынесся зверь на берег. Смотрю на песке — крови нет. След уходит в кусты.

Я раздвигаю густые ветви и передо мной длинной и серой массой лежит на полянке убитый сохатый...

Вот уже два дня, как едим мясо, целых два дня, как идет наш пир голодных дикарей. Ожил и Андрей Иванович, стал веселей, сам работы ищет, да все невпопад. И два дня, как навис над нами упорный дождь, мелкий и окладной. Временами стихает, тогда я выхожу из юрты и напрасно ищу просвета в горизонте, а набухшие, черные деревья редко плачут крупными каплями. Неприветливо все и пропитано сыростью. Наша юрта приютилась на стрелке двух рек, на самом конце узкого полуострова. И по меньшей речке еще утром начала подниматься вода. Сейчас она сделалась желтая, как весенние ручьи на мостовой, затопляет песчаные косы, несетя широким потоком. Там, где слился Гутар с меньшей рекой, получилась двуцветная лента: желтая и чистая, глубоко-синяя. А в Гутаре вода мутнеет и прибывает. Я слышал о местных наводнениях, об их опустошительной силе и зову на совет Андрея Ивановича. Откликается он из юрты охотно, менее охотно выходит оттуда и сразу раздражается, когда узнает о грозящем осложнении.

— Не может быть наводнения. Просто взбухла от дождя речонка. Вы предупреждаете события.

Это обозлило меня и я настойчиво тащу его к берегу. Шум необычный, бурливый. Узнать нельзя реку. Пенной, волнистой дорогой несется на кривляке — изгибается бороздой. Прижала береговую воду: та вспухла, и тяжелой, светло-желтой гладью зыбится в стороны, морщась водоворотами. С берега рухнула подмытая тополина, там бурн хлещет вверх искривленным фонтаном, словно чья-то рука беспрерывно цапает из глубины...

Притихший возвращался Андрей Иванович к юрте, на меня смотрел подозрительно, точно я в заговоре с природой.

К вечеру разразилась гроза. С оглушительным треском подламывающегося дерева обрушиваются громовые удары. Сажу в юрте у теплого костерка, починая бредень, а дождь барабанит частой дробью в берестяные стенки. Андрей Иванович лежит, кутается в прожженный азам и вздрагивает при ударах грома. Порой мне кажется, что мой спутник сходит с ума и тогда мне становится страшно. Ночью я проснулся от странного предчувствия беды, вышел в туман, где-то близко шумела вода. Я понял, что Гутар разливается. Наша лодка, зачальная в заливчик, ползатоплена дождем и дергается на непрочном причале. Привязал ее крепко воевой веревкой, вычерпал воду и решил идти спать. Утро вечера мудренее.

Белый рассвет. Пологи тумана поднимаются от воды и висят слоями. Я удивился: горел подновленный костер, закипал наш чайник, а Андрей Иванович старательно укладывал в мешок какие-то тряпки. Обернулся, взглянул на меня испытующе-остро и недоверчиво спросил:

— Чего вы смотрите?

Я пожал плечом.

— Ничего.

Худо день начинать со ссоры. Вышел из дверки — вода в двух аршинах от юрты. Полная перемена за ночь. Созда нас, по промоине, вода меньшей речки затопила лес, слилась с Гутаром и теперь мы ютились на острове, окруженные двумя бешено несущимися стремнинами. Если сорваться с нашего берега, то не выплывешь. Понесет

к кривляку скалистого мыса, а оттуда весь бой на залом, словно кружевом опененный белым прибором. Черные косяги проплывают мимо целым стадом торчащих клешнями уродин: где-то разворотило залом. Начинает, видимо, размывать берега, потащило свежие, вырванные с корнем деревья. Грузно качаясь, плывет громадная ель с раскидистой высокорью и похожа на корму уходящего парусного корабля. Вот, на середине реки, точно запнулась, она тонет корнями, торчмя поднимается громадный ствол и тут же исчезает в бурном водовороте. Есть своеобразная торжественность в этой дикой игре стихии и душа настраивается по особенному, как-то твердо. Долго сидел я и думал, потом направился к юрте. Андрея Иваныча не было и юрта показалась мне уютнее. Чайник висел над потухшим костром, место Андрея Иваныча опустело и только дробовик валялся странно, поперек его постели. Сперва я не обратил на это внимания и стал раздувать пригложший костер, когда характерный удар шеста о гальку заставил меня прислушаться. Секунда — и я выскочил из юрты. Покачиваясь и кружа, медленно отходила от берега отвязанная лодка. На корме с шестом, без шапки стоял Андрей Иваныч и насмешливо и победно смотрел на меня.

— Что вы делаете? — в ужасе закричал я.

В этот момент течение схватило лодку, резко повернуло бортом, Андрей Иваныч присел на корму и, ища меня дикими глазами, захохотал...

Перышком закружилась лодка в желтых волнах и стремительно донеслась к середине. Сумасшедший махает шестом, хочет поставить в разрез на волну — не справляется. Я рычу от душевной боли, не могу оторваться — смотрю. Быстрее и быстрее сближается лодка с бурным. Человек вскочил во весь рост, дыбом взлетает лодка, и оба скрываются в ревущей пене... Я невольно вскрикнул и сел, точно раненый.

Очень холодны сделались зори, утром подолгу стоят туманы и земля опускается иглами инея. После смерти Андрея Иваныча я опять поселился в избушке, питался охотой, ягодой и кедровыми шишками, не мог только ловить рыбы, потому что лодка вместе с сетью погибла. Великое

одиночество охватило меня и как будто прибавилось мне еще свободы, и песчинкой потерялся я в необъятном просторе тайги и гор. Я даже вслух разговаривал вначале, обращаясь к деревьям, к реке, к себе самому. Даже теперь еще иногда рассуждаю громко, но уже потерялась прежняя моя безмятежность и я начал чего-то ждать.

Звери оделись новой шерстью, подросли и окрепли их детеныши и чаще начали спускаться с хребтов — к реке. Подавались сверху разжиревшие гуси, сбивались в стаи и сырыми ночами, когда еле накапывает дождик, я слушал их дружное гоготание. Пospели кедровые шишки и валился лист с берез и осин, и горные цепи на юге покрылись снегом. Чувствовал я, как растет во мне инстинкт перелетной птицы, но ждал какого-то срока.

В это же утро, крепкое от мороза, яркое солнечным блеском, я проснулся с готовым решением. Пора уходить. Ненадежна была прозрачная ласковость неба и солнце грело уже мимоходом, коротко, и во всем было разлито ожидание перелома. Нелегко было выбраться из пустыни, да, пожалуй, и не совсем хотелось, но выбора не было, потому что остаться здесь — значило погибнуть. Я старательно вспомнил наказы Максима о способах возвращения, какие он давал мне.

Рекой мне спускаться было нельзя: на плотке я не проплыл бы порогов. Оставалась дорога хребтами по старому тесу, который был сделан одним соболятником много лет назад. Верст через пятьдесят этот тес приводил к избушке, посещаемой охотниками, и в ней, по уверению Максима, еще с прошлого года хранился запас сухарей и соли и, конечно, были порох и дробь. Эта изба будет первой моей остановкой. Дальше идти уже легче, чаще начнут попадаться зимовья и я, несомненно, наткнусь на кого-нибудь из промышленников. Что же ждет меня там, у людей? Много могло перемен случиться. Может, нет уже ни чехов, ни колчаковцев, может быть, там, за тайгой уже новая жизнь? Я жмурил глаза, солнце грело мне веки, а я представлял себе площадь пространную, немного знакомую, окаймленную на горизонте силуэтами зданий. Отовсюду, от крайней дали, сошлись к центру толпы народу, неисчислимые, нераздельные. В центре простой гранитный обелиск, а на нем, превыше всего, кидается волнами по ветру огненно-красное знамя. Так я мечтал о новой жизни. В последний раз зажигаю сейчас костерок и вешаю чайник, через час ухожу...

Ждет тайга, готовая вздрогнуть мохнатыми лапами. Бездонная пустота надо мной затягивается медленно, первый снежок равнодушно светится пышной роскошью белизны.

Грузно сел на горелую деревину, рядом сунул винтовку и голову уронил на руки — вниз, к коленям. Волна безмерного наслаждения отдыхом заливает тело.

И сейчас же — мысль, тоскливо рвущая душу. Не хочу признавать ее, но уже верю ей внутренне.

Я заблудился. Весь вчерашний день держался заросшей тропы, разбираясь в оплывших затесах. Ночью выпал неожиданно снег, метки на деревьях пошли неразборчивые и я потерял направление.

И как тихо, предательски незаметно, подкралась зима. Еще днем вчера была осень и лес был залит в звенящий хрусталь синеватой прохлады. Еще днем вчера золотыми фонтанами били к солнцу неосыпавшиеся березки и малиновым бархатом одевались осины, покрасневшие от утренников. А сегодня — волшебный блеск рассыпавшегося холода и стволы деревьев — почерневшие и обособившиеся один от другого.

Тончайшие звоны кристаллов рождаются в напряженном слухе, эфирные пузырьки голубого воздуха проплывают в глазах. Мягким шорохом оживает сверху пустота.

Я вздернул голову — снег. Вскочил тревожно.

Потом привычно поднял тяжелое ружье и шагнул назад, туда, где мой прежний след взбороздил тропой снежную мягкость.

Звеньями цепи спускались следы в ложбинку, взбирались бугром и вползали в ворота двух гигантских елей, расшатнувшихся вправо и влево. Спешили ноги, словно упустить боялись моменты длившейся тишины, за которой наступит то страшное, что накроет саваном холода последнюю надежду.

Я же боялся дать волю просыпавшемуся инстинкту, когда люди теряют способность оценивать и охватываются безумием. Сейчас я решил по следам возвратиться к месту вчерашней ночевки, повторить извилистый путь дневной дороги.

Мои спички отпотели, коробка раздавлена, и черные головки хрупко рассыпаются, сдирая намокшую бумагу.

А час тому назад я окончил последний сухарь и, конечно, не обманул свой голод.

Будет метель. Чаще крестят снежинки туманные глубины леса, пухнут белые колокола на обугленных пнях, шубкой лебяжьей одеваются плечи изящной елочки.

Вдруг какая-то мысль поражает меня. Я останавливаюсь, всматриваюсь и вижу ясно, совершенно отчетливо, что следы мои засыпает. Тороплюсь, бегу, подгоняемый страшной борьбой за жизнь, задохнувшись, хватаюсь за дугу изогнувшейся березки, чтобы не упасть.

Деревцо вздрагивает пугливо и роняет кисею бриллиантовых слезок.

Мне жарко, я изнемог, в висках стучит.

Снег повалил внезапно тяжелой, липкой мглой.

Вмиг скрылись все поляны, стволы деревьев. Ветра нет и только шорох — сплошной, сыпучий — наполнил лес.

И сразу — тише.

Редееет снег, и на экране таежной чащи проступают толпы задумавшихся кедров. След замело, остались ямки неглубокие и я бреду вдоль них, сцепляя самого себя неверной нитью тонущей тропы с возможностью спасения.

А впрочем — нет. Иду вперед, потому что еще жив, потому что должен испытать наметившийся выход до конца. Вот и конец. След перешел в чуть видные бороздки отпечатков, вывел на полянку и растаял. Я предоставлен самому себе. Ужас одинокого замерзания и тут же, в нежном пухе снега, алеет гроздь рябины, словно коралл кровавый. Мимоходом ловлю я этот редкостный контраст цветов, как забирают в рот щепотку снега на ходу, как люди, задумавшись, жуют травинку. Расходятся деревья. Передо мной обширное пространство гарей. Здесь, опущенный снегом, перепутался кустарник в завалах бурелома. От выдернутых корней — провалы ям, поросшие колючей бояркой и малинником и редко иглами горелыми чернеют листьяги, покосившиеся и мрачные, как мертвецы, вставшие из могил и созерцающие свое кладбище. Пробраться здесь невозможно.

Тем временем, к границам гари, утыканным вершинами опушки, мчится буря... Тухнут в сером тумане полосы леса. Шипящий отдаленный гул разливисто захватывает горизонт. Уже прорезали тайгу десятки длинных коридоров и сотни поездов с шипением и грохотом несутся на

меня. Налетает ураган на гарь. Долой белые шапки! Полетели с деревьев комья снега, снизу пыль взвилась крутящейся стеной. Вихрик маленький, серебряный, столбиком игривым вскакивает передо мной на ровной глади снега, и я отшатываюсь под напором могучей массы воющего воздуха. Отворачиваясь, отступаю вниз в лощину пади. Страшным хохотом закатываются сосны, закидывая головые косматые в безумии веселья... Внизу ручей. Здесь тише, но снег глубокий, мягкий. Едва справляясь с ветром, черными тряпицами проносится по небу стайка тетеревов.

Буря оглушила меня, пронизала холодом и, как зверь, я хочу забраться в глушь, укрыться от этой восставшей на меня природы. Хлюпнуло под ногой. Следы мои черные, пропитавшиеся водой. Попал на теплое место. Клубы сухого багульника путают ноги. Сообразил, что я забираюсь в болото. Послушал — где-то рядом, укрытый снегом, угрожающе ворчит незамерзший ручей. Бросился в сторону, в разлог, ущельем ушедший в лес. В его сыпучей пасти нахохлился угрюмый ельник. И впереди, где наверху сошлись столетние деревья, — ветхая охотничья избушка.

Провалилась сгнившая кривая крыша. На уцелевшем ребре стропила висят сосульки мха, залитые в стеклянные сосульки льда. Печки нет, потолок завалился, кругом нетронутая шагом свежесть снега. Приют кладбищенского склепа. Больше идти я не в состоянии. Это я почувствовал определенно и, почувствовав, странно успокоился. Нет уже больше тоскливой тревоги, заставлявшей выбиваться из сил. Выбираю местечко. С избушкой рядом высокорь одеревенелой пятерней тянется из снега. Пласты земли забились между скрюченными пальцами. Заслон от ветра. Там я сел, спиной прижавшись к корню.

Стынут ноги. Руки забрал глубоко в рукава, весь сжался. Мучительный покой. А еще мучительнее встать, шевельнуть рукой, вообще сделать движение. Я устаю смотреть, закрываются глаза. Во мне живет голод и грызется с мутным хмелем тоски. Иглы колют ноги, больно подбираясь к коленям. Но вот, ступням становится легче, они уже не стынут, успокаиваются. Мысленно говорю: «Замерзну, замерзну». «У-у», — кто-то вторит в деревьях. Холодной пы-

люю снега мечется поднявшаяся поземка, тонет тайга в пучине первой зимней ночи. Белый плат разостлался уже на моих коленях, закрываются веки и подходит сон, безболезненный и теплый. Остывал я снизу, от ног, и от ног же стало подыматься в меня спокойствие. Не больно теперь коленям, не щиплет тела мороз. Я уже слился с покровом снега и, счастливый, все слышу сквозь завесы колеблющихся туманов, и смотрю глазами, которым не холодно от бури. Я сижу на причудливом дне океана и грядями бегут высоко над головой грохочущие волны. Колышутся, как в воде, все предметы, и седая старуха отделяется от морщинистой ели. Белая, с крючковатым, загнутым подбородком, и метет, метет рвущимися от ветра длинными волосами. Плывет передо мной. Облако снежной пыли несется за ней. Страшно — вдруг увидит. Не заметила — своей дорогой прошла. Мне смешно... Даже слышу свой смех, вернее, чувствую, как трясусь от него. Тепло мне, как медведю в берлоге. А вот и он. На склоне мрачной пади, среди завалов деревьев, в пластах глубокого снега, обмерзшая нора. Лобастая медведица добродушно смотрит на меня, точно из-под земли. «Никогда я не стану стрелять в зверей», — с раскаянием думаю я. «Никогда, никогда», — гудят деревья низким басом. И опять забну, ежусь и себя ощущаю маленьким мальчиком. Обидели меня горько и плачу я горячо, а почему — не знаю.

Елочки зашевелились, и вышла из них стройная красавица, веселы ласковые глаза, улыбаются лукаво. Оба мы словно воздушные, так легко бежать с ней об руку по сугробам. Рассыпается искристым блеском солнце в матовом серебре ледяных панцирей. Молодые березки бросают нам под ноги темно-голубые ленты теней и синичка по-весеннему заливается в куполе неба. Корявая сосна стоит на нашей дороге и низко вытянула деревянную руку. На суке, у ствола, прижалась плотно рысь и уши с кисточками заложила назад. Беззаботно мчитя вперёд моя спутница. Глянет на меня плутовским, бесовски-огненным взглядом и солнце загорается в моем сердце. Ближе к дереву. В комок бархатистый подбирается рысь, мускулы волнами упругат шкуру. Прыгнуть хочет хитрая кошка — замерла, а конец пушистого хвоста нервно шевелится. Сорвалась, как молния, и, промахнувшись, утонула в клубе молочной пыли. Мы хохочем на весь лес, и звонким эхом отзываются желтые сосны...

Проснулся. Широко открыл глаза. Увидел холодный морок ночи и сказал себе: погибаю. Первый раз в жизни язнакомился с этим страшным словом, осветившим мне ярко узкую грань между жизнью и смертью, между светом и черной ночью. И было мгновенное сознание, что нечто еще осталось в моей власти, что уцелело в запасе еще какое-то усилие, властное задержать меня на самом обрыве в бездну. Я дернул руки. Из-под пласта снега вырвались они, как крылья птицы. Рванулся встать. Упал на место. Рванулся еще раз и встал, шатаясь. Ремень ружья торчал в снегу. Блеснула мысль и, сбрасывая с себя отчаянным напряжением воли всю стопудовую тяжесть смертной лени, я вытащил ружье. Шатер избушки чернел возле меня. Туда я и поплелся, падая, забирая в рот режущий холодом снег, опять вставая и, наконец, заполз в низенькое отверстие давно оторванной дверки. Там, в холоде, затхлости и тьме, лежа ничком, я сбросил рукавицу и начал тереть ей окоченевшие пальцы. Их свело и были они чужие. И все-таки, ценой ужасной муки и самой настоящей физической борьбы, мне удалось открыть затвор ружья.

Двумя руками старался крепко держать патрон, а зубами рвал от него пулю. И это удалось. Тогда прогрыз подкладку своей теплой куртки и вытянул клоч ваты. Забил его в патрон и еле смог закрыть затвор. Твердый, точно железный палец, долго не мог нажать на спуск, а там сноп искр ударил в темноту. Толкнул меня и оглушил внезапный выстрел.

Я задохнулся едким дымом, а впереди во тьме, зарделась звездочка, как вкрапленная в стену. И этот красный уголек был для меня велик, как солнце. Я осторожно снял с бревна затлевшую вату, вырвал из подкладки еще клоки и начал раздувать огонь. Его тепло дышало мне в лицо и, вероятно, глаза мои горели, как бегавшие по вате искры. Я обезумел от волнения и бросил в загоревшиеся клочья сухие щепки. Мгновенно все потускло и я, несчастный, как нечаянный убийца, замер у костра. Но вот, лизнуло щепки тонким синеватым язычком, заколебался оживавший свет и рот мой расплылся в неудержимую улыбку.

Тогда, вероятно, я потерял способность рассуждать, иначе вряд ли стал бы я подбрасывать в костер обломки досок и все, что попадалось под руки. Густой смолистый дым тяжелым сизым потолком повис в избушке. Я откатился к двери, уткнул лицо в порог в прохладно-свежую волну и безмятежно засыпал. Так дивно грело спину,

чуть-чуть покалывало тело уходящее воспоминание о морозе, и колокольный звон, ритмический и медный, вливал мне в уши, баюкал мерно, ровней и тише...

Нестерпимая боль ударила в спину,хватила в голову. Кругом трещало... Я моментально отрезвел и диким звериным прыжком успел метнуться в дверку. Уже в снегу я понял, что надо мной, когда я просыпался, ревело пламя. Отверстие двери передо мной как раскаленный ад: там бесится крутящийся огонь... Я еле встал, шатаюсь. Тушил затлевшуюся куртку и сел на пень.

Изба горела. В фантастическом багровом свете мерцали елки, черный человек сидел на пне и безгранично тосковал буран над колкой грудью леса.

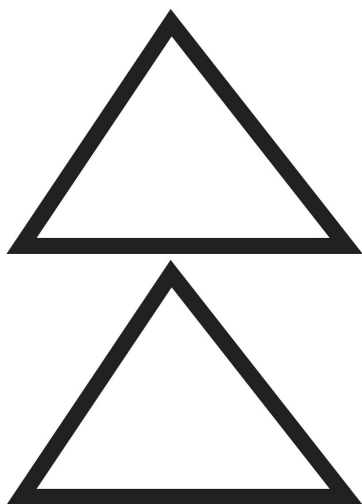
Потом — период пустоты. Я будто не жил. А дальше помню смутно, обрывками, какую-то дорогу. Меня везли на нартах два человека. У одного была большая огненная борода. Мелькали сосны мы карабкались в хребты, спускались в пади. Временами пропадало все. Тут я возрождался в странном бытие: опять ходил, страдал и радовался, сразу умирал, чтоб вновь воскреснуть к прежней жизни. Тогда я узнавал костер в снегу и чувствовал, как укрывали меня оленьей шкурой. Поили чаем из деревянной чашки, и в чае было масло...

Потом опять, с пробелами, дорога. Осталась в памяти изба-заимка. Лежу я на кровати, за занавеской. На табурете напротив сидит бабка. Нога за ногу заложит и дымит махорочной сигаркой. Она — мой доктор. В доме никого: все мужики на промысле. Со мной старый ветеран Соболюка. Он длинный, остроухий и серьезный. Подходит важно к моей кровати, кладет с подушкой рядом седую морду и, кажется, вот-вот начнет рассказывать о прошлых годах. Так тянется подернутое зимним деревенским забвением больное время. За эти дни я узнаю о гибели Максима, убитого в какой-то схватке. Вот почему никто за нами не приехал. Меня в тайге нашли охотники случайно.

И вечерами, когда за окнами гудит метель, в избе горит лучина, вполголоса поют о чем-то собравшиеся бабы, я вспоминаю пламенное солнце, синий блеск взволнованной реки и беспредельную свободу таежных дебрей...



Кондратий Урманов



Кондратий Никифорович Урманов (Тупиков) (1894—1976) родился в селе Васильевка Кокчетавского уезда Акмолинской губернии, в крестьянской семье. Некоторое время учился в сельскохозяйственной школе, но был выгнан «за безбожие». После чего работал маляром, грузчиком на пристани, рассыльным, писарем в переселенческом управлении. Усиленно занимался самообразованием. Экстерном сдал экзамен на звание народного учителя. Был связан с революционным подпольем — в 1918 году арестовывался в числе организаторов выступления против Временного правительства Колчака. С началом Гражданской войны ушел к партизанам и принимал активное участие в освобождении Сибири от белогвардейцев. После восстановления советской власти в Сибири работал в редакциях газет. Со времени основания «Сибирских огней» был постоянным его сотрудником. Здесь напечатаны все его основные произведения. В 1924 году в Ново-Николаевске вышла первая книга — «Половодье». Член Союза писателей СССР. Умер 9 октября 1976 в Новосибирске.

Заноза

80

I

Осенний ветер метет пожухший лист. Срывает с деревьев и гонит от родного корня в неизвестный край. Точно метлой метет, и где пристанище — не видно.

Так с осенними ветрами уходили белые.

Долго тянулись они на восток, словно бесконечный, серый, запыленный дальней дорогой караван.

Солдаты и их «погонщики» — одинаково серые, безликие, табунами приходили в село Балган, потом скатывались вниз, в долину Караджар, и терялись в густом лесу... Часто их провожал глазами Иван Беспалов, мель-

ком заглядывая в лица, в надежде увидеть сына... Разное о нем говорили: одни, что его убили в восстание, другие, что он у красных...

Последний отряд угнал у Ивана Беспалова лошадь. Еще одним горем прибавилось. Теперь Иван больше не провожает солдат, он ждет красных. И когда жена Марфа начинает потихоньку всхлипывать, Иван успокаивает.

— Брось... Чо толку в слезах-та... коли не суждено помереть — придет. А лошадь — дело наживное...

Еще года не прошло, как расстался с сыном, а голова побелела, точно в лебяжьем пуху, и лицо от морщин рубцами покрылось...

И не у одних стариков Беспаловых было горе, по всем избам ходило оно и клало свою тяжесть на мужицкие обтянутые плечи...

Уже изморозь заковывает льдом Джабайку, а красных нет. Хоть бы весточку услышать...

II

По снежной пороше пришел первый батальон красных. За пять верст слышали, и по избам залетало известие:

— Красны идут...

— Большевики...

— Камуня...

Красным и большевикам были рады, а камунии — боялись.

— Разбойники там одни...

Но батальон прошел тихо — камуня не задела. Комбат собрал все село на площадь и всех оделил ласковым добрым словом:

— Товарищи...

Для мужиков все было ново: и звезда на шапке, и красные ленточки на груди, а главное — обращение:

— Товарищи...

Одна за другой потянулись части Красной армии. Приходили и оставляли в селе уверенность, что войне — конец...

Бегал Иван Беспалов, о сыне солдат расспрашивал; вострадовали — в Красной армии его видели.

Изо дня в день ждали старики сына. И, когда отряд красных проходил мимо села, Иван беспокоился.

— Може, Тимка прошел...

Село еще только что просыпалось и сотнями труб дымил в белое зимнее небо. Кое-где скрипели уже полозья саней, кричали гуси, ржали лошади, мычали коровы. А по загуменью, согнувшись, торопливо шагал к своей избе Тимофей Беспалов. Хотелось, чтобы никто не видел — спокойнее.

Все избушки приплюснутые, маленькие, в белых шапочках... Мельчают... мелькают... Глаза отыскиали на самом краю — родную, в которой родился, вырос.

— Скорей!

И еще отыскал избу Филата Найденова — там Полька — заноза молодого сердца...

Бежит Тимофей, торопится. Наконец — гумно. Перемахнул через изгородь — вот и изба. Такая же низенькая, как старушка мать, с перекосившимися обледенелыми окошками...

Когда отворил калитку, заметил:

— Серка нет... Знать, тятя уехал...

В избу влетел, лба не перекрестил.

— Здорово, мамаша!..

Мать у печи возилась, от радости ухват уронила.

— Што, сына испужалась? Ну, здравствуй!..

Обняла, заплакала:

— Думали, не воротишься... Сыночек ты мой родимый...

Отец с печи слез, голова лохматая, рубаха пестрядинная, без пояса — мешком...

— Ну, здорово, сынок...

Поцеловались.

— А ты, мать, все плакала... Скидавай, сынок, шинелку, грейся, перемерз поди?

— Да не шибко... бежал больше...

Иван за печку нырнул одеваться.

Тимофей поставил в угол винтовку, снял шинель с полушубком, на голбец бросил, френч (английский) поясом затянул, глазами по избе шарит. Маленькая она: третью часть печь заняла, вверху полати, а в переднем углу стол, лавки — повернуться негде... Заметил иконы:

— А вы все так же живете?

— Так, сынок, — подает голос Иван, — кака наша жись?.. Не жись, а жестянка, можно сказать, куда не швырни — гремит и только... Вот теперь, може, посла-

бление какое мужикам будет, а то в гроб загнали нас эти Толчаки... в отделку заездили... Серка-то нашего угнали...

— Кто?

— А шут их знат: белы-ли, зелены-ли, а только охвицер приказал в обоз забрать...

Тимошка с досады крякнул:

— Ах, черт их лупи!.. Как же теперь робить-то, весна придет?

Зашаркал Иван пимами.

— Оправимся... не одни мы, всех мужиков беда облепила... Слава богу, што ты вернулся; лошадь дело плевое — нажить сумеем...

Мать завтрак готовит, торопится.

— Ты поди, сынок, скоромное ешь?

— А как по-твоему, мамаша, солдату можно посты соблюдать?

Потом ответил:

— У нас в Советской Расеи постов не признают...

А отец о своем. Положил руку на плечо, бубнит:

— Не тужи... Бог даст день, даст и пищу... Возьмем у Абакирки в долг коня — поправимся... Главное, тебя бог спас...

Ласково так говорит родитель, а Тимошка морщится:

— Это, тять, не от бога... Не убег бы от карателей — карачун был бы... Много ребят погинуло...

— Да-а... — цедит сквозь зубы Иван, а сам думает: «Обезбожился парень-то... Може, с камунией спутался?..»

Потом встрепенулся...

— Што ж это мы, старуха, так сына привечаем? Чать с дороги и ханжишки выпить не грех... Я чичас...

Схватил шапку, шубенку и уже с порога сказал:

— Жарь, мать, сало, все равно...

Прыть в ногах холостяцкая появилась, зашагал по селу — молодому не поспеть...

III

Бывает так: и радость, и острая заноза впиваются в сердце человека: радость пьянит, а заноза колет, попробуй, выдерни — долго будет саднить. Такое уж место в человеке сердце — не скоро заживает...

Сидели за столом трое; отец с сыном поочередно в рюмочку заглядывали, а мать со стороны на сына не насматривается... Тихая такая, как монашка, лицо, что пряжи клубок — все в морщинах; платочек черненький хохолком на голове...

Выпивали, закусывали: отец с матерью капусткой, а у Тимошки на зубах поджаристое сало хрустит...

Радость у всех была, а заноза подкрадывалась такая острая, колючая...

Иван выпьет, сыну нальет и все покряхтывает. О многом спросить хочется сына, не смеет... Как бы не обидеть...

— Може, еще по одной?.. Добрая ханжишка.

— Нет, тятя, хватит... Нам много нельзя...

Ивану показалось, что Тимошка даже выпрямился при этих словах. Ближе подвинулся к сыну, черными глазами в лицо впился.

— Кому это — нам?

— Нам... партейным...

— Кхе... ты, Тимка, уж не в камунию ли записался?

— Записался, отец... По-новому жить хочу... Будет эдак-то...

Красенькую бумажку из кармана френча выхватил:

— Вот он, билет-от...

Глаза у Ивана наружу выкатились. Ему показалось, что и он там, в этой красенькой книжечке, как в поминаньи, со своей старухой значится... Кончено!.. Был Иван Беспалов, мужик степенный, богобоязненный, миром уважаемый, а теперь — камуния... Шабаш!.. Нет Ивана Беспалова, мужика деревни Балган, Кокчетавского уезда, Акмолинской области, — есть член камунии... Не спросясь, сдернул сын с насиженного места, с родного корня...

Голова начинала кружиться, точно он на суде за большой проступок стоит.

Притихли... Трещало жареное сало и хрустящая капуста на зубах...

Иван еще выпил.

— А об нас-то ты не подумал?..

— Што?..

— Да об родителях-то, мол, не подумал... На эдакое дело пошел?..

— Тут, тятя, и думать неча... Я сам не маленькой, понимать должен...

А заноза уже колет старое сердце.

— Не дело это... Без спросу родителей штоб... Ты даве к чему насчет бога так сказал?..

— Как?..

Иван вскипел:

— А так што — безбожники вы все там в вашей камунии — Азия немакана!..

Даже привскочил. Мать впуталась.

— Да брось ты, старик... Не нам его таперя учить стало... Как хочет живет... Его дело...

А у Тимки задору еще больше. Шумит в голове, мысли наперебой лезут. Да какие! Разве слышал их когда-нибудь доживающий дни отец? Никогда... И хочется этими мыслями засыпать отца, чтобы сразу все отшибить, сделать таким же, как те, что идут с красными звездами...

Наохлился Иван, в глаза не смотрит, большое место задел сын, разобрал.

— Камуния, штоб вам треснуть!.. Видно, далеко пойдете... Ни бога, ни икону не почитаете... Порядки свои наводите... Кому нужны безбожники?..

— Брось, тятка... Устарел ваш бог-от... Для нового строя не гожа... Ты не сердись, хочешь я тебе всю правду расскажу про бога?

— Што мне с твоей правдой? Разная она у людей бывает. У тебя одна, у меня другая...

— Нет, ты только послухай... Две тышчи лет, а може, и боле, поклонялись наши деды, прадеды разным колчужкам и мы тому же поклоняемся... Вон как на божнице... Глаза тараканы выели, лика-то совсем не знать, хто он, а мы намаливаемся!.. «Господи!.. Пошли, господи!..» Дурь одна, дичь!.. По Расеи сичас нигде этого дерьма нету — изничтожили, потому все в понятие взошли... Иконы, они все равно што флажки: полиняли — выкинуть, замест их новые поставить, коли требуются. Так и с богом: полинял бог-то — нового надо, вот люди и нашли по себе бога — Лениным прозывается. Это навроде как Христос. У того были апостолы, у етого — товарищи. Христос учил в небо глядеть, милости божьей ждать, а Ленин говорит: крой дармоедов и в хвост, и в гриву, все на земле принадлежит рабочим и крестьянам...

В сердце Ивана радость последним огоньком догорела, а заноза все острой, все больней колется.

— Да я хто тебе?.. Родитель, али хто?!.. Ково учить удумал?!..

Ложку об стол трахнул, осколки полетели...

— Я, пожалуй, на старости лет выучу!.. Живо про камунию у меня забудешь...

Весь ходуном ходит старик. Кулаки сжимает, машет-ся... Мать слова лишнего не скажет, точно милостыню у сына просит...

— Не надо, сынок... Он старый, такой уж помрет... Трудно понять, про што от бога не дадено...

— Не твое дело меня учить... Отцы богу молились — не хуже нашего жили... Как теперь на люди выйдешь?.. Засмеют!.. Камуния!..

— А ты, отец, на меня вали — я снесу... У меня и с богом, и с людьми, без понятия которы, расчет простой: высморкался и квит...

— Цыц, паскудник!.. — коршуном на сына налетел. — Не нужен ты мне такой...

В сенях кто-то скрипнул дверью. Этот скрип ударил Ивана по рукам; отошел от стола, на голбец опустился...

В избу, согнувшись, кряхтя влез сосед Ефим Сорока, лохматый черный мужик, в зипуне и сигаркой в зубах (горит или не горит, все равно до новой в зубах торчит). Помахал корявой пятерней возле носа.

— Здорово живете!..

— Проходи, — за всех мать сказала, убирая со стола, — садись...

— Хы... а сказывали, Тимка убит?!

— Обмишурились...

По-медвежьему пожал руку, присел рядом на лавку.

— А мы тя со стариками погибшим пшпитали... Пра слова... За упокой подавали...

— Напрасно старались... Ну как живешь, дядя Ефим?

— Дыть што нам жись... Вот белы коней двух угнали — худо, а так ничо...

Отец голову опустил — злобу не удалось вылить, а Тимошка, как ни в чем не бывало: шутки отпускает, смеется...

— На побывку аль насовсем?

— Дня на три, на четыре... Када отряд придет... Я вперёд убер...

— Та-ак... Вы как же теперь из Расеи в нашу Сибирь со всем с камунией идете? — гнилые зубы щерит. — Мы ее тут шибко ждали...

— Как же... совсем... На тринадцати подводах ее везут, камунию-то... Передняя уже за Омской перевалила, а задняя за Урал зацепилась: хвост, говорят, оторвался, никак найти невозможно...

У Ефима по смуглому лицу улыбка...

— А-а... Скажи, неспасье!.. А мы вить думали, вы ее в клетке везете нам на показ; што така за камуния... Злющая, рассказывают, а?..

— Как для ково...

— Не ужиться ей тут... Мороз неподходящий — сурьезный... Да и люди мы — медвежатники, случай чего — с рогатиной попрям супротив ее-то...

— Это как удасса... Против Колчака пошто не перли?..

— Там дело иное... Он нам, язви ево, так коптильники настигал, чичас вспомнишь — зудит... Отца спроси, ему тоже за тебя влетело...

Осекся Тимошка. Эта новость больно в сердце отозвалась, жалко стало родителя, на себя досадно...

Ефим выплюнул на пол огрызок, новую сигарку крутит, а сам бурчит:

— Все село перепороли... Бабам и тем досталось — всыпали. Ты серянок не принес?

— Нет... Курильщикам раздал...

— А у нас вишь какой огонь...

Достал кресало, кремь, трут — крешет, а сам приговаривает:

— Ленин, Троцкий и Колчак

Научили чак да чак!..

— Во, гляди и запластало... Серянка не нужна...

— При чем же здесь Ленин, Троцкий, когда у вас тут верховный правитель адмирал Колчак был?..

— Да так это — к складу... Робята придумали, штоб в тахту... Ловчее огонь высекать.

В избу вошла Фекла, жена Ефима, маленькая, раздавленная, а живот из-под шубейки наружу прет.

Поздоровалась, на мужика накинулась:

— Ты што ж это про домашность забыл? Коров поить надо, а он зашел и сидит...

— Во-во... то и гляди съист... Слухай, Тимка, там насчет баб ничего не вышло?

— Как не вышло — вышло, только не в твою пользу... Там баба, што и мужик — подравнялись в правах... На

сборне али в другом каком деле — все едино — равны...
На то она и Советка влась...

Ефим головой лохматой крутит, смеется:

— Коли так, нам, Иван, с тобой помирать надеть, покедова эти права не пришли... Заездят!.. Пра слова... Табак — наше дело... Родить еще заставят и никуда не денешься, раз права их будут... Эх ты, вот так дожили!..

У Ивана улыбка не своя — чужая, уродливо скомкала лицо. Еле слово выжал:

— Камуния дотяпат...

— Надо итить, а то чего доброго... Ноне с бабой шутки плохи...

— Иди уж, видьмедь... Балясы точить только... Зайдет куда — на целый день, значит...

Нахлобучил шапку, сигарку жует:

— Я вот чо хотел тебя спросить...

У Ивана оборвалось сердце: «А вдруг?..»

— Ты в камунию не записался?

«Так и есть», — Иван вскочил с голбца, за печку шмыгнул, а мать, притихшая, в печку заглядывает...

У Тимошки коммуна — гордость. Перед кем и для чего скрывать, что он коммунист?

— Да, дядя Ефим, записался... Тоже не всякому можно... Который ежели у белых был, тому и думать неча... Да опять же, хто на новую жись согласен...

— Нам, старикам, де уж до новой... Пойдем, баба, а то, чего доброго, ты еще в камунию пожелаешь...

Засмеялись, ушли. А за ними ушел отец...

IV

88

Покружился Тимошка день-другой с родными да знакомыми — не тот стал, каким пришел. Словно нутро ему подменили. Тяжело как-то. Разговор не вяжется. Ждал: скорей бы пришел отряд...

Временами ему казалось, что у него на плечах чужая шуба, хорошая, а чужая, и ходить в ней по родному селу стыдно. Одно пришло: или скидавай да живи, как все прочие, или уходи, коли шубу жалко. А шуба новая — добротная...

Отец со встречи запил. Приходил еле тепленький домой и с порога кричал:

— А камуния наша дома?!..

Голос хриплый, сердитый.

Мать бросалась к нему:

— Ошалел ты, старик, што ли?.. Опять налакался!.. Дай хоть с дороги отдохнуть.

Тимошка спокойно поворачивался к отцу и спрашивал:

— Я тебе шибко нужен?..

— Ды нет... Так... Поблагодарить хотелось: обрадовал отца на старости лет... По селу вон роем гудят: «У Ивана Беспалова Тимка — камуня, Иван Беспалов сам в камуню хочет записаться»... Спасибо, сынок...

Сел у стола, согнулся, пьяные слезы закапали...

Все ту же затягивалась петля, душила Тимошку. Чувствовал свою правоту и отцовская обида была понятна.

— Подожди, отец... Може, завтра отряд придет — уйду...

Мать кончиком платка глаза и нос утирает.

— Да бросьте вы... Ровно звери какие грызетесь...

Иван встал, звонко высморкался у порога.

— Ланна... Живи... Я боле не буду, только ты меня не трожь... Я вить отец тебе: по-иному жись свою стряпал, а ты ковыряешь...

На второй день учительница в школу позвала — узнать все охота, как и что.

Старенькая, дряблая сидела она у столика и задавала робкие вопросы:

— А большевики не режут людей?..

Смешно Тимошке, что она такая грамотная, а ничего не знает.

— Што они, людоеды? Пошто резать станут?

— Так писали в газетах...

— Брешут... Плюньте им в глаза, кто так пишет...

— А конину едят?

— Ежели голод приспичит, всяк есть станет... У брюха свои законы...

Сидит барынька и выпрашивает, а Тимошке тошно.

Надоела — плюнул и ушел.

— Кошка дохлая, язвило бы тебя в язык!..

На площади Польку Найденову встретил. Думал — обрадуется, на шею бросится, а она только руку подала.

— Ты што, аль не рада?

У Польки над глазами пуховая шаль свисла, пимом снег ковыряет.

— Я замужняя...

— Замужняя?.. За кем?..

— За Ванькой Базаровым...

— Та-ак...

Оборвалось внутри у Тимошки; сердце защемило, в голову разное лезет: Троица с венками, с песнями, вечерки, игры... И Полька, такая молодая, ядреная, как березка в соку, с цепкими руками, обвивавшими когда-то шею, из которых трудно вырваться... А теперь не та: жакетка с пухлями, пуховая шаль — базаровская.

Хотелось сорваться с места и уйти далеко-далеко, туда, где был, чтобы ничего не видеть, не знать.

— А я вот из отряда вперед убер — не стерпел... Думал, ждешь...

Молчит Полька, будто вспоминает что-то, головы не поднимет.

— Может, бросишь?.. Ноне права таки... Не люб — не живи...

Подошел вплотную, руками обвил молодое упругое тело и чувствовал, как под жакеткой колыхнется Полькина грудь...

— Тяжело мне... Не могу...

— А мне эдак-то не тяжело?..

Голос сорвался.

— Ну прощай...

Губы отыскал, последним поцелуем обменялся.

— Радостно было итить домой... И вот...

Полька всхлипнула, еще ниже опустила голову и тихо пошла через площадь домой...

И Тимошка шел, только не знал куда.

Скрипел под пимами снег, ровно двое избыбших перекликались... Землю стальными обручами давил звонкий мороз...

Прошел площадь, обогнул вокруг церкви, школы и опять перед глазами базаровский дом, на котором еще сохранилась вывеска:

ТОРГОВЛЯ РАЗНЫМИ ТОВАРАМИ И КАРАСИНОМ

С.П. БАЗАРОВА

В окнах яркий свет... Тихо подошел. Полька сидит за столом, чай разливает... А вот и Ванька...

Зубы скрипнули, пальцы стальными крючьями в ладоши впиваются, хрустят...

— У-у у... Сволочь!..

Обокрали Тимошку... Самое дорогое унесли. От этого болит сердце и хочется сделать злое.

Легла поперек дороги былинка — самая пустяковая, а перешагнуть трудно...

Отошел от окна, покружил по площади и опять у базаровского дома...

Назойливыми мухами бьются в голове злые мысли:

— А если перешагнуть?!.. Полосануть из винтовки и баста... Подожди, Ванька, мы еще посчитаемся...

Порхали мысли, дразнились:

— Над буржуем задумался? Его обокрали, а он, как милостыню, ждет под окном... Не подадут!.. Этим куском не делятся... Тряпка ты...

Шагнул на дорогу, хотел уйти, а ноги не слушались. Долго кружил по площади, пока в базаровских окнах не потух огонь...

Дома ждали ужинать — не сел.

Достал винтовку, почистил, новую обойму вложил, сумку проверил...

— Завтра отряд должен быть...

Мать на голбце приготовила постель, сама с отцом на печку забралась...

Тимке долго не спалось. Как наяву, стояла возле голбца Польша и молитвенно смотрела в глаза.

Не спалось и Ивану; его мучили вопросы, которых так много нашвырял в его седую голову родной сын.

— Как же это так, чтоб без бога?.. — и ответа не нашел. — Всю жизнь прожил с богом, а тут — на тебе!.. Нету бога... Попы набрехали...

Прислушался — тихо...

— Тимка, ты спишь?..

— Не...

— А кто этот самый Ленин?

— Человек... Расеей правит, а може, всем миром будет править... Рабочим он с руки, потому так...

Иван удивляется:

— А бога не признает...

— Не к чему... С понятием голова...

Глубоко вздохнул.

— Должно, с нечистой силой путается... Може, нехристь какой, сбивает народ с панталыку, а бог подкараулит, помни мое слово...

Тимке не хочется говорить. Без толку...

Под печкой сверчок начинал свою звонкую песню...

V

Утром пришел в Балган отряд Касачева. Передохнул малость и снова в путь...

Тимка торопливо оделся, перекинул винтовку через плечо.

— Ну прощевайте... Скоро, может, снова вернусь...

Мать глазами заморгала.

— Повернулся денек дома и опять уходишь... Бог знает, чо дале будет...

— Надо, мамаша... Кончим войну, тада жить ладно будем... Поговори, тять, с Ябакиркой насчет лошади...

Обнял родителей, а самого слезы душат, заноза еще сердце колет...

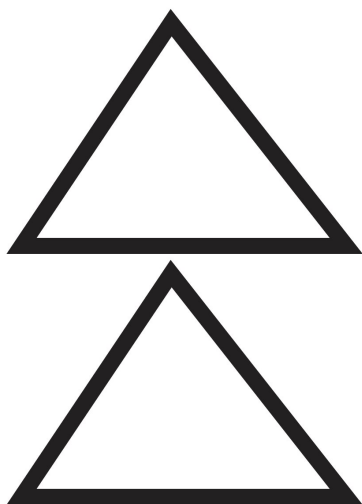
— Прощевайте...

По долине Караджар — дорога, как черный потерянный канат на снегу и там, где горы замыкают круг, теряется в лесу.

Иван долго стоит у ворот и смотрит вслед уходящему отряду.

У него на глазах слезы.

Н. Дубняк



Н. Дубняк — псевдоним Кудрявцева Николая Александровича (1901—1944). Родился в селе Лисково Нижегородской губернии. Работал на заводах и стройках Сибири. Учился в Московском плановом институте. Публиковался в журнале «Сибирские огни». В 1934 году в Новосибирске вышла первая книга Н. Кудрявцева «Тяга времени». Автор книг «Как село Маромыш с царем воевало» (1938), «Друзья» (1949), изданных в Новосибирске.

Участник Великой Отечественной войны. Был в фашистском плену. Погиб на фронте.



В те поры

А. МАЛЕНЬКОМУ ПОСВЯЩАЮ

95

...Случалось, примерно, так: вышел однажды по делу
ночному фабричный сторож Михеич из своей конурки
и слышит: скрипнуть, чутко... эге!

Шагнул раза два в тень и снова слушает: скрипнуть!..

— Кто здесь? А-а? Чуешь?

А от крыльца конторского — раньше директор жил —
тень к земле приникла. К воротам крадется. В бежку. По
луне-то больно все ясно видно. Задергался старыми кула-
ками Михеич, камень с дорожки поднял:

— Стой! Сто-ой!.. Крик подыму.

— Я, дядинька Михеич, так... ничего...

— Это ты, Васька?

— Знамо я... Карточку директорску отвинчивал, котора медна и с буквами. В деревню хотел, за хлебом.

Обложил Ваську Михеич с третьей полки, а камень бросил. Потом почесался, на небо взглянул и резонно говор повел:

— Ты, парень, уходи. Знаю, что не от доброго на эдако дело шел. Только и мне из-за вашего брата в ответе бывать не пристало. Добро-то народное, уходи, говорю, от греха.

А какой в нем, в народном добре, толк Ваське. У Васьки в шестнадцать лет мать на руках старая, никудышная сестра-немуша; фабрика встала, работы нет, хлеба нет, а деревня одно знает:

— Ежели в оммен, дам, на деньги не хотим...

— Хошь матушку решку пой.

Часть товарищей на фронты поуходили: Денику бить или Врангеля, поляков. Ваське зависть. Хром он Васька и крив, и пропадать ему здесь без всякого удовольствия, как собаке.

Ночь тем временем с утром местами сменилась. Утро синькой поле облило. Стояли поля под августом, утыканные жирными копнами. Копны похожи на бородавки по желтым ладоням поля. Кой-где дымок от костров, телеги и лошади — мужики стерегли свои копны от города и часто, смотря на него, ворчали:

— Ишь угасил печи. Работать нет, а жрать хочет...

И тогда вспоминали, как было «раньше» и считали сроки...

У города жилы — жгуты железные. Город поэтому не считал и мёр, сцепя зубы. У деревни жилы — жгуты снопьяные. Встосковалась деревня — не вся, а та, что от жизни той выросла — по жирной, потелой быти, по каше с салом, по щам, по бане угарной, с паром и с бабой, чтобы грудями полная пазуха, и разом вздыхала:

— Эх. И когда же тем самым большевикам капут будет?..

Муторно Ваське. Знал:

— Кулачье все, которым революция — нож в глотку. Бедняки — те и рады бы с радостью, да у самих пусто.

Такие дела...

При спуске в фабричную слободу с Петькой Клещом встреча. Не любил Клеща Васька, да и никто его не любил.

С фабрики Клещ еще при хозяине прогнан. За воровство и за леность. Никудышный он человек был и вид у него дикий: корпусом низенький, коренастый, из под шапки — щетина рыжая, а глаза, как у волка маленькие, исподлобья, встретятся и сразу зарыщут, а главное, что ни возьмет от мастера (в столярном служил) — все равно испакостит, одна материалу порча.

Хотел было мимо пройти Васька. Не дал. Подмигнул глазом, закашлялся, а в харкотине кровь. Объяснил:

— Дохтур сказал, еще в зиму сдохну. Влип хрен ему в нос, не таковские.

— С чего оно завелось у тебя?

— Кров-ет? А мастер под Покрову зашиб. Фуганок я слямзил. Во! Куда идешь-то?

— А никуда, между прочим. Гуляю.

— Та-ак. Погоди малость. Разговор с тобой есть. Жрать хочешь?

— Давай, коли есть.

— Дурак!.. Не к тому я. Кабы было, не стал бы здесь шляться небось. Во! Баран ты, Васька. Говорить я тебе боюсь. Ненадежный ты, вакса...

— Коли начал, дак говори.

Наморщился лбом Клещ, пальцем в носу ковырнул и буркнул:

— Коли так, слушай. Только ежели что... Во! Понял? Иди сюда.

Над обрывом сели. Справа — город, слева — слобода, внизу — речушка. За рекою копнами поля рассыпались. Клещ на поля взглянул и горлом поуркал:

— Видал, мать их так... Про Ленина небось слышал? Что Ленин говорит? Будет жизнь направлена и мужику мануфактура будет. Во! А сичас революция и стало хозяевам — кляп. Так нет, шиш выкуси, с голоду мри, а им в обмен подавай. А какой тут обмен, коли жизнь растыркали. Одно слово — контры... Во!

— Контры и есть, — вздохнул Васька, — нашему брату да с ихним ежели сообча — никака буржуазна ехидна не вредная.

— То оно самое и выходит, — подтвердил Клещ и неожиданно резнул. — А ежели супротив, значит, и мы силой...

— Тоись как?

— Ночью, знамо как. Родителей накормим и товарищам хватит. А ночи темные сейчас и усмотреть им никак невозможно.

Васька низко над обрывом головою сник и шепнул еле слышно:

— Опять, значит, на воровство...

— Ты рази пробовал?

— Так... карточку хотел с крыльца... Михеич прогнал...

Клец свистнул:

— Вакса ты, вакса и есть. Не сваришь с тобой каши... Идти-ин...

Испугался Васька. Руку Клещеву сцапал и смяк весь:

— Может... сговоримся уж...

— То-то. Так бы и начинал. А то воровство, да то, да се... Не воровство, а свое собственное. Потому как теперь коммуна. Слышал?

...И долго еще шептались, поглядывая на раскинувшуюся, будто бабью грудину, поля...

Ночью в степи по августу зябко. Брали мужики на ночевую полушубки, кошму, и вечером зажигали костры.

Так ждали полночь. Полночь в степь шла с петушиными криками и с особенной полуночной жутью.

В рассказах о были, ведьмах, о черте, о злобе не отпетых обычаях мертвецов и еще о многом, дедовском, вековом, ядреном шло время.

Одного не говорили мужики: о своих недостатках. Боялись и рты зажимали, ежели что. Царила в деревне рознь. Сын не верил отцу, отец не открывался брату и так — все.

Думали:

— Ты ему в явь, а он те по миру свистнет. И пошло гулять слово. А там отряд грянет с реквизицией. Поди, выкручивайся...

Мужичок-беднячок Митяй Иванкин рано с беседы сегодня ушел. Осердился. Крепкий хозяин Данила Карпов с костра его снял:

— Ты, говорит, постой, а мне сесть впору.

— Дак ведь место-то я занял, — взъерепенился было Митяй.

— Ладно. Посля рассчитаемся. Прись дале...

Так и пришлось место ему уступить. Одно Митяй знал, когда шмыгал лаптями к телеге своей по жнивам: ежели не уступить, он с тебя долг стребует. Деревня-то вся дворов тридцать. Десяток из них кулацких, остальные в тягле под ними. И эдак сизвека.

Залег под телегу Митяй грустный.

Лошадь над изголовьем овес почвакивает. Редко он ей доставался бедной. У хозяина — квас, у скотины — мякина, и вместе обоим жизнь вечной осенью сентябрьской личилась. Скучно...

Совсем было задремал в думах своих мужик. Только слышит вдруг: лошадь перестала жевать и на поводьях дернулась беспокойно.

— Что бы то быть могло? А?

Слушал: в кудластой бороде ветерок еле чутко запутался. В груди сердце — тук да тук.

Жутко...

Чуялось во тьме чужое что-то... И будто шепот оттуда, где копы из теми. В поднебесье высились.

Жнива опять же... Заяц иль мыши, иль нечисть какая. Кто может знать, чем темная ночь дышит.

...Крался Митяй кошкой...

Копны казались в потемках большими, с целую гору. Стояли они молчаливые, накупившиеся, пахли теплом и чем-то ядреным и хмельным.

Солома колола руки.

Васька, затаив дыханье, вытаскивал сбоку только что завитой небольшой копенки плотные пшеничные снопики и передавал Клецу. Тот ножницами остригал колосья. Падали они в разостланный под ногами пятипудовый чувал с мягким бархатистым шорохом. Чувал наполнялся быстро.

Захолонул дух у Митяя.

— Кричать аль нет?

Хозяин копы — Данило, тот самый, что с места его согнал.

Мусолил злорадно думу:

— Пущай, с него не убудет небось, не бедный. Да и эти не с сыта на эдакий риск рванулись.

И, как зачарованный, следил за работой.

Колосья не сыпались больше...

Долго вязался разбухший чувал. Темная по августу рдилась и думала ночь. Люди свое знали.

Клещ:

— Жнивой тише шебаршь... Услышат.

Васька:

— К реке бы... Там уж конец.

В радости, в скаках, в пивнице хмельном и остром Митяеве сердце, когда те шли. Молчал и в себе материл Данилу:

— От бедных хоронисси, пот чужой люб, вот тебе бедные и пожаловали за ответом. Во-он оне, голубчики. И чувал полный. А мне што, наплевать — мое дело, кричать не стану. Пусть их идут... Не то еще будет, анафемы, кровососы мирские. Дайте народу отудобеть.

И чувствовал себя заодно с теми.

В кровях вдруг забота вспыхла:

— На людей не нашли бы... К Даниле. Убьет ведь тогда. Эх, сказать надо.

Шарахнулся Васька, крик по ночи зачуяв — тихий и робкий был крик.

— Братцы... Годи, братцы.

Клещ не из тех: встал и спокойно в расспрос пустился. Митяй шапку смахнул и забормотал неуклюже:

— Тоись... выходит... Мы тоже понимать можем, ежели жрать нечего. Не бойтесь меня, братцы, добра вам хочу.

— Спасибо, коли так, — пробормотал Клещ, — а сам ты откуда?

— Да деревенские мы. Кулацкая у нас деревня-то, и живем мы под ними в обиде. Помочь бы нам надо, для города оно легче, помочь-то...

И вдруг заторопился:

— Только вы идите, братцы. Не дай бог на Данилу наткнетесь, беда тогда будет.

— Лучше-то где?

— А пашней... Лесом потом, к реке и в город...

Причмокнул губами Клещ и руку Митяеву сцапал:

— Спасибо, дядя. Случится быть в городе, заходи. Клеща спросишь, там меня всякий знает...

И оба исчезли в потемках.

Радостный шел к телеге Митяй.

И те — впереди — шли, и росные тропы зажглись по серевшим — в зачатию утра — жнивам.

Троп было три. Утром тропами пришел Данило. Две из них те, что колосьем усыпаны кончались пашней, а третья вела к Митяю.

— Есть, — прошептал мужик и пошел по третьей.

Спал Митяй розовый под телегой, алой зарей оплеван. Спал и смеялся на утро. Рот у Митяя слюнявый, беззубый, а руки крест-накрест сложены. Но когда под пинком в бок проснулся Митяй, то скривился рот страхом, а руки в затылке заерзали.

На жниву взглянул и сразу все понял.

Шептал над Митяем Данило сквозь зубы:

— Как же теперя-то? А? Воровать, значит, вздумал! Даром мне хлеб достался!

— Не я, Данил Карпыч, — молился Митяй и в ноги коленями пал, — вот те крест пресвятой, не мое дело.

Данило был камнем:

— Будет уж, дядя, сам видишь, след на тебя навел. След не обманет.

И позвал помощь.

Били Митяя вожжами.

Голову и ноги к телеге припутали и стегали по голому заду. Жиблилось в корчах сухое мужичье тело, кожа локутьями в небо кровавилась, рот по звериному голосил звонко:

— А-а-а... Ааа... А...

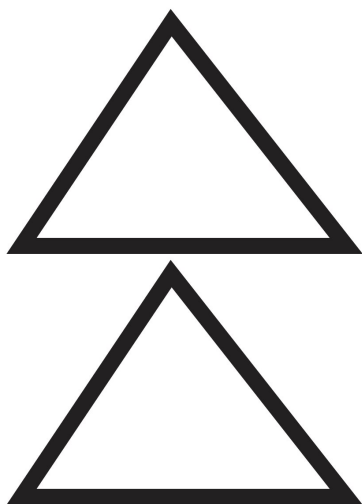
Данило садился потом на лошадь.

Митяй в хомуте сзади на поводу подвязан.

Четверо верховых в спину кнутами щелкали. Гнали рьяно и крыли Митяя соромными словами...



Антон Сорокин



Антон Семенович Сорокин (1884—1928) родился в Павлодаре в семье богатого купца-старовера. В 1892 году вместе с семьей переехал в Омск. Сменил несколько профессий: был учеником иконописца, торговал кожей и солью, работал счетоводом в Управлении омской железной дороги, регистратором в пригородной больнице. Писать начал с 1900 года. Его пьесу «Золото» собирался ставить В.Э. Мейерхольд, однако постановка была запрещена цензурой. Автор антивоенной повести «Хохот Желтого Дьявола» (первые опубликована в газете «Омский вестник» в 1914 году). После революции занял одно из ведущих мест в литературной жизни Омска. В свое время получил от Давида Бурлюка «Удостоверение в гениальности». В 1926 году Сорокин стал членом Союза сибирских писателей. Также являлся членом омской организации работников науки, литературы и искусства, литературно-художественной секции при Сибирском отделении государственного издательства.

В 1928 году уехал на лечение от туберкулеза в Крым, однако скончался по дороге в Москве.

Примитивы

ЖЕЛЕЗНАЯ ПТИЦА

104

Сын Сапыргая Айтым, лучший стрелок степи, убил невиданную железную птицу. Случилось это так.

Едет Айтым по степи на аргамаче Кавагат, сзади бежит собака Махо; смотрит Айтым в бирюзовое небо, летят там журавли, летят и курлычат, вереницей, треугольником летят в далекие страны. И еще видит Айтым: летит птица, клювом вертит и стонет. Все ниже и ниже спускается птица, огромная птица, больше юрты будет. В круглых лапах держала птица двух человек.

Поднял Айтым ружье и выстрелил; закричала птица громом, огнем полилась кровь и упала птица на землю. Перья ее горели и клюв вертелся, и такой жар был, подойти

нельзя и вдруг громом вскрикнула птица, из сердца поднялся столб дыма и в разные стороны полетели ее перья.

Так умерла неведомая птица.

Подошел Айтым и удивился; кишки у птицы были железные, сердце восьмиконечное, а в круглых лапах лежало два мертвых человека. Подивился Айтым, потом подивились киргизы, за сто верст приезжали посмотреть на мертвую железную птицу, а прошло время — и забывать стали, только мальчики бегали и таскали железные кости, как игрушки.

Потом приехали в степь казаки атамана Дутова, увидели железную птицу, спросили:

— Откуда прилетела эта птица и кто убил?

Сказали киргизы:

— Слава Аллаху, убил эту птицу охотник Айтым, сын Сапыргая...

Осмотрели казаки, нашли погоны и сказали:

— Это наш аэроплан, а ваш Айтым будет расстрелян...

И на глазах отца Сапыргая, на глазах матери Касайн убили сына Айтыма, аул разграбили и зажгли. Тогда и загорелась степь, к реке Тахир побежал огонь, горела оранжевая степь в рост человека был огонь, а дым уходил черно-белыми облаками в небо... До самой реки Тахир дошел огонь, без счета погибло киргизов, скота, и все это потому, что Айтым убил невиданную железную птицу.

Дуана Байман

Куда бы ни пришел дуана Байман — всюду, как дым, исчезают бедствия; радость и спокойствие приносит дуана Байман всем молодым и старым, джигитам и аксакалам, девушкам, женщинам и старухам, всем найдет Байман слова утешения.

Байман не умеет говорить тихо, небо разговаривает громами и его слова понятны Байману; услышавшие слова дуана Баймана долго их не забывают, только дети, у которых уши словно молодые листочки, пугаются крика дуана Баймана, а матери в длинные, зимние ночи, когда не спят и плачут дети, пугают их:

— Замолчи, а то придет дуана Байман, а закроешь глаза — он не придет...

И, затаив дыхание, умолкают дети, они знают, как громко кричит дуана Байман. Тяжела жизнь матерей киргизок, и они радуются этой минуте отдыха...

Приехали из Оренбурга к дуане Байману посланцы от атамана Дутова и сказали:

— Атаман любит слушать певцов киргизских, атаман послал за тобой, но знай: от твоих песен зависит жизнь многих аулов, наш атаман строгий, шуток не любит, все аулы сожжет, по всей степи огонь пустит, если неподходящие песни будешь петь.

Покачал дуана Байман головой и сказал послам:

— Ничтожный человек дуана Байман в глазах вашего атамана и слушать правду он не будет, а лжецов у него и своих достаточно, не для чего тогда беспокоить дуану Баймана.

— Говорят, ты знаешь будущее. Атаман желает знать будущее, мы дадим много денег, скажи, что атаман победит, больше ничего не надо и аулы киргизские останутся целыми.

— Дуана Байман скажет то, что прикажут сказать духи Абаканских гор, Байман сам не знает, что он будет говорить, может быть, это будут слова черные, слова бедствий, будут лететь они, как слюна разъяренного верблюда; я жалеть не буду. Вы грозите, атаман может сжечь аулы, я сожгу тогда радостные мысли вашего атамана, его мозги будут только грязной тряпкой. Я ничего не знаю, может быть, это будут слова радостные, как пение птиц весной, как свет солнца, не знаю, что буду говорить, это знают только духи Абаканских гор. Не любит черных слов проклятия дуана Байман: на реке Чаурдай стоит деревня Раздолье, там за казаком живет и плодит детей не русских и не киргизских любимая дочь моя Чекунды, но разве Байман кричал слова проклятия, — нет, он молчал. А на реке Тахир стоит деревня Черноярка, там живет фельдшер, лицом киргиз, а по одежде и языку русский, кто этот сын Нарекеня, хана Нурекеня. Мой сын там фельдшер, но черных слов проклятия не кричал дуана Байман...

— Мы дадим денег.

— Сор земли мне не нужен, неподкупен дуана Байман, с духами Абаканских гор умеет говорить дуана Байман без денег. Я не боюсь вашего атамана, я еду...

В юрте белой, расшитой узорами — синими, красными, зелеными, с чийвыми перегородками, вышитыми разноцветными шелками бухарскими, на мягких подушках сидел атаман Дутов и пил кумыс, а кругом стола сидели его приближенные. На столе в миске лежал сваренный молодой барашек. Атаман Дутов сказал:

— Много о тебе я слышал, говорят, ты знаешь будущее, говори только правду и ты получишь награду.

— Награду я потребую большую, боюсь, что не под силу будет платить.

— Говори.

И, глядя прямо в глаза, сказал дуана Байман:

— Уходи из нашей степи.

— Есть люди выше меня и этого я не могу исполнить, но могу обещать не трогать киргизских аулов...

— И скота?..

— Обещаю, издам приказ, чтобы за все платили деньгами...

— Хитрый ты человек, но кто может обмануть дуана Баймана. Мысли человека лежат кругами и нет ни начала, ни конца, но дуана Байман находит конец и начало. Ты думаешь Байман для спасения своего народа скажет приятные слова. Я жалею киргизский народ, но дуана Байман говорит слова духов Абаканских гор, не свои слова, — чем больше горя будет вами сделано, тем большее отмщение будет вам...

— Ну, ты говори, да не заговаривайся, — сказал атаман, — не особенно боимся.

— Я еще ничего не предсказывал, за мое предсказание ты постарайся убить меня, но разве можно убить дуану Баймана. Вот я надеваю священный костюм, вот я беру бубен и буду говорить слова духов Абаканских гор.

В костюме шамана, с бусами и цветными лентами бьет в бубен дуана Байман, вертится, зовет духов Абаканских гор, поет заунывно, долго, надоедливо, как осенний мелкий дождь, но вдруг голос его стал подобен грому,

а слова четкие, как крупный дождь в ясную погоду, слова быстрые, как молния, и вонзаются они в мозги, как жало степных шмелей, бросил бубен дуана Байман, рвет одежду, бросает на пол и остается голым.

— Горе и бедствия над степью, горят разоренные аулы, но горе вам — близко отмщение. Вот вы бежите в Китай по безводной голодной степи, жгучий песок пустыни слепит глаза и залазит в рот и ноздри. На чужбине бьют атамана по морде кулаками и течет кровь. Железная телега умерла и дрыгает одним колесом — ногой. Горе вам, мщение от духов Абаканских гор...

— Пристрелить эту собаку, — сказал атаман Дутов.

Один за одним полетели злобные слова, пули из наганов и браунингов; мертвый лежал дуана, шаман Абаканских гор, Байман, и неожиданно поползла одежда, словно гигантская черепаха; ползли, словно разноцветные жуки, бусы; смешные, пузатые, цветные змеи-ленты извиваясь ползали, бубен прикатился к руке шамана...

Раскрыв рты и почесывая затылки, стояли удивленные казаки.

— Что рты разинули — крикнул атаман Дутов, — стреляйте в него, негодяи...

В полном шаманском облачении медленно встал дуана Байман, шаман Абаканских гор, и пошел к реке Тахир.

— Мерзавцы, подлецы, стреляйте!

И опять злобно защелкали наганы и браунинги, но медленно шел дуана Байман — к реке Тахир ушел дуана Байман...

В тяжелые годы колчаковщины, когда казаки атамана Дутова в Тургайской области жгли оранжевые степи, атаман Дутов производил мобилизацию среди киргизов, и не пожелавших взять оружие убивали. Приехали казаки в Тургайскую степь Сары-арки и стали косить аулы киргизские. Каждый киргиз — это чиинка, соломинка, и складывали в копны, только каждая соломинка в копне была киргизским телом.

Высоко летали, не шевеля крыльями, серогрудые коршуны и заунывно кричали надоедливый заунывный свистом.

— Посадили мобилизованных киргизов в вагоны, в ящики, — говорил Саудакас, — словно в спичечные коробки натолканы мы спички.

Жаль было Саудакасу жену, детей, юрты, родной степи, и сон бежал от Саудакаса, как тарбаган — усекал и только, одна мысль начала расти и скоро выросла тарантулом мохноногим, прожорливым, и пожирал тарантул все мысли и оставлял надоедливые слова — турген джарген джер яни ни алган тендек иматул, слышишь, Ибрагим, — турген джарген джер яни ни алган тендек иматул.

— Стучат колеса, — говорит Ибрагим, — надоело слушать, уши болят.

— Ты прислушайся, что они говорят.

— Где родился, где рос какой человек. Забыть может пять восходов солнца, — слушал Саудакас песню колес. Сон улетел бысролетным лачином, а колеса надоедливо кричали свою железную песню — турген джарген джер яни... и были слова одинаковы, как трава чий. Привезли киргизов и заставили рыть ямы длинные, вбивать колья и обматывать колкой проволокой, как кустарник чий ченгиль проволока, такие же колючки. Ибрагим отказался рыть землю и сказал знакомому казаку, который прежде часто гостил у Ибрагима.

— Анрюшке, ты сдурел, что ли, не буду, Анрюшке, рыть землю, степь-матери больно, степь кормит, зачем буду землю портить, не буду.

Выстроили виселицу и для устрашения первого повесили Ибрагима. Подошел Саудакас и говорит, а сам плачет и, как ребенок, утирает слезы кулаками.

— Анрюшке, ты что, не узнал, что ли, свой человек это — Ибрагимка, сколько раз баранину ел, сдурел, что ли, не узнал, что ли?

— Молчи, Саудакаса, и тебя повешу.

— Мой весить нельзя, нам больно будет, — и отошел Саудакас, напугались мысли и притихли.

Скоро закрикали невидимые утки, летели пули, как степные осы, жалили людей до смерти.

Прислушался Саудакас и удивился, невидимые утки крикали, железным криком крикали: турген джарген джер яни ни алган тендек иматул — где родился, где рос какой человек, забыть может, и узнал Саудакас от Анрюшки, что это войско, нанятое богачами, воюет против

войска бедняков, не желающих своими трудами увеличивать богатство богачей.

— А ты что, Анрюшке, сдурел, что ли, Ибрагимку повесил, мой шибко напугался.

— Да, Саудакаса, попал в колесо, одним словом, в переплет, а как избавиться — не знаю; вы, киргизье, сутяги и на этот счет мастаки, может, придумаешь, раскинь-ка как мозгами. Ибрагимку мне и самому жаль, да ничего не поделаешь, служба колчаковская.

— Бежать, бежать надо, — сказал Саудакас.

— Ну ты, дурак, тише, — и нагайкой огрел Анрюшке Саудакаса.

Завыл Саудакас, был долго, надоедливо, как умеют быть только голодные волки, и можно было понять:

— Ты что, Анрюшке, сдурел, что ли?

А утром, когда небо раскрыло свой глаз и начинало подниматься, чтобы осмотреть всю степь, с товарищами ушел Саудакас. И утром, когда аллах надел шелковый халат и застегнул на золотую пуговицу солнце, ушел Саудакас с товарищами, и никто не видел, даже железная птица, что там высоко летела и зорко смотрела, словно степной коршун, не шевелила крыльями и стонала — тургенъ джаргенъ ни алган...

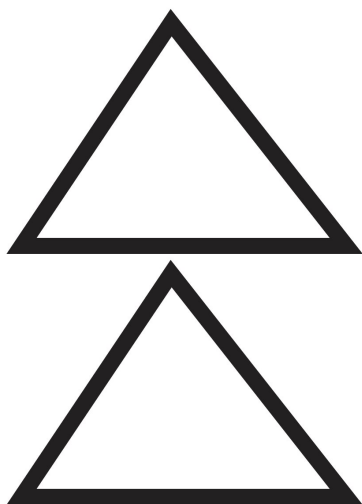
Птица зоркая не видела, проглядела — сорок пять человек уползло, проглядела птица и не бросала яиц, которые производят гром и огонь и рванят землю.

Через двадцать закатов солнца вернулся Саудакас в родной аул и рассказал, что видел. На которой стороне правда.

Правда на стороне победителей, — сказал Баир, а Баир — отец Саудакаса.

И скоро по оранжевой степи растянулись четкие длинные ленты отступающих войск атамана Дутова и скрывались в необозримых степях Сары-арки...

Рувим Фраерман



Рувим Исаевич Фраерман (1891—1972) родился в Могилёве, в бедной еврейской семье. В 1915 году окончил реальное училище. Учился в Харьковском технологическом институте (1916). Работал счетоводом, рыбаком, чертежником, учителем. Участвовал в Гражданской войне на Дальнем Востоке (в партизанском отряде Якова Тряпицына). Участник Николаевского инцидента. Редактор газеты «Ленинский коммунист» в Якутске. Член СП СССР с 1934 года.

Автор повестей, преимущественно для детей. Наиболее известное произведение — «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» (1939). Участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент на Западном фронте. В январе 1942 года был тяжело ранен в бою, в мае демобилизован. Был знаком с К.Г. Паустовским и А.П. Гайдаром. Умер в Москве.



На мысу

Дни шли чертовски медленно, как будто с трудом вы-
давливались из опухшего, со снежно-облачными отека-
ми, неба.

И когда дни эти начинались, повисая над запущен-
ной морозами и пургами тайгой молочными и густы-
ми туманами, то в зимовье раздавалась ругань, и Рож-
нов, сворачиваясь от холода в три погибели, подползал
к жестяной печке. Печка за ночь так остывала, что
дверки он открывал полой полушубка. Дверка хрюкала,
и пальцы, похожие на белужьи крючки, совали в печку
подтопку и короткие листовые поленья. Тогда в зимо-
вье начинало пахнуть отопревшим деревом и горелой

хвоей, и Рожнов, прежде чем заскрипеть снова дверкой, всегда говорил: «Дрыхнут, сволочи».

Говорил он это добродушно, спокойно и тихо. Но все слышали. Ведь никто не спал. Разве можно спать, когда забытая вчера Андреем Куровым вода в бутылке расчепила ее надвое?

С нар подымались посиневшие от спанья и холода лица, и кто-нибудь непременно щелкал зубами, гукал в ладони, и, обламывая слова, хныкал:

— Собачий холод. Черт знает!

Куров прыгал с нар в валенки, подскакивал к печке и кричал Рожнову на ухо:

— Ты чего ругаешься, растакую твою. Га?

И всегда одно и то же. Рожнов удивленно отступал, а Куров, захватив позицию у дверки, садился на корточки, обнимал уже нагретую печку и выл от втекающего в тело тепла.

Рожнов обходил печку кругом, шурил больные покрасневшие глаза и цыкал:

— Цы, сволочь! Э?

Так начинался день.

Да, действительно, дни шли чертовски медленно и нудно. И не приехал бы вчера Мишка с Молчановым на гилляцких собаках, право, разбежались бы от этого гиблого места.

Мишка и Молчанов приехали вечером, когда на проливе танцевали снега, и сопки накрыла мглистая сетка буранов. Тайга буянила, как пьяный шампонщик, скрипели листовые вершины, и звякали обледеневшие пихты навстречу налетающим вихрям.

В тот вечер сидели поздно. Мишка проглатывал уже пятый стакан чаю, и нос его лоснился и краснел, как свежесолёная кетовая икра. Молчанов курил и молчал.

— Ну что ж, — говорил Рожнов, заглядывая Мишке в глаза, — приехали, значит, скрываться? Ну-ну, паря, посиди, посиди здесь, чего же? Будем вместе работать.

Куров смеялся:

— То-то, что работать, а не сидеть. В городе надумали своего бондаря иметь, вот и расхлебывай. Нечего тут, паря, рассиживаться. До рыбы недалечко. А бочку приготовь, она тебе ждать не будет.

Вятский быстро, по-тунгусски, крошил на столе листовую табак, раскладывая его кучками возле себя, шмы-

гал носом и злился, когда кто-нибудь сгребал накрошенную кучку к себе в кисет.

— Сам кроши, чего тащишь, работничка нашел себе!

— Эх, Вятский, а еще артельный человек, табаку жалко.

От печки несло пронизывающим жаром, в сизой дымке тлеюще цвели огоньки цигарок, и клонило ко сну.

Молчанов говорил:

— Приедут сюда две артели, а может, и больше. Расинские и Колобановские наверно приедут. Они каждый год сюда ездят. Надо тоню хорошую выбирать, и чтоб все готово было.

Куров дразнил:

— Готово, готово, к бочкам, говорю, приступить надо. Бондарь-то ведь сидит зря. И то хоть один был бы, а то с бабой в коптилке устроился. И баба у него — не баба, а какая-то юкола.

Все засмеялись, даже Молчанов усмехнулся. Определение было точное, как платье по мерке.

— Верно, что юкола, сухая, вяленая, черт ее знает, — продолжал Куров, тыкая куском хлеба в бумажку с солью. — Живет баба в артели, а хоть бы раз на артель обед сварила иль спекла что. Терпеть не могу баб!

Вятский обозлился.

— Чего бабу чужую ругаешь, своя есть.

Рожнов потянулся к табаку. Вятский накрыл табак ладонью.

— Слышь, дай на сигарку, а то, ей-богу, скажу.

— Что скажешь?

— Почему за бабу бондареву заступаешься? Свою привезти хочешь.

Вышел из себя Вятский.

— Ну и привезу. Что ж, привезу, да. В коптилке устройю и харчей у артели не возьму.

— Будет вас тогда с бондарем лаптей пара, — буркнул, усмехнувшись, Рожнов. — Беда, если в артели баба заведется, а две — совсем погибель!

Молчанова раздражал никчемный разговор.

— Пошли о бабах толковать, черти. Куров, слышь, дело говори.

Куров досадливо плюнул.

— Дело, известно, какое дело? Ждем, пока Семка с соба-

ками приедет. Бондарь пущай инструмент ладит, полки устраивает, а мы — клепку колоть. Два дня — и к бочкам приступить можно.

Наутро кололи клепку. Уходили версты за три через пролив к низкому мысу, зеленеющему густой плесенью на снежном полотнище горизонта. На мысу полоскались оглашенные ветры, заскакивали в тайгу, толкались между упругими, бурыми стволами пихт, проталкивались сквозь звонкий еловый молодняк, заматавая пески снежные к невысоким хребтам.

Работали попарно. В тайгу уходили недалеко, но в места глухие, где тихо, как в соборе, стояли лиственницы, взмыв к сизому куполу иглистые и мягкие кроны вершин.

У Курова был спарщиком Рожнов. Лесину выбирали матерую, здоровую, в обхват, а то и больше. Рожнов, низенький, грузный, с трудом выбирая ноги из снега, как из густого сахарного месива, подходил к лесине, позванивая пилой, стучал колуном по корявой замшелой коре и говорил:

— Андрей, здоровая, слышь — звонит.

Куров, идя, чтоб не нагружаться, как он говорил, по проложенному Рожновым следу, снимал с плеча березовую колотушку и кричал:

— Табак смотри, а не звон слушай, курица!

Табак искали вместе, заглядывая на вершину лесины, и иногда, совсем невысоко над снегом, находили небольшой табачного цвета сучок или просто пятно. На крепком ядреном теле ствола, отлитого, как бы из матового серебра, пятно это казалось сухой язвой, глубокой и неизлечимой.

— Видишь, шпунт, звенит, в голове у тебя звенит, — говорил обозленно Куров, — катись дальше.

И уходили, ныряя в снег, от дерева люди, оставив ему долгие буранные дни и таежные ночи.

Но часто табаку не находили. Тогда крякал колун, шипела и чирикала пила и заедались в мягкий, как бормотанье вод, таежный шум непривычные звуки.

Куров часто с опаской поглядывал на вершину, когда ветер, зацепившись случайно за лапистую макушку, крепил дерево, то зажимая, то отпуская пилу. Тогда начинали пилить осторожно.

Рожнов щурил глаза и, утапывая на всякий случай одной ногой подальше от себя хрусткий снежный наст, ругался:

— Задавит еще, стерва.

Куров смеялся:

— А ты смерти не бойся, а то как раз сцапает, — и вдруг кричал: — Тащи пилу, валится. Отбегай, паря.

Приходило смятение. Люди отскакивали. Соседние пихты и ели скрипуче напрягали свои мускулы, налитые соком и силой, упруго отбиваясь вершинами от падающего грузного тела. Молодняк подминался, как солома, и в тайге рождался испуганный вздох. Ох, ох — перекачивалось по вершинам, ползло по снегу и таяло где-то в далеких шумах.

Часто издалека приходили и сюда такие же тяжкие и густые вздохи.

— Это Вятский повалил, — говорил Куров, опуская с силой колотушку на колун, воткнутый в листованую чурку.

Колун за конец топорщица держал Рожнов. Иногда колотушка в ударе захватывала топорщице. Тогда Рожнов морщился, тряс руками, садился на снег и ругал Курова:

— Дубина стоеросовая, бьет по топорщицу, по голове б себе вдарил. У меня еще, брат, руки не казенные и не артельные.

Куров добродушничал.

— Ну, Коля, брось, потерпи, не умрешь, а умрешь — похороним в бочке, сделанной из этой самой клепки.

Но так бывало редко. Чаще работали дружно и весело, накалывая в день на пару по 200 клепок. Клепки складывались в тайге небольшими штабелями, которые казались большими кострами, курящимися смоляными запахами.

Обедать сходились все вместе. Тут же в тайге, на снегу, раскладывали костер и кипятили в большой жестяной банке чай. Костер истекал жаром, выедал серебряные пласты снега, обнажая заваленную рухлядь, струился к вершинам острым, прелым духом и плавил над головами комья сахарной шерсти на щетинистых ветвях елей. Тогда казалось, что идет дождь.

— Ну, закапало, растудыт твою, — говорил кто-нибудь, подвигая сушившиеся онучи ближе в огню.

— Эй ты, вяленный, чего портянку в чай прешь, мыть собираешься? — бросал добродушно озлобленным словом Куров.

— Ну, ну, не тарахти!

Сушились все молча и с остервенением, пока хоть немного натруженные движением тела, набухшие от снега и стоянья тупой ноющей болью ноги не отходили, насытившись сухим ласковым жаром костра.

А потом пили чай и ели соленую кету.

Часто Молчанов и Мишка оставались в зимовье помогать бондарю в устройстве бондарки. Тогда за костром говорили о них.

Мишку любили за простоту, добродушие и «образованность», Молчанова боялись за угрюмость, нелюдимость, но уважали крепко и без сомнений: старый большевик, язви его, каторжанин, два года кандалов не снимал, было за что уважать. Но и другие здесь были у белых на примете.

Куров — плотник, заядлый красногвардеец, бывший командир пулеметной команды у Шевчука.

Рожнов — владивостокский грузчик, рубаха-парень, артельный человек. На Егершеле шпана портовая в Правление выбирала. Бывал закоперщиком во многих драках.

Только вот Вятский. Черт его знает, что за мужичок. В работе спор и ладен, а характером — жила. В артели не любили. И то сказать, Силин в артель силком втащил, — тоже ботала.

Но на работе все как-то забывалось. А работали много, до острой ломоты в костях, до тупой, изматывающей душу боли.

Домой возвращались через пролив, легший рушником полотна беленого до сине-зеленых изломных ресниц далеких сопок. Ветры шляли на проливе разбойными ватагами, стлались сухими блестящими туманами, стонали собачьим воем, резали текучими силами снежные налеты, и от всей этой кутерьмы небо наливалось темью еще до вечера и потело крупными опаловыми зернами звезд. А люди шли по проливу пьяные от усталости, и одежды их твердели и превращались в каменные.

В зимовье многие уже не в силах были ужинать и пластами засыпали на нарах.

Семен пригнал из города нарту собак. И опять в тот вечер сидели поздно, и опять цедили сквозь посинев-

шие, потрескавшиеся губы чай, жевали крепкую мерзлую рыбу и слушали Семена. Семен рассказывал деловито и обстоятельно:

— Видел я Орловича; говорит, что дела плохи. В городе знают, где Молчанов и Мишка. Думают, что Молчанов здесь отряд партизанский сколачивает. Могут появиться, могут и нет. Ухо остро держать надо. Хотя вряд кто сюда поедет. До весны не тронут, а там видно будет. Чуть что — в тайгу свернете, и амба. Чепуха!

У Молчанова сперва канитель на душе завелась. Мысли испуганно заметались. А потом — ничего. Пришла мысль куцая, спокойная и простая: «Будь что будет, подождем».

У Мишки веселость надломилась, но потекла дальше.

— Плевать, не сунутся в дебри.

И наутро опять шли и кололи клепку.

С собаками было легче. Накладывали на нарту до сорока пудов пряно пахнущей клепки. Собаки брали дружно, с надрывом, а потом далеко видны были на проливе мохнатые трусящие зады. Сквозь хруст и шелест морозного говора еле слышны были окрики Семена:

— Та-та, Цыган, та-та-та.

Сдержал-таки слово Вятский. Привез из города жену свою Настю. Устроился Вятский в коптилке, угол себе отгородил, нары из шелевки сделал, обстругал, обзанавесил ситцем, цветистым, как поле васильковое. А в другом углу — бондарь с «Юколой».

Стояла коптилка под самой горой, утыканной ельником. Ярусом гармончатым видна была она чуть ли не с Погиби на берегу сахалинском.

Коптилку эту в зимовье семейной берлогой прозвали.

Ждали приезда Силина из города с солью, со снастью нужной и с вестями добрыми.

Пока что клепку колоть кончили, к шампонке приступили.

С утра уходили уже не на дальний мыс, а тут же из тайги, где зимовье стояло, на берег плахи таскали.

Порыхлел снег в тайге, жидок стал, как просовая каша. Глубже нога в снег уходит, онучи мокнут и преют в унтах пятки. Тепло идет. Мягче налегают ветры на прозелень таежную, гулко колют на фарватере лед, и стелется он

тропой черной и помертвелой от края до края небесного. Поверх льда вода пошла вишневым сиропом и стало трудно ездить на собаках. Режут собаки лапы об лед, как об шипы стальные, и плачут звериным воем на полные луны, истекающие плавленой медью. Вот-вот тронется лед на проливе, и откроют большую дорогу тяжелые волны фарватера.

Таскали плахи веревками по талому снегу.

Молчанов в тюрьме годы сидел и не ругался. Но сегодня, когда оборвалась веревка и с шумным криком Молчанов ударился головой о пень, и лицо его серое, как чумиза, стало еще бледнее и сморщилось от боли, от струйки крови, стекающей из глубокой ссадины, он крикнул:

— Тит твою м... Ох, ох!..

Мишка смеялся, присев на снег и держась за живот.

Рожнов тащит две плахи сразу и поет:

— Горький пьяница, выпьем, дубинушка, еще раз и еще раз.

Над головами каркает седой от старости и инея ворон.

— Кра...

Рожнов щурит глаза, поднимает лицо кверху и дразнит ворона:

— Как, как?! Ах ты, стерва божеская, видишь, как — топором и веревкой.

И сегодня еще бондарь порезал себе стругом руку до кости, а Курову лесиной смяло ногу.

Куров поэтому стругает в бондарке клепку, и в тайге работают только Мишка, Молчанов и Рожнов. Вятский на берегу обтесывает плахи для кунгаса.

Куров заигрывает с Настей, женой Вятского. Настя смеется зазывно, и от смеха груди у нее дрожат и ходят, как зыбкая рябь на реке. И оттого у Курова заедается струг, колется клепка и жадно горят глаза.

Настя увертывается и смеется:

— Не трожь.

Куров хватает Настю в охапку, валит на стружки, мнет, уминает, как сено, и тихо гогочет.

— Не балуй, не балуй шибко, ошарашу враз.

Бондарь смотрит серьезно и строго на Курова, а «Юкола» злится и ворчит:

— Жеребец застоялый, ишь разохотился, стеснения никакого нет.

Ей досадно. К ней не тянется мужичий смешок, не шарят запретно по телу чужие горячие руки, потому что тела нет, есть только сухое вялое мясо. А у бондаря — сухие тонкие мускулы, натруженные до отказа за 48 рабочих лет, смутных от пьянки и таких скользких от пота и грязи, что ни один не держится в памяти.

Ссора началась тогда, когда не хватило муки и ни у кого не было табаку. Да, табаку не было. Можно было на той стороне через пролив в Погибях достать, но на фарватере шли льды, играли дельфины, тяжело плюхались и сопели сивучи, стальными болванками катаясь по ноздреватому льдистому краю, а от берега недалеко лед был тонок, как вафля, и брошенный с силою камень с хрустом проваливался, обнажая голубую и светлую хлябь.

Было тяжело есть за обедом сухой, разваренный рис. Хотелось рвать зубами свежий ситный, упругий и пахучий, как таежный сотовый мед. Хотелось мяса, печеного, рыхлого и сочного, как знакомый и далекий плод. И после мяса хотелось курить. Свернуть толстого, с палец, «бычка» и тянуть, закрыв глаза, душистую желтую маньчжурку, пахнущую вишней и сухолистьем.

Но ничего этого не было.

Бондарь точил на оселке плотничий топор, зазубренный и затупленный Мишкой. Зло водил он сталью по камню и ругался остервенело:

— Тоже — в печенку и в гроб... — работники, топора держать не умеет! Работать не буду, ей-богу, не буду, весь инструмент попортили. Рабо-о-тнички!.. А пай в артели возьмет небось целый. И де ж тут самопомочь, хе...

«Самопомощью» называлась артель. Бондарь хныкал и презрительно смеялся.

Куров багровел от злости, и скулы у него ходили желваками, может, оттого, что бондарь скрипел на Мишку, а может, и оттого, что Вятский, отделившийся в харчах от артели, ел рис не пустой, а с постным маслом и в руках мял серую мучную лепешку.

Мишка незлобливо говорил, обращаясь к бондарю:

— Сам налажу топор, не тарахти, Савельич.

Куров строго крикнул.

— Брось его, Мишка. Бондарь, хе! Сто бочек к ходу, сказал, сделает, а пять только готово. Чья бы корова мычала,

а его б молчала. Ишь выискался наставитель — сам артель обманул, ботала, а другим в нос тычет.

У бондаря на лбу красные пятна:

— Чай не сам в артель просился, а звали. Что же до бочек, то сказал — сделаю.

Рожнов прыснул кашей на стол.

— Подожди, к Рождеству сделает. Ты б себе лучше обручи на гроб набил, мы б тебя к ходу похоронили.

Бондарь кинулся с топором к Рожнову.

— Ах ты, сукин сын, меня хоронить, сволочь поганая? Самого похороню!..

Было это так неожиданно, что Рожнов едва отскочил к стенке и, шаря рукой, пытался схватить полено.

Куров выхватил у бондаря топор и швырнул его в угол. Плотная густая ярость выливалась из глотки криком:

— Даешь бочки, твою мать?.. — и Куров бил бондаря по голове кулаком. А «Юкола» сидела на нарах и улыбалась тихо тонкими и бледными губами.

Уже когда разняли дерущихся, и бондарь лежал на нарах потный и красный, она сказала спокойно, нараспев:

— Я тебе говорила, не ходи в артель к большевикам, убьют, непременно убьют, а меня разложат потом, как чурку, увидишь, и выйдет — отдай жену дяде, а сам иди к б... К этому клонят.

Молчанов, держась руками за голову, выскочил из коптилки, и слышно было, как он громко шептал:

— Боже мой, господи... ну и артель, тьфу, тьфу!..

Мишка тоже плевался.

Вечером приехали гиляки, возвращающиеся с нерпичьей охоты.

На нартах лежали лодки, как черные длинные гробы. Из лодок торчали шкуры, звенели гарпуны и скрипели снасти. От собак густошерстных шел глухой звериный рык и пахло талым снегом, от гиляков несло солеными ветрами и морским духом.

— Здравствуй, новая деревня, — сказал низкий и тонконогий, как горная кабарга, гиляк.

— Здравствуй, друга, — ответил, протягивая руку, Куров. — Где охотились?

— У Де-Кастри.

— Много набил?

— Бил мало, сивуч хитрый стал, все равно, как купец: дешево посулит — дорого купишь. Вот, смотри.

Гиляк показал свежую развороченную рану на ладони. Рана гноилась, и рука была багрово вздута.

Рожнов свистнул.

— Худо есть, пропадай рука, друга.

Гиляк морщился, вздыхал и, помахивая больной рукой, рассказывал:

— Гарпун бросил, как топор в дерево. Крепко засел. А сивуч мало-мало 20 пудов. Моя тащи, его тащи. Его шибко тащи, совсем моя бросай хочет. Макарка-гиляк, Васька Чомский, много моя тащил. Вытащили сивуча на лед. Зато веревка моя рука кушал.

Долго гиляк жаловался, просил водку у Курова и угощал всех крепким распаренным табаком.

За колун американский и за пять крючков белужьих выменяли у гиляков табаку — семь горстей и на пять закуток. В этот вечер рис варили с дельфиньим жиром. Каша пахла сырой рыбой и морской капустой.

Наутро лед у пролива и у берега лежал в трещинах, будто огромная кованная из голубой стали чешуя покрывала круп невидного зверя.

Гиляки ставили в упряжь собак, неистово били их и опасливо глядели на пролив, откуда, как дых человеческий, неся теплый ветер.

— Худо есть, — сказал гиляк Рожнову, — лед ходи хочю. Худо есть, русска. — И качал головой, и цокал, усаживаясь на нарту верхом.

А днем, когда Мишка и Молчанов строгаили на берегу плахи, от пролива гудели ледяные далекие грохоты и стоял скрип, словно полчища кожаных скрипов шли походом на мыс. Ломкие кряжи росли у острых скал, и скалы звенели от гула. Рвань ледяная стояла на солнце, и мыльным казалось оно. Лед пошел, и вскоре, пружиня меж истерых глыбин, ремнями ржавой стали потекла вода. К полдню льды шли негусто. Льдины медленно, будто нехотя, поворачиваясь, уходили за Черный Мыс. На одной, небольшой, похожей на пшеничный каравай, была видна опрокинутая разбитая нарта, девять собак, и около них — человек без шапки. Человек махал руками и кричал; соба-

ки выли такими же длинными тонкими криками; и одинаковы были эти крики, человеческий и звериный, потому что были они одинаково смертельны.

Вятский показал топором на пролив и сказал:

— Сгиб человек, верно, гилак вчерашний. Хорошие собаки были.

Вятский сюсюкал и, видимо, волновался. Мишке тоже было не по себе.

— Ах, право, вот беда, — выкрикивал он, — и лодки нет. Ох-хо, как же это, и помочь-то нельзя.

Рожнов, приставив крышкой ко лбу ладонь, смотрел на пролив и досадливо пожимал плечами:

— Да, — сказал он, — человеку каюк в два счета. Табаку-то сколько вчера у него было! Э-эх, жалко!

Льдину относил к фарватеру, и становилась она меньше.

Опять строга́ли плахи Молчанов и Мишка. Рубанок ходил тяжело, и Молчанов злился:

— Мишка, — сказал он, — нравится вам эта работа?

Мишка сделал удивленное лицо и ответил:

— Не ахти как!

Удивился больше Мишка не самому вопросу, а тому, что Молчанов его задал. Молчанов редко отвечал, а еще реже заговаривал и спрашивал.

— Мне напоминает все это, — продолжал Молчанов, — немного б...к, а еще больше каторгу. Поганые людишки попались, из артели ничего не выйдет, подерутся — это раз, а во-вторых, дайте мне слово, Мишка, что вы плюнете в рожу тому, кто скажет вам, что физический труд легче, как говорят, умственного. Я согласился бы составить два бухгалтерских отчета фирмы Зингер и Ко, чем два дня строгать эти идиотские плахи. И еще, Мишка, если вы думаете, что к этому нужна лишь привычка, то приобретите ее и таскайте бревна всю жизнь, а в самый последний из ваших дней совершите такую же приятную прогулку на удобной для стоянья льдине, как сделал это вчерашний гилак.

Мишка недоумевал, как принять эти слова, весело или мрачно, и подумал, что ругаться не стоит.

— Напрасно вы думаете, Молчанов, что я буду с вами ссориться. Мне самому сейчас хочется пройти по самому обыкновенному паршивому тротуару, зайти в парик-

махерскую и ожидать там своей очереди для бритья. Не правда ли, очень приятно сидеть на мягком диванчике, смотреть, как кто-нибудь с розовой лысиной отдувается от любезностей парикмахера, и держать в руке, ну, скажем, портфельчик этакий, с бумагами, весом в пять фунтов, а?

Во время разговора они продолжали строгать и кричать от напряжения.

Подошел с топором на плече Вятский. В щелках глаза были зло заострены, и был он похож на человека, больно ударившего себе ногу о случайный камень.

— Я убью Курова, — сказал он, снимая с плеча топор, — бабу мою щупает, житья нету, прохвост. Я бабу свою люблю и не трожь ее. Пра слово, убью.

Мишка поднял голову тяжело, словно пять пудов на голове было.

— Ты кого убить собираешься, меня или Курова?

— Курова.

— Ему и скажи, — вспылil Мишка, — иди к такой и такой матери, и с бабой твоей и с Куровым вместе.

Вятский ушел в копилку и оттуда, прихрамывая, вышел Куров.

— Вот несчастье, — сказал он, подходя к плахам, на которых сидели Мишка и Молчанов, — гробина этот Вятский: думает, его баба мне нужна, а она сама, сука, на это место лезет.

Куров хлопнул себя в низ живота.

— Не селедка же я, язви их в душу, — продолжал он, истомно потягиваясь и опускаясь на корточки, — хоть кого проймет. Эге, — прибавил он, взглянув на солнце, — теплынь-то.

У бондаря остро саднила рука, «Юкола» шипела от самочьей тупой зависти, она боялась Вятского, Вятский наливался ненавистью к Курову, Куров томился солнечной тягой и похотью, Рожнов смертельно тосковал по табаку, собаки по ночам выли таежными зовами, и от всего этого и над мысом и в людях лежал огромный и клейкий, как Албанские мари, сгусток неизбывной досады и злобного барахла.

Так было, пока омытый мысовыми ветрами, смуглый от первых загаров вечер не принес Силина.

Силин приехал на плосконосой тупокрылой шампонке. И приехал с ним рыжий, как красная лиса, человек.

Тогда было весело. Выгружали в мочальных мешках соль. Накладывали на Рожнова, как на старого грузчика, по 12-ти пудов. У Рожнова под ношей мелко дрожали ноги, широкая круглая спина выгибалась, как киль быстроходной шлюпки, но лицо смеялось и прыгали губы.

Вятский расторопно и ловко растягивал на кольях для просушки тонкую и смутную паутину невода.

Мишка, глядя на юркую большую фигуру Силина, кричавшего что-то с шампонки, думал:

— Ну, слава богу, авось лучше пойдет.

Что должно лучше пойти — не знал Мишка.

И так и не узнал.

Вечером в зимовье было туманно от дыма и жарко, как в портовом кабаке на Егершеле.

Силин жевал, обсасывая розовые и нежные, как арбуз, ломти соленой кеты и рассказывал:

— Колчак в Омске... наступают на Урал. В городе контр-разведка шарит почему зря. Молчанову и Мишке надо смотреть в оба и латать в случае чего.

Пока что все это было понятно, а потом Силин говорил о другом.

— Вот Михайлов, — показал он на приехавшего с ним человека, — к нам в компанию принят. Взнос тысяча, все, как следует, а в городе другой, Ефремов, пять тысяч дает за три пая. Вся прибыль с улова на пай делится.

— К матери такое дело, — сказал Куров и посмотрел кругом, — мы что, гиблое время здесь зря сидели? Ишь там в городе придумали. Нет, брат, ты мне выложи за все, за каждую клепку.

Силин начинал злиться и перестал жевать.

— Молчановские это все штуки. Бондарь — убыток, шампонка — убыток, вся эта канитель — убыток. Вон, поди, в городе бочек, сколько хошь, за треть цены; шампонку зафрахтовать — пустяки стоит. За что ж вам платить зря? По-моему, так: оценили все, что сделано, и получите, а с нынешнего — поровну.

Молчанов поднялся из-за стола и протянул руку.

— Я скажу.

И сказал:

— Трудовая у нас артель или нет? Было у нас постановление общего собрания, чтоб делить по дням. Кто

сколько поденщин отработает, столько с котла и получай. И Силин на этом собрании был. Было это или нет?

Трое ответило:

— Было.

— Ну так вот, — продолжал Молчанов, — умным очень стал Силин — дурачков нашел. По его выходит, что мы на дядю работали.

Молчанов показал на Михайлова глазами. Тот сидел, положив голову на руки и покусывая рыжий волос бороды.

Рожнов крикнул:

— Не примаем его в артель.

Михайлов грузно встрепенулся.

— Как не примаем, а тысяча?

— К черту тысячу, не примаем!

Силин покрыл сырой гул голосов.

— Положил я поперек на такие правила. У Молчанова одна шайка-лейка. Знаю, в городе 50 пудов соли продал...

И полилась грязная муть оговоров, трепались крики, в криках хлюпала злость и подозрение.

Мишка слышал, как Силин сипло шептал:

— Молчанов сгубит артель, его разведка цукает.

И потом стихло. В открытую дверь зимовья вдавился дымным студнем густой рассвет.

Молчанов и Мишка вышли в тайгу. Как из глубоких лесных колодцев, в зеленых просветах листвяных вершин реяли еще бледные камни звезд, и близким гомоном тяжело кряхтело море.

Молчанов был взволнован, Мишка успокаивал:

— Ну, бросьте, Молчанов, ерунда, стоит ли?

Молчанов мотал головой.

— Нет, какая сволочь, а-а, какая сволочь, уходить надо, Мишка, непременно, обязательно, иначе — крышка. Михайлова не приняли. Ну вот выдаст он контрразведке, как пить дать выдаст. Силин-то — ах, ах, вот гадина!

Утром на мыс приехала артель Колобановская, и к ним на суд ходила артель «Самопомощь».

Двое рыбаков, сивых и влажных, как ранние туманы моря, сказали:

— Братки, ваше дело, как мириться. У нас — кого больше, тот и прав. Решаем гомозом (сообща). Ежели вы рыбацкого дела не знаете, так правило вот: на одной тоне два не-

вода не ходят, на каждой тоне невода заводят по очереди, и на мысу «дельфинов» ставить — боже сохрани. За «дельфина» ножом ширнуть можно, и суда никакого не будет.

За Силина стоял только бондарь и Вятский.

В город уходила шампонка, и на ней уехал Михайлов.

Перед отъездом Михайлов с Силиным о чем-то тихо говорили. Неподалеку от них, пристально всматриваясь в обоих, стоял один из Колобановских, кривой и сутулый, по прозвищу Пронга.

Мишка подошел к Пронге. Тот посмотрел через плечо и улыбнулся пронырливым светлым глазом.

— Эй, рыжий паря, — сказал он, — мне што-т помнится. В колчаках служит и на трубе играет, язва. Верно, он.

Мишка и Пронга подошли к Молчанову, стоявшему около только что законопаченного кунгаса, в пазах которого еще не высохла шпаклевка и жирно чернела пихтовая смола.

Пронга тронул Молчанова за плечо.

— Да, товарищ Молчанов, братва у вас никудышна. Последнее дело — артели в работе спорить. Ох, и бывал я в артелях, тоже скажу вам, вот где у меня артели эти, в грудях, в сердце сидят. Ну правда — артель что жена: не поживешь — не узнаешь; попадаются и хорошие. Что, верно, на селедку ночью заводить будете?

Молчанов не ответил, а Мишка сказал:

— Да, стало быть, на селедку.

И еще спросил Пронга:

— Мокрым?

— Да, мокрым засолом.

К селедке, верно, готовились.

Рожнов и Семка в больших черных котлах варили тузлук. Сухой треск просыпанной в огонь соли, мягкий огненный стрекот еловой хвои рушился глухо в прибойные шумы моря.

Рожнов пробовал крепость раствора на язык и после каждой пробы пил воду глотками, похожими на трясинное чавканье и болотный бульк.

Ладили невод. Казалось, что люди на огромной странице бурого гравия читают бледный переплет знакомых писем.

За работой казалось, что спору не было.

После обеда раз забросили.

Мягко падал в море с тупой кормы кунгаса нитяными потоками невод. Заводил Семка быстро и уверенно. Брал хороший полукруг, и с бичевым тонким свистом залетал на берег забежной конец.

Поймали смесь. Селедки мало. Вялая и робкая, зябко отливаясь чешуйчатой сталью, жалась она к концам. За ней испуганные и удивленные бычки со звериными ртами ошалело выбрасывались на песок. А ближе к мотне игольчатая и блестящая белым металлом сновала, будто сотни острых ткацких челноков, юркая корюшка. Былась темная и круглая, как мокрые сучья елей, навага. А в самой мотне был гонец.

Так и сказал Семка:

— Это горбуший гонец. Тащи-тащи его, не выпускай.

Держа трепещущее и светлое, как солнечный блик, тело, плотное и сильное, как волна на фарватере, Семка кричал и гоготал:

— Зови Колобановских, гонец есть.

От Колобановских пришел один из сивых, самый старый. Он взял рыбу за жабры, сел на песок и положил ее на колено.

— Да, — сказал он, — гонец. Наипервой.

Быстрым движением он выхватил из ичига нож, одним легким ударом распластал у себя на колене рыбу и вырвал сердце, бросив его в рот, как пилюлю.

— Это я всегда, — сказал он, подымаясь с земли, — на счастье съедаю. Рыба за гонцом идет и сердцем чувствует, куда путь лежит.

Вятский заметил:

— Ты что ж нашу удачу съел? Самим бы надо.

Рыбак зло и остро посмотрел на Вятского.

— Гриб, — сказал он, — самоход ты, верно; сразу видать, на навозе вырос. В нашем деле зависть — вредная рыба. Такую в артель не примем. Но будет и вам и нам удача. Горбуша идет хорошая, по гонцу видать. Дня два здесь будет. На селедку ночью бросьте, при огне, может, руно зацепите.

Он поднял горсть еще живых селедок, бросил их в море и прибавил:

— Когда селедка идет, то всей наважьей и корушечьей мелочи с огнем не сыщешь, всю отшибает начисто. От селедки и нерпа уходит. Только места здесь не такие. Годом бывает порядочно.

Рыбак ушел, покачиваясь, словно в джонке на море.

Ночью багровели мохнатые от легкого тумана огни костров. Скалы из зачерненного заслона ночи вылучивались пугливыми и дрожащими отсветами зарева. Отсветы уходили в море и лежали там пестро, как на холсте упрямые мазки.

Огнями привлекали селедку.

Зацепили руно.

Суматоху подняли галдежную и никчемную.

Рыба живыми трепыхающимися пластами билась в неводе, и под напором ее невод стоял дугой деревянных балберок.

Селедку таскали носилками в ведрах, в подолах рубах и сливали их бледными лунными струями в бочки с тузлуком.

До рассвета пять сорокапудовых бочек были полны до краев.

К утру селедка прошла.

Три раза заводили невод и три раза он бывал пуст.

После третьего раза Рожнов подошел к потухающему костру и перекатисто крикнул:

— Ге-ге-гей, закуривай!

Два дня после того сторожили горбушу. В третий на утро пришел Пронга от Колобановских и сказал:

— Старики говорят, что сегодня горбуши не будет. К ночи ждать надо.

Куров, затягиваясь сигаркой, спросил:

— Что ж делать целую поденщину?

Рожнов ответил:

— Бей вшей.

А Силин:

— Следовало бы общее собрание устроить на час-другой, дела надо уладить-то.

Мишка почему-то заметил:

— И то правда.

Все пошли в коптилку.

Молчанов отвел Мишку в сторону.

— После собрания потолковать надо. Уйдем сегодня. Непокойно что-то на душе. А вы?

Мишка поморщился.

— Ерунда. Это еще успеет.

В коптилке пахло сухой, нагретой пихтой и лиственной серой от груды клепок, сушившихся на верхних полках.

Силин открыл собрание.

— Я считаю, что Молчанов гнет неправильную линию. Он сделал промахи, стоящие нам кровных денежек. Я лично не хочу страдать из-за этого. Наем бондаря — его дело...

Рожнов перебил:

— Бондарь же твою сторону держит. Чего же...

— Это все равно, — продолжал Силин. — Я не согласен, чтоб зимние поденщины считались наравне с нынешними. Получается, что если я здесь не работал зимой, так мне что — шелуха от картошки, а вам яблочко. Я, может, больше молчановского в городе для артели делаю. Это что, не в счет? Такую гнуть...

Куров фыркнул, как загнанный и озлобленный зверь.

— Сам ты, Силин, гнешь салазки, блины печешь, сыро выходит!

Рожнов, стоявший у низкого вырубав окна, вдруг отскочил в угол к верстаку и крикнул удивленно и дико птичьим криком.

— Ге!

В просвете окна четко рдел красный околыш японской солдатской кепи и маячил, как луч на ряби, нож штыка.

Дверь рвануло, как ветром, и в коптилку вошли люди с винтовками на перевес. Их было шесть. Один русский, в синих вычурных галифе с белыми лампасами. Он держал наган на весу. Другой — тоже русский, белокурый и подвижной, в грязных летних штанах и в высоких болотных сапогах. Японский жандармский офицер, низкий и крепкий, с настороженным плоским лицом. И трое других, широких, скуластых, с лицами мягко-желтыми, как мездра лосиной шкуры.

В коптилке стало так тихо, что слышно было, как сохнет, потрескивая на полках, клепка.

— Здравствуйте, — сказал русский в галифе. Это было смешно. Так смешно, как если бы вдруг Рожнов заговорил текстами из Евангелия. Никто не ответил.

— Так, — продолжал он чуть сильным голосом, — кто здесь Молчанов Степан Маркович?

«Юкола», стоявшая рядом с бондарем ближе к дверям, указала пальцем:

— Вот.

Офицер подошел к Молчанову, стоявшему у верстака. Молчанов откинулся назад и весь посерел, как мелкий влажный песок на солнце у дальнего мыса. Глаза его округлились страхом, удивлением и еще чем-то, что мелькает в глазах издыхающего оленя.

— Вы арестованы, пойдем.

Мишка незаметно передвигался ближе к двери.

Японский офицер посмотрел на него таким спокойным и черным глазом, что казалось, будто из узкой и косяк щели смотрит душная и пустая темнота.

Другой, русский, кивнул на Мишку.

— Куда, любезный? Постой! Кто еще здесь будет Дежнев Михаил Петрович...

Через полчаса Мишка, Молчанов и солдаты сели в вынырнувший из-за мыса большой черный катер, и катер, отваливая от берега и сильно буксуя винтом, трепал косматую бледную просинь легких волн.

Мишку и Молчанова никто не сторожил, потому что уйти было некуда, кроме как в эту жидкую и хлябкую простынь, которую с шипением старого дорогого вина резал черный нос катера.

Они сидели на носу у вала якорной цепи. Солдаты были в кубрике.

Молчанов был спокоен и даже улыбался. За четверть часа он говорил столько, сколько не сказал за три долгих месяца таежной жизни.

Мишка удивлялся.

— Вы как будто довольны? — спросил он Молчанова.

Молчанов усмехнулся.

— Нет, Мишка, почему доволен, это так, ерунда. Знаете, в Ярославской тюрьме после трех лет мне сняли кандалы. Я не мог ходить, как ребенок. Это было смешно. Ноги у меня были такие легкие, и я подымал их так высоко, что качался и падал. Я хохотал до упаду в камере, один. Сейчас тоже, вот, будто кандалы сняли.

— Ну, кажется, их оденут, а не сняли.

— Нет, Мишка, сейчас кандалов не одевают, возня,

дорого, и где столько кандалов возьмешь, нужно будет построить кандалный металлический завод. Я думаю, в Америке такие заводы имеются, ха-ха... Сейчас — каюк, щелк, готово.

Молчанов показал языком и руками, как расстреливают, и продолжал говорить быстро и захлебываясь.

— И мне амба, все, пообедал и кончено, все, вытряхивайся из-за стола.

Мишка недовольно заметил:

— Вы мне портите настроение, Молчанов. Говорят, близко партизаны.

— Нет, мне — каюк. Черненко угробили и меня угробят в два счета, как пить дать. А что партизаны? Нет, Мишка, тут армии решат дело. Ну, если Ленин дал маху, и ругать же я его буду, ой буду. Мишка, вы знаете про Ленина?

Мишка вяло и нехотя ответил:

— Мало.

Помолчали недолго.

Молчанов, покачивая головой, опять начал тихо и отрывисто:

— Мало знаете про Ленина? Мишка, это ж умница, это ж силища, черт возьми, ах, какая умница!

У Молчанова тускнеет глаз и смотрит грустно и любовно. На лбу брызги мельчайшие пота, будто осадок ветра морского.

И опять слов не было, и опять Молчанов говорил.

— Мишка, подумать только, я отбыл десять лет каторги. Неужели для того, чтобы меня коцнули в этом самом гиблом месте, в этом паршивом нужнике? Слушайте, Мишка, вы не знаете, кстати, где здесь нужник, на этом проклятом ящике? Мне бы по делу...

Мишку начинали раздражать слова, мысли тягучие и липкие, как струйки текущей смолы. Хотелось быть одному и спокойным, как зимняя безметельная ночь на мысу.

Мишка показал назад.

— Я думаю, вот в той будке.

Молчанов поднялся, шатаясь от легкой качки, и ушел.

Катер сидел глубоко, и когда на близкий тяжелый всплеск Мишка обернулся, он увидел только ногу в стоптанном рыжем ичиге, скользнувшую по стальным перилам борта.

Мишка понял. Медленно повернул он голову и бездумно, медленней, чем текут минуты, сказал себе.

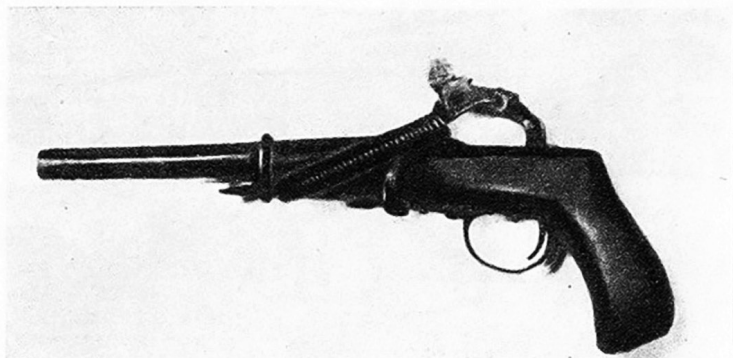
— Пусть так.

Катер, вздрагивая, как малярный в ознобе, шел ходко вперед, когда накатились суматошливо торопливая суета, глухая матерщина и крики.

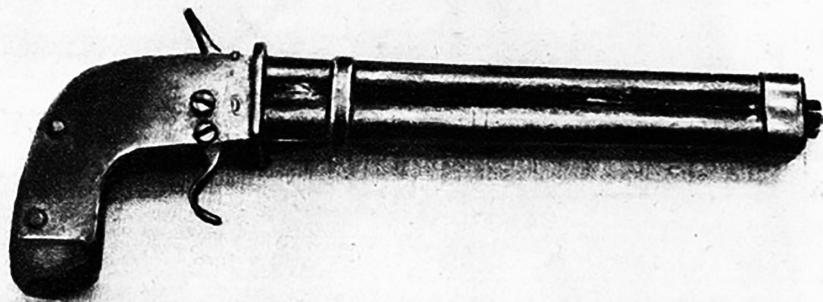
— Канай назад, стерва! Арестант за бортом.

Никого и ничего не было на остекленных солнцем тяжелых валах.

11,5 мм фитильный одноствольный самодельный пистолет. Применялся красными партизанами Сибири в период гражданской войны и военной интервенции 1918—1922 гг. Инв. № 1540.



12 мм четырехствольный револьверный самодельный пистолет. Применялся красными партизанами Сибири в период гражданской войны и военной интервенции 1918—1922 гг. Инв. № А-397.



БЕЛЫЙ СОЛДАТ!

Послушай-ка, брат! Не пора ли тебе перестать слушать разные лживые речи твоих господ начальников?

Ведь морочат они твою головушку разными неблизцами и ужасами про нашу Красную армию.

Не верь, ты, им.

Ты лучше посмотришь-ка в тех, кто отталкивает тебя от нас. Кто они такие?

Это — генералы, полковники, офицеры, юнкера, студенты, бары и барчата, все люди белой господской кости.

Для них, конечно, наша Красная армия хуже смерти. Потому-то они и скалят зубы на нас, как хищные волки.

Ведь наша Красная армия это — плоть от плоти и кость от кости трудящихся, крестьян и рабочих.

Мы — это народ, мы защищаем народные права против бар и господ.

На своих штыках мы несем смерть только тем, кто веками угнетал рабочих и крестьян. А всем угнетенным и обездоленным мы несем освобождение и нашу братскую помощь.

Переходи, брат, к нам. Чего ждать-то?

Вот бери пример с казаков бывшей южной армии Колчака. Целыми дивизиями перешли они на нашу сторону, и мы приняли их, как родных братьев.

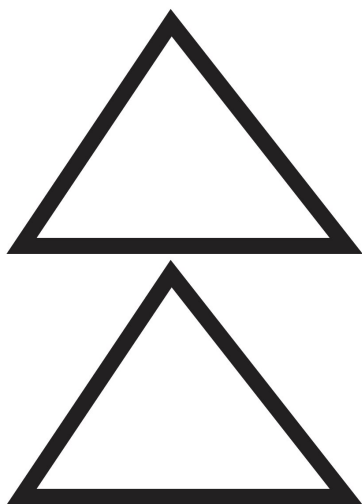
Если бы белые солдаты перешли к нам, то давным бы войною, и мы все по домам да свободе без генералов, без



давно кончилась разошлись бы зажали бы на царей, без помещиков.

Красноармейцы.

Глеб Пушкарёв



Глеб Михайлович Пушкарёв (1889—1961) родился в семье служащего. До 6 класса учился в Барнаульском реальном училище, был исключен за неуспеваемость. Затем до 1911 года работал корректором, хроникером в газетах «Барнаульский листок» и «Жизнь Алтая». В 1911 году уехал в Санкт-Петербург. Участвовал в деятельности подпольной социал-демократической организации, в связи с чем подвергался аресту. В 1913 году поступил в Психоневрологический институт, но в 1916 году, не окончив институт, был мобилизован в армию, где обучался на «инструктора химии удушливых средств». Во время испытаний получил сильное отравление и был освобожден от военной службы. В июне 1917 года вернулся в Барнаул, работал в газете «Голос труда». В период Гражданской войны оказывал содействие в организации побегов большевиков. Работал в издательствах с 1919 года — заведующий Алтгосиздатом; с 1924 года — представитель Сибкрайиздата в Москве, затем — в Ново-Николаевске. Все последующие годы работал в Новосибирской писательской организации. Первый рассказ опубликован в 1909 году в газете «Барнаульский листок». В 1917 году появились первые книги Пушкарёва, в последующие годы — рассказы о жизни народностей Сибири. В 1920—1930-е писал о людях деревни, заводских рабочих, партизанах, о Гражданской войне. В послевоенные годы опубликовал произведения о Великой Отечественной войне, о революции 1905 года. Умер в Новосибирске.

Миниатюры

I

Взаймы, чтоб не обидно было

138

Атаман не шутит. Атаману некогда заниматься пустяками, выяснять — прав или виноват. Раз указали, значит, так: дыма без огня не бывает. И кончено. Разница только та: к стенке ли поставить или на вешалку вздернуть. Тут атаман предоставляет полное право выбора исполнителям; если он будет вмешиваться еще и в эти пустяки, то когда же ему работать.

Атаман умеет подчинить себе, кого надо, умеет каждого заставить сделать то, что хочет атаман.

Недаром его подданные, как молитву, твердят одно: с нами бог и атаман...

...Деревня вздумала бунтовать, деревня не признает властей, деревня хочет большевиков, отрицает истинную народную власть.

Этого атаман потерпеть не может...

Кровавой рекой разлились по степи отряды атамана.

Идут отряды один за другим, а впереди разведчики.

Врага нет, биться не с кем, опасностей сраженья не предвидится, зато деревня насыщена большевиками, деревня не желает признавать властей, не желает солдат дать, не желает податей платить...

— Выбить из нее большевистский дух!

Идут разведчики, разнохивают, выспрашивают, списки составляют секретные, надежному старосте или попу, кому больше верится, пакеты оставляют и идут дальше.

А сзади другие. Влетят с шумом, гиком и сразу за дело: на площадь лес, столбы, перекладина — и вешалка готова:

— Батюшки, для че-жа эфто?

— Большевиков вешать.

— Да нетути их у нас, кормилец, не слышать штой-то.

— Найдем... А ежели не найдется, займем, чтоб не обидно было... Везде вешанные, а у вас нет. Обидно ведь, старина?!

Старина головой качает:

— И не приведи восподи. Не бывало еще экого у нас.

А там и отряд. Всех на площадь.

— Стройся!

Мужиков в одну, баб в другую, посередине поп, если такой имеется, староста, еще два-три надежных.

— Сказывай, кто большевики тут, а не то сами будете отвечать...

Где струсят, либо по злобе скажут — тут же выведут одних на вешалку без подготовки, без провод; других запорют, а третьих — попорют и отпустят:

— Гуляй покамест, а там — посмотрим.

Молчит толпа, черная, страшная. Кипит, да не скажешь: запорют.

Висячих за ноги подергают, посмеются, а потом дозор поставят, по домам распустят.

— Занимайтесь мирным трудом, граждане, помните: мы за вас... Но ежели что... веревок и шомполов у нас хватит.

А тут в деревушке — десятка два домов, ни попа, ни купца, все нищета — выселок, заимочники и не нашли большевиков. Либо всех вешать, либо никого. И знать не знают, и ведать не ведают. И разведчики были и вдругорядь проверяли — нет большевиков, а виселица торчит.

Собрали народ, стращали, а не нашли ни одного.

— Не уходить же так, зря добро испортив, время потеряв на постройку вешалки, — усомнился один.

— Да, это не тово, — поддержал другой. — Для порядку надо бы все же кого-нибудь подвесить.

Подумали, посоветались, а через час вестовой летел в соседнее село с запиской:

«Прошу выслать кого-либо из большевиков на предмет повешения в выселке Петровском, так как в таковом не оказалось ни одного большевика, а для устрашения, чтобы и тут было неповадно бунтовать, считаю долгом хотя бы одного повесить.

Начальник отряда Ивановский».

Распустили мужиков, поизгалялись над бабами, побаловались всласть на отдыхе...

А утром, чуть свет, на сбор. Повытаскивали из изб мужиков, баб, выстроили всех у виселицы и вздернули большевика, взятого взаймы у соседей:

— Чтоб не обидно было...

II

НЕПРИЯТНОСТЬ

Пугали не однажды. Придут ночью, разбудят: вставай, да барахлишко-то оставь — ни к чему, там, чай, казенное — ангельское одеяние дадут.

Выведут двоих-троих в контору, подержат час-другой, сами ходят с винтовками, бомбами, а потом махнут рукой:

— Ну вас к черту, есть тут когда с вами возиться, еще успеете подохнуть.

И отведут обратно.

— Спите, не тронут боле, — хлопнет по плечу смотритель и уйдет восвояси.

А тут днем часов в двенадцать пришли с бомбами, револьверами, в шапках, с папиросами.

Выкликнули троих, вещи побросали: не трогай вещи — товарищи разделят... У вас ведь все общее, ну, вот и пускай проводят здесь коммуны.

И вывели.

Весна... Снег стаял, на улицах сыро. Тополя вот-вот начнут распускаться. Уже сладость листвы чувствуется в воздухе. Но еще свежо.

Велели пальто надеть, чтобы не простудиться.

Вывели из ограды и прямо через лут к кладбищу.

— Недалеко, возня небольшая...

Шли шумно, разговаривали, смеялись; только те трое в середине молчали: не до слов.

— Скорей бы только, скорей, чтоб не заставили рытьям.

Кладбище... Березки... За ними кресты.

Подвели к какой-то канавке... Не то старая могилка, не то глину рыли... Обросшая, позеленевшая травой и мхом. Внизу на дне мусор, гадость.

— Становись... — поставили и отошли в сторонку.

Трое у ямки... Не убегут.

Офицер вынул папиросу, постучал ею о портсигар. Вытащил из кармана галифе коробок спичек и, улыбаясь, кивнул тем троим:

— Поживите, ничего, нам не к спеху, — и, чиркнув спичкой, закурил. Другие последовали его примеру.

Солдаты стояли кучкой.

— Покурить, — скомандовал офицер солдатам.

— Да и вам разрешается покурить, — вспомнил офицер у ямы. — Будьте добры...

— Кончайте скорее, пожалуйста, — вырвалось из груди. — Кончайте!

— Можем поспешить, — процедил сквозь зубы офицер, — если это вам так угодно... Господа офицеры, поспешите окончить курение.

Две-три затяжки — и папиросы полетели в траву.

— Ну-с... Может, вам дать еще минутки три пожить? — и он вынул часы. — Сколько вам желательно? Пожалуйста, не стесняйтесь. Прошу...

— Кончайте же...

Улыбнулся офицер.

— Ужасно нетерпеливый народ большевики, все куда-то спешат. И видите, к чему все это ведет... Приходится вот вас ставить к ямке... Ужасно, думается, неприятная вещь...

— Стреляйте... Подлецы... — закричал один из осужденных.

Вздрогнул офицер.

— Господа офицеры! Взвод, на места! Смирна!

Поднялись винтовки, замерли.

Захолодело внутри и стало пусто, только дышать хотелось сильно-сильно, как будто не хватало воздуха.

— Я раздумал, — сказал офицер. — Отставить...

Стукнули винтовки к ноге.

— Отставить... Я очень извиняюсь, господа. Я совершенно упустил из вида одно обстоятельство... Ведь завтра светлый Христов праздник, по-нашему — Пасха. В этот день и накануне я, знаете ли, принципиально никому неприятностей не доставлю. В эти дни всеобщего прощенья я дарю вам жизнь... Ну, может быть, на несколько дней, а впрочем... впрочем... это будет зависеть от моего настроения... Прощу вас следовать за мной.

Окружили штыками, повели обратно.

Тюрьма принимала недоверчиво, удивленно.

И у людей, пришедших целыми назад, радости в сердце не было.

III

НЕ ЖАЛКО — СТУПАЙТЕ!

142

Андрея с другими загнали в тюрьму.

Жизнь тюрьмы особая. Жизнь ночами считается. Как ночь, так стук:

— Выходи!

И выходят молча бледные, пустые. Даже товарищам последнее «прости» крикнуть не могут — проваливается все куда-то далеко. И товарищи стоят мертвыми, пустыми, ждут, а кого еще?

Отсчитали, увели и до новой ночи спокойно — не тронут. А тут увели, ровно бы кончили, можно спать спокойно, да нет — лязгнул замок.

— Еще?

Вернулся один бледный, руки трясутся, зубы ляскают.

— Ан-Андрей... т..т..тебя... спутали... т..тебя звали.

Вздрыгнул Андрей, не верит.

— Т... тебя...

А в дверях смотритель кивает.

— Верно, верно. Шагай, брат, чуть за тебя другого не прикончили.

Накинул шубенку, шапку, тряхнул головой.

— Прощайте, товарищи! Видно так...

Привели в контору, у стены стоял такой же другой, у стола храпел пьяный начальник. Шестеро солдат с винтовками.

— Ты... штоль? — очнулся начальник.

— Я, — ответил Андрей.

— А может, и еще не ты?.. Кто вас поймет... Сволочи вы все... Перевешать бы вас всех надо, только вот расположения у меня сегодня нет... Ну ладно... Я спать хочу... А ты, — крикнул он старшему взвода, — уведи эту сволочь за ворота, чтоб и духу ихнего не было... Понял? Чтоб я их не видел здесь... Будет... Надоели... Из-за них тут покою не знаешь...

— Куда же прикажете отвести? — вытянулся старший.

— Куда хочешь, чтоб только я их не видел... Понимаешь?

И повели. Впереди двое, сзади четверо. Шли молча по городу, не зная — куда.

— Не плошай, — шепнул Андрей. — Дураками будем...

Город длинный, киргизский. Дома разбросаны, растянулись, площадь за площадью. До конца версты три, тюрьма в середине, до Иртыша недалеко, но зачем на Иртыш?

— Ни черта не понимаю, — обругался старший. — Веди, куда хошь. Ну веду. А дальше чего? Расстрелять — ордера не дадено. Отпустить — опосля отвечать придется. Черта с вами делать-то? — закричал он на пленных.

— Черта! — подхватил Андрей. — Сказано — уведи подалее и все... Увели и ладно, больше никакого приказа не было.

— То-то и беда, что не было... А куда подалее... Город-то, черт, на сто верст растянулся. Киргизия проклятая... А мы што: шагай до конца, а потом гони вас, чтоб назад не шли.

— Не придем, друг, — усмехнулся Андрей. — Не заманишь каральками. Будет, навек не забудешь.

— А большевичить будете?

— Како большевичить, учены, друг. Врагу закажем, не то что сам...

— Ну это положим, — усомнился старший и почесал в затылке.

— Што же, ребята, с имя делать? Отпустить, штоль? Приказа не было расстреливать.

— Отпусти, — согласились и конвойные, — хошь бы ночь соснуть, а то кажиную гоняют, гоняют, хуже каторжных, ей-богу.

— А с имя еще канитель, часа два до конца города тащиться, — подтвердил другой.

— Ну отпустить, штоль?

— Отпускай.

— Черт с вами. Не жалко... Айда, коли так.

Опустились винтовки. Пружинной кошкой вздрогнули пленные. Успели только пожать руки солдатам и быстро свернули к углу.

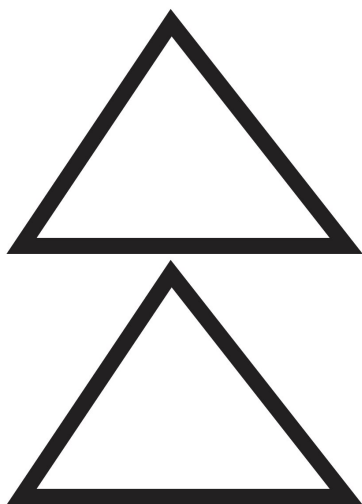
— Стой! — крикнул старшой. — Ответа не было...

— Утекли... мать их...

— Ну, а теперя, ребята, айда спать... Да только штоб не выдавать.

И сонные зашагали к тюрьме.

Афанасий Коптелов



Афанасий Лазаревич Коптелов (1903—1990) родился в селе Шатуново Алтайского края. Родители были кержаками, т.е. старообрядцами. Ушел из дома, начал заниматься самообразованием. Работал разносчиком книг, прошел учебу на курсах «красных учителей», после 1917 года занялся борьбой с безграмотностью населения. Позже стал заведовать волостным земельным отделом, работал в земельном управлении уезда. В 1921 году стал основателем и руководителем коммуны «Красный пахарь». В это же время начал карьеру журналиста, был селькором. С 1924 года начал писать рассказы и повести. Принимал участие в Первом съезде писателей, который состоялся в 1934 году и последующих. Также Афанасия Лазаревича избирали секретарем Союза писателей СССР и РСФСР. В 1944 году вступил в КПСС. Является почетным гражданином Новосибирска, получил несколько правительственных наград, Госпремию СССР.



«Антихристово время»

I

Заимка Конона Лукича затянулась в темно-синие ущелья гор. Осела под булкой нависшей скалой. На восток от нее тянутся кедрачи косматые. Правее — сад-маральник Конона Лукича. Притаилась заимка домами пятистенными, крестовыми, к подгорью присосалась. Ниоткуда не видно заимку. Вскарabкайтесь на голую вершину горы, где пальцем торчит ситняк гранитный — впереди волны темно-синие, с белеющей пеленой белков, сзади зыбь горная, вдаль убегающая, а заимки нет. Только лай собачий, кукареканье петухов поутру и утренний дым выдают ее.

На заимку маленькая дорожка, ездят по ней верхом на маленьких лошадях. Нелегко попасть на заимку, белые

реки змеями дорогу переползли, шипят, сердятся они на всадника. Туча сядет на горы, водой подоит, взъерят реки потревоженные, слюной белой забрызжут — и не подойди к ним, пока гнев их пройдет. У дорожки большой косматый каменный сыч сидит, вход на заимку стережет. Прорехал сыча, дома окошками подслеповатыми улыбнутся, синими стеклышками подмигнут.

Из-под сыча струйка воды бьет, вкусная вода, белая вода. По воде этой заимка «Белым ключом» называется. Маленькая она. Конон Лукич спорил больше — двадцати дворов не будет. Двадцать дворов на заимке, двадцать первый дом, а не двор. Он стоит на задах обширной кононовой усадьбы. Почерневшие кедровые бревна сталью звенят. Окна маленькие, двери низкие, над дверями распятие медное врезано. Старый дом — отец Конона в молодости рубить его помогал старикам.

Маленькая заимка вся, а округа знает ее. Накануне больших праздников едут один за другим гости на заимку, едут издали. В сумах переметных: в одной запас на дорогу, а в другой кафтан с лестовкой и подручником. Большебородые запасу не берут. Крепкий народ большебородые: сутки без еды проживет, не сойкает, а сядет за стол — семь калачей уберет, три полотухи щей один выхлебают.

Знают заимку большебородые, знают Конона Лукича. Конона Лукича уважают. Идет он по заимке, костью с наконечником железным землю долбит, ветер в белой бороде роется, волосы лохматит. Встречные шляпы снимают, в пояс кланяются, на ходу прощаются. Кафтан у Конона Лукича старый, рукава блестят от масла и долголетнего священнодействия... Редко снимает кафтан Конон Лукич.

II

Коромысло в ущелье сползло, конец свой правый кверху подняло, как будто там за водопадом воду в реке черпает.

Парасковья Петровна с улицы прямо и горницу:

— Палашка, ставай!

Палашка потянулась, что-то промычала, храпом сонным проскрипела.

Парасковья носком пима в бок.

— Ставай скорейча!..

Палашка, пошатываясь, встала. Пышкает, в корню косы царапает.

Мать в корыто деревянное морковь вареную вывалила, к потолку белый столб пара подымается. Палашка чистит первую морковку.

— Ступай богу молись, я туто-ка одна поотстряпаюсь!

Палашка глянула в окно.

— Я боюсь в потемках-то.

— Съест хтовто тибя, десять сажень пройти.

В горнице в темно-зеленый сарафан нарядилась. Розовые с цветочками рукава надела. Под самыми титьками поясом широким перетянулась, на спине две кисти скопами болтаются. Титьки, как булки ржаные, через пояс перевалились. Чувствует Палашка — зимой они были стальные, упругие, а сейчас как пуховики.

Идет, подручником помахивает. У подручника подкладка отпоролась. Внутри бумажка похрустывает.

В низкой внутренности пышкотня старушечья. Пахнет кислятью и потом. Палашка встала среди старух на левой стороне. Молельщиков осматривает. Все больше-бородые, лицом строгие. Вон и он — кафтан его с рябинками. Глаза косит, крестится не вместе со старухами, отстаёт. Старухи тяжело вздыхают, охают, пуще пыхтят. Бабушка Настасья — старуха кононова — впереди стоит: она подслеповатая, не увидит. Отец в дальнем углу за народом. Увидал, головой легонько тряхнул.

Псалмы читал Аверьян быстро, громко, как капусту рубил. Обтер пот с лица белым платочком — у стариков простился, лопатистые бороды молча поклонились. Белый платочек в кафтан залез и уголком одним выглядывает, на уголке красная буква «П».

Левый глаз бегал, дозорил. Заметил мельк зеленого подола. Три низких поклона отвесил, у стариков простился и — в темную прихожую.

В прихожей никого. Шубы, тулупы на стенах висят. Двери обои заперты. Темно... Луна несмело косится на единственное окно. В углу между шубами ойкнула Палашка...

— Кто это туто-ка?

— Чо, не узнала? — спросил голос чтеца.

— Ты, братишко? — уверенно прошептал девичий голос.

Аверьян — сын Гаврилы Михайловича, его мать и Парасковья Петровна — две сестры родных.

Руки ощупали титьки, зацепили за спину, прижали к себе. Спинные косточки хрустнули. Сухие губы искали толстые губы Палашки. Рука ее рылась внутри подручника.

— На!..

Потная рука ее уткнулась в Аверьянову ладонь. Хрустнула бумажка и спряталась в кармане за белым платком.

Кедровые двери громко хлопнули. В углу прошипело.

— Тише!..

Кто-то у другой стены рылся в шубах. В углу приседали люди, мягкие шубы не шебарчали, не выдавали.

Лавка у стены старая, широкая. Под лавкой высоко, просторно. Овчинные шубы мягкие, не шебарчат.

III

Солнце встало рано, пришло через верхнюю долину, заглянуло в подслеповатые оконца. На черных кафтанах заиграли синие ответы. Внутри низкого помещения потеснело. Между черными сарафанами пестрели разноцветные — то пришли с рассветом девки. У правой стены стоит рослый парень. Волосы его кружатся в кольчики, ниже ушей волосы под кружок подрублены, голова на гриб смахивает. Под вздернутым носом пробивается пушок. Голова его в полуповороте налево, глаза в девичью сторону. По две зимы сватался он, а жениться не мог. Теперь за тридцать верст приехал на заимку невест смотреть.

У крыльца поджидал Паланьку со двора.

— Чья будешь, голубушка?..

Головой вернула, назад ее откинула, грудь булками вперед.

— Здешна...

— Я знаю, что здешна...

Зеленый подол стегнул о жирно дегтем намазанные канашины. Тесовая дверь хлопнулась и отворилась. Конон Лукич остановился, покачал головой, бородой потряс.

— По чо приехал, раб божий?..

— Молиться...

— Рази тут-о-ка, у дверей, молятся-то?..

Проезжий поклонился в пояс, прося прощение.

IV

С Ильина дня обитатели «Белых ключей» черемуху брать начинали, хотя раньше кой год поспеет она — брать до Ильина дня все равно не будут, такой уж обычай. Поберешь до этого дня, червь на будущий год ягоду испортит.

После обеда девки, бабы молодые табунами в горы потянулись. Там на склонах, покрытых косматым лесом, чистые поляны, и по полянам здоровенные кусты черемуховые. Урожай на черемуху в этом году обильный. Висят глянистые кисточки ягод, как хвостики овечьи. Чернеют кусты ягодой.

С займки вышли молча, у леса, за первым злобчком несмело сначала песни потянули. Пели новые песни, частушки про миленка, про милашку, старые проголосные только старики в гулянку тревожат. Молодые не любят проголосных — смеются над ними.

У первых расстаней спор:

— Куды, девчонки, пойдём, по Калбинской али по Егоровой? — спросила краснорожая красноармейка Василиса.

— Айда по Калбинской, — бойко заявила Паланька.

— А там, говорят, мене ягод-то, — сказала одна из девок.

— Ну как тут уж мене. Я не пойду по Егоровой, — Паланька мотнула головой.

— Кака поперечина...

Свернули по Калбинской. Василиса локотком толкнула Паланьку и на ухо:

— Знаю я...

— Чо ты знаешь? — Паланька вспыхнула ярким огоньком, в груди закипело.

— По чо ты сюда поворотила.

— По чо?..

— Знаю, не бойся, никому вить не скажу. — Василиса качнула головой, подмигнула левым глазом и рассмеялась.

Девки, бабы доили кусты без останову. Паланька бегала от куста к кусту, выбрасывала частушки.

— Не спела, не сладка...

Бежала дальше.

Подружки одна по одной оставались у кустов. Оглянулась — поблизости никого. Бегом через колодины, через чащу по траве двухаршинной, туда, к шумливой Громотушке.

Аверьян сидел на синем валуне, точеными босыми ногами в воде побулькивал: спустит ноги в воду, поболтает ими и назад — студеная вода в Громотушке, с холодных горных вершин ползет.

— Грех ведь нам поди будет, как старики-то говорят. Родня она, хто ево знат, как поди што на грех... Ну я рази виноват, што жить без ее не могу. Отберут — жисти лишусь.

Сзади по камешкам кралась Паланька. Ухнула и руки под пазуху парню. Не испугался, назад перегнулся, руками за шею и губами в губы.

— Не боязливый вить, знал, што ты придешь.

Сверху синий валун виден. Они перешли за высокий камень, сзади которого зеленеют кусты и заостренные ели.

Паланька сидела рядом, близко-близко. Теплота ее тела щекотала его. Голова Паланьки на груди парня. Дышит она порывисто, щеки краской наливаются, глядит в серые глаза миленочка, глядит не мигая.

— Аверя, я, звать-то, понесла, — прижалась ближе к груди.

— Как теперича?..

Он сидел в прежнем положении, только нижнюю губу закусил.

— Ничо бы всё, дак узнают все, обоим нам житья не будет, со свету живут.

Ответил тихонько, но голосом твердым, как зубилом на камне вырубил:

— Не сживут, убежим куды-нибудь. Чо, думаешь, не проживем?

Вверху кричали:

— Панька-у!..

Лес, горы перепевали.

— ...Анько-у!..

Парочка поднялась из-за глыбы и пошагала к черемушнику.

— Ничо, скажу, што заблудилась и только.

Голоса улетали все дальше и дальше, глуше слышались.

Парочка торопилась набрать ведро черных ягод. Откуда-то взялось серое облако и повисло в долине, вот тут, над самыми головами начинается оно.

Когда пали на землю первые капли, отец в седле выехал искать дочь. Она подходила к поселку с тяжелой головой. Голубые глаза скользили по тропинке, как бы считая камушки, но они их не замечали.

V

В Филипповку Конон Лукич обед устраивал. Молились святителю Николе о здравии и спасении воина Федула. Молились с вечера до солнцевосхода. Небольшая комната горницы полна народу.

В избе возле стен столы протянулись, на столах калачи, пироги, шаньги и пирожки.

— Заходите, братья, — просил Конон Лукич, кланяясь в пояс.

— Давайте сами-то, Конон Лукич!

— Да ведь я-то дома, — отговаривался Конон.

— Без тебя нельзя, благословлять трапезу-то надо!

Конон уселся в передний угол, под старую кедровую божницу, за одним столом мужики сидели, все в кафтанах. За другим и третьим женщины и ребятишки. Конон перекрестился, поклонился лбом до стола.

— Благословите, братия!..

Братия поклонились и отметили:

— Бог благословит.

Трижды перекрестился, отведал шаньги, опять так же благословился, хлебнул щей. Потом общие благословенья с поклонами и молитвами. Гнулись спины, лбы до тарелок с пирожками. У ребят кто-то сердце сосал — есть хотелось. Глаза бегали по тарелкам, шаньгам. Долго уж очень благословляются, Федька потянулся к маковому пирожку, но вспомнил:

— Конон увидит, за уши надерет, как тогда.

Ели торопливо — мужики с важностью, старухи с поспешностью. У Гаврилова кафтана рукава широкие, не поддерживает он их, стелет рукава по пирожкам с маслом, медом намазанным, — рукава у Гаврилова кафтана блестят.

Парасковья с Василисой уносят пустые чашки, тарелки, приносят наполненные, кланяются в пояс:

— Питайтесь, братия!..

На них черные платки двумя концами подвязаны, назад тоже два конца болтаются.

Паланька каравай на тарелке принесла. Конон глянул на Паланьку, воротил:

— Ты чо эту пищу христову вверх ногами положила, хлеб — тело христово. Грех великий зело. Самуе-то вот повернет вверх ногами, дак узнашь.

Дернулись седые косматые брови, хлопнули на глаза, осердился дедушко.

— Опять после обеда с ременкой будет шарашиться. Не все равно ему — кверху или книзу... так же сожрут и тарелку замажут, — подумала Паланька.

В кути повернула каравай, опять поставила на стол, и опять дернулись брови старика.

— Ишшо чо-то не угодила старому хрычу? — про себя сказала и на улицу вышла.

Сенными дверями хлопнула сильнее.

Хоть как ему делай, все неладно. Опять седни Касьян поглядел на него.

VI

Перед Рождеством ездил Панкратий Миронович в село, что за тридцать верст от «Белых ключей». Привез Максиму Кононовичу письмо от сына.

— Грамотка от Федотушки? — спросил Конон, удало, как двадцатилетний, соскакивая с верхнего голбачика. — Надо сходить за Аверьяном, читать грамотку-то!..

Собралась вся семья слушать грамотку. Василиса от радости утирает слезы подолом запона. Аверьян старательно распечатал ПИСЬМО, извлек два исписанных листка бумаги, кашлянул и начал: «Во первых строках моего письма посылаю поклон папаше и мамаше и желаю всего хорошего».

Папаша неодобрительно качнул головой, мамаша швыркнула носом — ее никогда так не называл никто и ей показалось это обидным. Василиса, глядя на них, выдавила новые капли слез. Дедушко Конон, не слушая, бормотал свое:

— Ране-то не ек добры-то люди писали. Какова хороше-во желат?.. Надо вить: от господа бога доброго здоровья, душе спасенья.

Тем временем Аверьян прочитал поклон жене Василисе и брату с сестрой, Конон заставил повторить.

— Не слышал, чо туто-ка прописано, воротись с краю.

После поклонов всем родным и знакомым начиналось письмо, оно коротенькое.

«Затем прапишу я вам, папаша и мамаша, и дорагая жена Василиса Анисимавна и все родные и знакомые, што я чичас сазнательный. Ране я ничего не знал, был бессазнательнай, теперь глаза мои развязали, как стал я сазнательнай, уяснил всю текущую моменту-то и записался у партию. Теперича уж я стал партийный коммунист, как я иду за хультуру, против леригии, которая нам есть опиум. Приписываю тебе, дорогая жена, Василиса Анисимовна, шашмуру более не носи, потому как все это предрассудки и басы тоже нет никакой».

На этом месте Конон Лукич чтеца прервал.

— От диавола сие есть, словеса тут диавольские и диавольскому беззаконию поучающие. Давай сюда!

Он вырвал письмо из рук Аверьяна и зажал в кулак, Парасковье голосом строгим:

— Растопляй давай печь!..

Парасковья не двигалась с места. Косматые, седые брови старика ошетинились.

— Я по однова, Парасковья, говорю, а то муж-то вот он.

Парасковья нехотя вышла за дровами.

Василиса просила старика:

— Дедушка, Конон Лукич, дай письмо-то дочитать, может, там добро на конце-то есть!

— От дьявола сие письмо, дщерия моя, все дьявольское повелено огню предавать, — ответил старик.

Василиса смочила слезами запон, швыркала соплями, косилась на белого старика.

Когда в печке дрова дружно загорелись, Конон, перекрестясь, бросил в огонь бумагу. Прискочили красные языки, засуетились вокруг тела бумажного. Баба заголосила:

— Ждала я письма, горегорькая, а вот и дождалась, бедная. Растошным-то мне тошнехонько... Как теперь милу соколу весточку подать?

Утерла глаза кулаками и голосом сердитым:

— Там поди адрес был... Как теперь ему письмо-то послать?

Вместо ответа Конон старческим голосом начал:

— Сбываются пророчества святые: яко в книгах написано, так и идет. Внучек мой богоотступник, предтеча антихриской.

Перед иконой встал, крест старческий занес.

— Господи, владыко многомилостивый, царь небесный, покарай против тебя помышляющего...

Максим сзади отца за руку...

— Не кляни, родитель, может это ишшо не он писал. Ныне всяки люди-то есть ведь, может, какой узнал от ево про нас, вышло чо там у них, вот он и сдумал досадить.

Старик вырвал руку.

— Не лезь, Максим! Прокляну всех сообщников его и заступников его.

Аверьян покачал головой, плюнул в угол и вышел из дома.

Печка протопилась, угли золой таяли. Конон Лукич окуривал печку из жестяного кадила, на горячих углях которого горел ладан. Крестился на иконы, низко кланялся, три раза крест-накрест кадилом махал и опять крестился. Из горницы принес стеклянный графин с водой святой крещенской. Три раза с молитвой покропил ею печь.

Парасковья под порогом рассуждала.

— Чо эо сделалось с им тамо-ка?.. Дома-то вон какой хороший был. Каждной праздник в моленну ходил, дня не пропустит.

Василиса без удержу плакала, шашмура ее сбилась на затылок. Напротив сидела Паланька, Паланька думала:

— Правду и братко пишет. Не было бы шашмуры, дак Василиса была бы ишшо бассе.

VII

Росло брюшко у Паланьки, как ни подтягивала его — все заметнее и заметнее становилось. Бабы на заимке стали поговаривать, в догадки пустились.

Перед Масленицей, когда утречком одни с матерью в избе остались, Парасковья Паланьке пробуркнула:

— С тобой, девка, я замечаю, чо-то не ладно есь?..

— Чо не ладно-то, все ладно, така была, така и есть, — ответила дочь, посматривая на живот.

— А это чо у тебя? — мать ткнула кулаком в живот Паланьки.

Паланька сойкала, покорчилась, шепотом мать изругала и голосом сердитым, громким:

— Видишь, так што спрашивашь! Гороху моченого объелась.

Парасковья стыдила дочь.

— Бессовестна твоя рожа. Не совестно шарам-то?.. Да де жо слыхано, чтобы наши девки робят носили? Всю породу нашу опорочишь! Конфуз заимке. Вот отец узнат, он те шкуру-то спустит. А дедушка-то чо сделает! Внучка Конона Лукича найденыша принесла, на все горы позор старику. Только с заимки прогнать такую скотину.

Палашка оборвала грубо:

— Не прогоняйте, так уйду, не житье мне тут-о-ка у вас тоже.

Вечером проглядела Парасковья, когда дочь на улицу шмыгнула.

В темном сеннике долго дожидала, теплый шубный дипломат, а дрожь пробирает, дрожь больше от ожидания, от беспокойства за будущее.

Катышко под сушилом проспал — не слышал, когда человек в длинном дубленом тулупе протянулся к сеннику.

Обняла по-прежнему в обхват, дагнула к себе. Прикрыл ее полами тулупа. Разговор полился тихий, не поймешь: то ли сено шелестит, то ли разговор вьется.

— Бабы догадки насчет меня строят, — сообщил Аверьян первыми словами.

Шорох плелся в сеннике долго, изредка он прерывался, слышался звук, на шлепанье губ похожий.

— Ну дак на масленке в четверг... Я там дома кое-что припасу, чтобы было на первое время.

На праздник еще раз поцеловал и дакнул попуще.

Лицо Парасковьи враз осунулось, под глазами посинело. Она ходила молчаливой — Палашка была у ней единственная дочь, жалость материнская сказывалась. Вечером уговаривала дочь:

— Поедем в деревню, выпросимся будто в гости, там

тибя полечат. Никто не узнает и стыда не будет, а греха-то так и так не миновать.

Паланька не соглашалась:

— Дитя свое губить?.. Ни за что на свете! Пусь сама сдохну, а дитя не дам губить. Грех, а губить, так не грех?..

— Ну пойми, куда мы с тобой, кто тебя возьмет, кому ты така-то нужна, — перебила мать.

— Возьмет тот, чей ребенок. Я чичас ровно его люблю, пошевелится, как ровно за сердце заденет.

Допытывалась мать об отце.

— Сама скоро узнашь, — был ответ дочери.

После уговоров опять стыдить и бранить.

VIII

Масленица в деревне — праздник большой. Всяк по-своему справляет ее: православные гуляют последние дни, порой прихватывая и чистый понедельник, кержаки гуляют первую половину недели, потом молятся, прощаются.

Не любил Конон Лукич масленки, часто говорил о душе пагубной, но Масленица по-прежнему справлялась с шиком, даже Максим, сын его, по три дня пьянствовал.

В четверг гуляли вовсю. Из дому в дом ходили пьяные компании. На лошадях в гости на другие заимки отправлялись.

На потемках около сыча съехались два верховых, стегнули лошадей и вперед. Они торопились. Переметные сумы были туго набиты.

158 За рекой женщина расстегнула одну суму, порылась в ней.

— Погляди-ко...

На руке звякнуло три золотых.

— Где взяла? — спросил спутник.

— У отца утащила. Понадобятся ведь они, ну вот на первый случай и есть.

— Как ты улизнала-то?..

Спутница достала вареник, взяла половину его в рот.

— Милко, ешь!..

Он откусил половину вареника и сорвал попутный поцелуй.

— Чо не улизнуть-то?.. Перепились все у нас, отец спит дома, братко куда-то уплелся, мать к Мишихе ушла по опару, а у меня уж Серко заседланный стоял в сеннике... Живо на улицу — и пошел.

Черная краска ночи лилась на землю. Они ехали по густому пихтачу в гору, на первый перевал. Дорогу вперед указывала белая лысина.

Большебородые обитатели долин ожидают конец. Неуверенно говорят об этом — ждут, что скажет Конон Лукич. Конон Лукич на зубок Писание знает. Раньше с австрийским попом беседовал, и хотя поп под конец громко смеялся, все же Конон Лукич считал себя победителем.

У Конона Писание в крепких кожаных переплетах. От родителя достались книги. Правильные книги, дониконовские, гусиным пером писанные.

IX

На Масленице Кокон Лукич в моленной со стариками, старухами разговаривал, Писание читал. На столе, покрытом скатертью, апокалипсис толстый, трех толкователей, в кожаном переплете лежит. Конон мозолит по строкам пальцем указательным.

— И он сотворил тако: всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на одесную руку их или чело их и никомужды нельзя будет ни продати, ни купити, токмо носящим начертание или имя зверя или число имени его.

Конон поднял глаза, посмотрел на всех сквозь старые, замусоленные очки. В углу девяностолетняя Дарья подтолкнула соседку Милодору.

— Клеймо клась будут...

— Но, но, чую я, — ответила Милодора и шепотом исусову молитву сотворила.

Кто-то из мужиков сказал:

— Читай, Конон Лукич, другого толкователя, как он растолкует.

Панкратий перебил:

— Чо уж, старики, дожили, видно, до краюшку, до са-

минькова. Вон онамедни ездил я в деревню-то, дак слышал там де-то уж скота всего собирали и печать клали, которой на лоб, которой на хвост, которой на гриву. Деньги, вишь, ишшо давали на заклеянных-то. Сказали: ведите скота на осмотру, а сами отметки давай ему ставить.

— Лестию да неправдою подойдет он, антихрист-то, — сказал Конон Лукич.

За печкой зашептали исусову молитву.

— С краю скота, а тут-ка и народ клеймить станут.

— Омельянушко лысый посоветовал.

— Уехать бы куды отселева, старики!.. Вот прежде было гонение на веру истинную, сюда пришли наши отцы, нх-то не знал, на моих памятях ишшо никто не знал. Житье-то было!..

— Куды от врага человеческого уедешь, он ноне по всей вселенной. Последни деньки доживам. Триста лет уже, как пророки-антихристи ходят по земле, с того времени, колды гонение на церковь христову началось. Царство его преуготововано, нацарится скоро враг рода человеческого, — говорил Конон.

— Я дак так располагаю, что царствует уже он, — прохрипел Калистрат Ермильч. — Клеймежка началась, дак уж чо тут-ка. Вот тоже переписывали всех, года три ли тому назад... По чо прибывали всех грамотных руку прикладывать? От антихриста это! Царствует он днесь на земле грешной, окаянной.

Старухи в углу свое:

— Слыхано рази ето, штобы со сродным братом...

— Хоть бы у кого, а то, вишь, у самого Конона Лукича...

Конон старческое ухо по углам водил, разговоры ловил. Старух оборвал голосом крепким, громким.

— Клянупя ие, дщерь диаволу. Ни родная она роду-племени чичас нашому. Слуга сатаническая. В пост великий всеношну отмолимся, дом освятим после погани такой нечистой.

Читал «Иоанново откровение». А за печкой старухи на ушко продолжали свое:

— Говорят, брюхата?..

— Брюхата, брюхата... И сама видела.

— Писано, што от девки поганой родится антихрист-то.

На другой день вся займка вспомнила о том, что по писанию антихрист от девки поганой родится. Парасковья

по вечерам в темном хлеву подолгу плакала, бога просила на путь истинный наставить Паланьку. Недоумевающие овцы жевали подол сарафана. Уходила с мокрым запонком и сырыми концами шали, глаза были красные, болезненные. Материно сердце жалело.

Максим заседлал коня и поехал искать сбежавших.

— Изничтожь плод ие, от диавола данный, — был наказ стариков заимки. Отец, Конон Лукич, на дорогу благословил.

Х

В село, к которому заимка приписана, Максим приехал под вечер. Завернул к знакомому мужику, одноверцу Макару Погодяеву.

— Не видал, парень!.. Ну да я не на дороге живу, дак ты к придсидателю сходи, явку положишь, толды лутше.

— Я то же думаю, — согласился Максим.

Председатель молодой, бритая борода, затылок стриженный, глаза, как буравчики, сверлят. Редко с «Белых ключей» бывают люди в совете, председатель не узнал Максима.

— Отколь ты, говоришь?..

— С «Белых ключей»...

— Богомол ключевский, видно?! Так-так, ну, как антихрист, скоро нацарится у вас?

Максим опешил, покраснел, ответил не сразу:

— Нам почем божие дело знать?

— Как, от вас новости такие сюда привозят. У меня штоб не мутить народ предрассудками, а то я вас!..

— Да мы чо...

— Я вот вас с Писанием вашим так пропарю, што забудете его!..

Это огорошило Максима, брови дернулись, в усах ошетинились пять волосков: «Умрем, а от Писания не отступим. Деды наши гонения терпели, а веру блюли, и нам так наказывали. Молоды там как, а стары ни в жисть».

Вертится в голове Максима думка: не спрашивать лучше у такого председателя, съест живьем. Видать — за их стоит, все одно ничего не скажет.

Поворотил к выходу, кожанки на руки одел.

Председатель остановил:

— Пстой-ка, бумажку увезешь вот тамо-ка. Грамотной есть кто, по скорописи может?

— Нет, ровно, никто не может. По печатному знам...

— Ну тогда поезжай и скажи, чтоб завтра же ехали сюда на перепись. Хозяйству учет.

— Ладно!..

От дверей воротился, отказаться вздумал:

— Да мне дале ехать надо ишшо...

— Куда тебе, зачем? — спросил председатель голосом неласковым.

— Надо, по своим делам...

— Каки таки свои дела?.. Пропуск есть у тебя ехать-то? Нету, а я тебе не дам. Вали обратно, нечего шляться вам туто-ка.

По выходе плюнул к порогу сборни:

— Бес, а не человек!.. Ишшо начальник.

Долго шумела заимка — ехать не хотела.

— Меня спекчи ладите, старики! — говорил Максим. — Вон поди как он на меня кричал, штоб все, говорит, были на лицо сами. Чо толды будет, не поедем дак. Вот какой злюка сидит тамо-ка.

XI

Накануне вербного воскресенья приехал мужик с Верх-Бухтарминской долины. Он привез письмо Конону Лукичу от начетника Егора Петровича.

162

Егор Петрович далеко в степи среди кержаков слыл самолучшим грамотеем, начетником хорошим считался. На всех соборах духовных верховодил делами Егор Петрович. Давно не было уже соборов, почитай, лет пяток все смуты разные мешают.

— О соборе привез чо-нибудь, Викул Онуфотевич?

— Нет, Конон Лукич, о другом, да прочитаете сами.

За обедом Максим спрашивал приезжего:

— Как ты приехал, пропустили везде?..

— Чичас не прошлы годи, не спросил даже нигде никто — кто такой, откуда.

Шепотом про себя ругнул Максим председателя.

— Ушли, типерича де возьмешь их...

Письмо читать Конон ушел в моленну. Одел кафтан, старые очки, перекрестился, как перед чтением откровения. Письмо большое, гусиным пером писаное.

«Г.И. Х.С. Б.П.Н.Г. Аминь.

Во Христе брату единомышленнику Конону Лукичу и братие ввообще заимки Белова Ключа. От раба божия Егора Петровича.

Мы, на малым соборе настоятелей наших суждение имели о царстве антихриском и времени текущем. По святому писанию сходит царство антихристово днесь настало. Зверь погибельный прииде на землю. Сбываются пророчества пророков святых. Яко же написано, тако и будет. Для уверования возьми пятнадесять серянок базарских, разложи их тако, штоб вышло число зверя 666. Разбери это число. Не прибавляй серянок. Сложи из них звезду пятиугольчатую, юже на челе своем имеют солдаты нынешние. Она в городе на флагах разных, красных упомянута. Звезда эта еси печать дьявольская. Разбери звезду ту, сложи слово тако: Ленин. Всыль везде придется. Токмо пятнадесять серянок имети надо.

Царство антихриско прииде к концу. Враг рода человеческого, веры истиной, погибе. Писание святое сбьется днесь. Господь наш исус христос царь небесный многомилостивым грядет судити живым и мертвым со страшным судом своим, со всеми Ангелами, Архангелами, пророки, мученики и праведники, вечную жизнь себе уготовители.

По писанию святому сходно, што лета исполнились. Во святую неделю час пришествия наступит.

Братия, попостимся и победим, покаямся во грехи своя множеству содеянных на земле сей грехами, аки маслом, напившейся.

Во христе брат ваш протчие братья с Бухтарминского краю, раб божий Георгий Петрович».

Молча свернул письмо Конон, на средину моленной встал, три поклона положил.

— Господь сподобил миня, грешного раба твоего, дожити до пришествия святого.

В избе к Парасковье голосом крепким, ровным:

— Серянок давай, Парасковья!

Парасковья принесла в руке толстых, длинных, самодельных, от угля воспламеняющихся.

— Ни еких, базарских надо.

Базарских не было в доме. Василису послали к соседям. В трех домах побывала она, вернулась с коробком, на дне которого бренчало десятка два спичек.

В моленной старик выкладывал. Выходит, выходит так, как написано.

— Егор Петрович неправды не глаголет. Словеса его, аки Писание, правильны.

В избе Викул на словах дополнил наказания Егора:

— Забыл он написать-то, так, говорит, скажи. Ране-то хоть и управляли мирской веры люди, дак они в бога верили, а ноне ставят нехристь. В городе нашим наполовину кыргызы сидят, по деревням тоже есть их приидсидатели. Ране-то ихова брата за собаку шитали, а ноне управители, от нечистова они, от нечистова. В бога не веруют, махмет-ка как-от тамо-ка.

Конон покачивал головой в такт рассказа. В кути плакала Парасковья, она жалела дочь свою, на последнее время свихнувшуюся.

— В кол이니 прямо к сатане самому угодит.

Вышла на улицу, через прясло соседке, куме Марине, рассказать.

В тот же вечер знала вся заимка. В избах перед иконами свечи горели. Маленьких ребятишек старухи заставляли молиться дома: моленная заполнилась народом с одной заимки.

После вечерни Конок Лукич о письме объяснил.

Из-под порогу на средину моленной выскочил Павел, сын Гаврила Микифоровича, ровесника Конона. Павел служил на действительной на Амуре, оттуда прямо на фронт, там три года отдежурил. Лицо у Павла красное, губы дергаются, кулаки сжимаются. Дышит он часто с силой.

Старики замолчали, рты разинули, старухи перекрестились В девичьей кучке кто-то сказал:

— Он им чичас вычитат...

Павел глянул на всех, на Конона глаза уткнул:

— На товаришша Ленина поносишь?.. За ково ты ево приставил?.. А ни знашь, хто нас из окопов отпустил по домам, ни знашь?.. Все бы там пропали, немец Рассею забрал бы, и каюк. Три года на фронте был, знаю! Керенски тамо-ка разны — войну до победы, а кому воевать-то охото? Ленин — он за народ, всех по домам распустил, пото-

му — свободу он сделал. А ты чо про ево?.. Ни он, дак чо с нами было бы. Лешак долговолосой!

Он повернулся, пробежал глазами старух:

— Все пеньки старые собрались хлопню слушать.

Старики сидели ошпаренные и молчали. Павел спиной к иконам, лицом к девкам, ребятам молодым, у двери столпившимся:

— Не слушайте старых дураков, только народ мутят, старый солдат всю правду про Ленина знат... знаю, слышал. За мужиков он, за правду стоит.

Конон пришел в себя, начал с низкой ноты:

— Богоотступник... антихристово семья...

В правом углу стариковском зашумели.

Конном грубее, ноту выше:

— Изженем те богохульника из храма сего.

Водопадом зашумела правая половина, на Павла полезла. Павел в средину молодежи. Пнул ногой старика седого, перевернулся тот на спину, о пол состукал. Через голову костыль стариковский пролетел, о стену ударился — промахнулся отец Павла и голосом диким заревел:

— Прокляну, постылятину бесовскую!..

Из-за печки летели пимы старух. Старые люди окружали со всех сторон. У дверей давка крепкая. Павел выскочил в прихожую одним из первых. В моленну крикнул:

— Ленин — товарищ наш, за нас стоит, он славный. Не долго накараете, гнилье старое!..

Молодежь шла позади и впереди Павла, прислушивалась к его разговору, со своим нутром советовалась.

— Гниль такая собралась да и выдумывает ересь таку!.. Я добро помню. Ленин сделал добро для народа, нам надо спасибо сказывать ему.

Долго искал старик Павла по притонам, хлевам. Ходил с фонарем в левой руке и палкой суковатой в правой. Нигде не оказалось Павла. В следующие дни никто не видал его на заимке.

ХП

Ехал Павел едва заметной тропинкой, ехал к кедрам. Молча едет, даже сам с собой не разговаривает. Черно на душе, как в полночь осеннюю. И сердиться не сердится и чернота сердце томит.

За что сердиться, они не виноваты, что окромя этого ничего не знают. Крепкой была заимка, твердой считалась, а тоже гнить начала. Вот хоть бы Аверьяна с Паланькой взять... Сказывали, Федул Василисе насчет пашмуры писал... Загнила старая заимка... Ну, может, к лучшему. Когда гниет назем — польза бывает, перегниет, с травой смешается и лучше расти все будет. Как им ни последнее времечко, раз детки не слушают, — ящерицей поползли думки через голову Павла.

По лицу хлестали косматые ветки, как зверь гигантский лапой с когтями острыми несмело, лебезненько трогал.

На маральнике Конона Лукича всю зиму Гурька один жил. Не первый год живет он у Конона — не боится.

— Здорово, Гурьян! — выбросил Павел при входе.

Гурьян приготовлял перемет — он положил его на колени, поднял глаза и от неожиданности рот раскрыл:

— А, Павел, милости просим, на лавку садись!

Гурьян не противился тому, что Павел остается с ним на маральнике на некоторое время, напротив, он рад. Всю зимушку один за кедрачами, надоело. Об людях соскучился. Тут за огородом умные звери гуляют, разговаривает с ними Гурьян, когда сена дает, но они только с любопытством разглядывают его.

Вечером варили чагу. Большая чага, еще в прошлом году нашел Гурьян ее за шумихой, а все еще с баранью голову. Пили долго и помногу. Павел выпил четыре деревянных чашки.

Спал на новом месте крепко, от храпа кровать дрожала.

На обратной дороге в кедрачах человек встретился, не здешний этот человек, не с гор. Видит его Павел в первый раз, а лицо знакомое. Видал где-то эту гладкую голову и бороду лопаточкой. Да ведь это сам товарищ Ленин. Точь-в-точь, как на картинке писали. Зачем он в горы приехал?.. Что гниль?.. Да я тоже говорю, гниль. Вот когда молодые вырастут, дак не еки дураки будут. А ты куда пошел? Живем-то ладно, только старики мутят. Правильной точки человек, за крестьянский народ стоит. Торопится куда-то, мало разговаривает. Много, видно, дел-то у него? Неохота отстать, повертывается обратно, проводить, рядом пройти. Что это?.. Где он?.. Нет впереди, нет сзади, куда делся? Сердце кошка царапнула. Легонько пошевелился, протянул ноги

и проснулся. Глянул в темноту, шарахнулся на кровати. Рядом спал Гурьян, за печкой скрипел сверчок.

— Видно, правду я говорил?! Какой он хороший, сколь ума в голове, такая гладкая, большая, как арбуз здоровенный.

Зевнул, рука дернулась перекрестить рот и на полпути остановилась.

Утром та же чага.

Павел в черный пол смотрел, как будто отверстие какое, в которое светлый луч пробивался, искал в темноте этой.

— А ты Ленина знаешь? — спросил он у Гурьяна, поставив деревянную чашку с чагой на стол и уставившись на кононова работника.

— Ленина-Троцкого-то? — переспросил Гурьян и швыркнул носом. — Слыхал, говорили про ево ране-то.

— Какой он человек, по-твоему?

Гурьян налил чашку, отложил сухарь, развел руками и задумался.

— Боль ево знат, малинькой ли, большой ли.

Павла как кто иголкой снизу кольнул. Вскочил на ноги, стукнул кулаком по столу, так что из гурьяновой чашки плеснулось ему на колени.

— Ты так у меня не говори. Боль знат только наших заимских, а про Ленина так нельзя... Он за хресьян.

И сказал то же, что и в моленной говорил.

Гурьян сидел с разинутым ртом, будто он им слушал, а слова летели мимо, одно сидело к голове: почему он Ленина-Троцкого только Лениным зовет. Спросил.

— Троцкий другой человек, ну, пособник тамо-ка Ленину по государству.

— А... Я думал один он, ране-то говаривали у нас, колды гумажки-то давали, котора за Ленина-Троцкого, котора там за других... два видно их.

Гурьян еще шире развел руками. Из стоящего на столе котелка выскочила вверх последняя струйка пара.

XIII

Всю неделю постовала заимка Конона Лукича, на белой воде жила. Крепкие старинные люди и так могли трое суток без еды прожить, проработать. Под конец житья хотели показать себя крепкими. Всю неделю не стряпала Парасковья, в голбце в квашне позеленело старое тесто,

оставленное вместо дрожжей от последней квашни. Мешок с сухарями стащила с чердака, по снегу рассыпала. Три дня собирал сухари в снегу поседевший от времени Катышко. За сухарями полетело сверху вяленое мясо, три года вокруг карнизов висевшее. Так распорядился Конон Лукич. Расподать нищим все, так откуда они на заимке?

Пестрел снег съедобьями разными. Дрались собаки около жирных кусков, хрюкая, выкатывались из-под крыш свиньи, лакомились мясом. Гаврило Микифорович каркал около амбара. В белой рубаше без шапки он старался над хлебом. Пудовка за пудовкой выскакивала из амбара, переворачивалась на плече: потоком сыпалось золотое зерно, снег украшало.

— Зачем земное... Все земное тлен есть, токмо на грехопадение соблазняет оно.

Вокруг вились курицы. Черный большебородый петух картаво керкал — он подавился ячменем. Из станки выглядывал Лысанко, потихоньку ржал, ногой снег скреб, не слышал хозяин — не до него. Задорило зерно Лысанка, слюнки текли на губу, грудью налег на вороцы — встречали. Взлегнул от радости и — языком пшеницу залопачивать! Из пригону вышли остальные лошади. Старик таскал с молитвой, с ненавистью на все земное.

— Все надо было завидному. Грешник я, грешник великий, все берег куды-то, а вот чичас ничо не надо стало. Погибель токмо от богатства-то, писано есть: «Лучше верблюду в игольные уши пролезть, чем богатому в царство небесное внити».

Увидали соседи и также с пудовками к амбарам.

Жаль Василисе добра. Кто его знает, может, последнее времечко, может, и нет, мог ошибиться Егор Петрович в расчетах. Либо помрем, либо живы будем. Надвое бабушка сказала. По вечерам, когда вся семья была в моленной, подолом таскала выброшенные сухари и мясо и прятала на хлеве под сеном. Палками отгоняла свиней, собак. Едой подкрепляла себя между делом. Василиса девичью красу прожила, можно и умирать, только вот Федула бы повидать еще. Неужели и Федул умрет?.. Повсеместно говорят, что будет страшный суд.

Второй год доходил, как Василиса одна, истомилась без мужа, хоть бы одну ночку, а там пусть и страшный суд,

все одно умирать тогда-то. На этом месте думка остановилась, как за пень вековой задела. Недоверие к старикам клином в голову лезло.

Дни проводил народ в моленной. Молились и ночь и день. Молились на голодное брюхо, очищались. Плакали ребятишки по хлебу. Матери старые кышкали их, поили молочком, молочком можно — святая пища оно.

По вечерам Василиса залазила на хлев и подолгу грызла сухари. Из моленной она всегда норовила убежать, што там нагрешил ране, дак теперь все одно не упросишь, богу сейчас не до этого.

В огороде у Гаврилы несколько горок: гнедая, вороная, рыжая, сивая и много маленьких. Горки грызли собаки, долбили сороки, вороны. Проходя мимо, старик не глядел на них, — бог с ними. Пропали и только, они сейчас не нужны.

Над займой стаями носилось воронье, раздражающе клекало.

К светлому воскресенью слабые изнемогли. В моленну на носилках принесли их. Очистился народ, весь в белое нарядился. Конон Лукич в проруби выкупался, последний раз нагой по снежку притаившему покатался.

— После баньки дак ишло бы лучше! — подумал Конон Лукич, вылезая из проруби, отмахнулся от помышлений сих дьявольских: нечистой дух это напоследок мутит.

Земляные лица у молящихся. По пухлым щечкам девок текут крупные слезы. Жить, жить хочется девкам, жить и любить. Сталью налившееся тело ожидало любви, понежиться на груди кудряватого парня, мужа будущего, хотелось непотревоженному.

Марьке, сестре Павла, как комар назойливый в теплый летний вечер, лезла в голову думка.

— Может, зря все сказали старики, у их это бывает. Онамедни тоже говорили — зима студеная, лето жаркое будет, а и не вышло по-ихнему — когда летось жар-то был?.. Все стужа да дождь. Богово дело почем знать?

Ночью нараспев читали страсти христовы. Те годы, как страсти, так старухи спать. Сейчас сидят, зевают и после каждого зевка рот перекрещивают.

Медленно тянется время, будто катушку его кто-то затормозил, не развивается она — не дает новых картин. Вот совсем остановилась жизнь, тихо-тихо, стоит — не шелохнет-

ся. В животах скребут кошки, под сердцем сосет теленок, от этого и время останавливается. Скорей бы уж один конец! Вот-вот вспыхнет заревом вся земля, грехи загорят, ну тогда быстро все закружится, сгорят грехи, чистой, белой будет земля. Тихая ночь, березка не шелохнется, петухи молчали. Что это, неужели и они чувствуют конец? Конон Лукич глянул в окошко. На дворе темнота густая-густая.

— Сказано в Писании де-то, што придет господь в тихую ночь, в темную.

За Кононом потянулись к окошкам морщинистые лица, по несколько сразу в стекло упиралось.

Баюкает зыбчатый, серебряный голос чтеца, на глаза серая пленка наволакивается, незаметно шептание старух усиливалось. Самовольно закрывались глаза. Качалась голова, нос клевал воздух, как кулик болото. В бок локоть соседки ударял, подымались веки красные, глаза смотрели по сторонам.

— Осподи, чо жо еко-то?.. Колды уснула и не слыхала штоисти, — и старуха крестилась.

После пятой главы слушали только крепкие старики. На левой половине моленной шипенье, свист носовой, воздух там тяжелый, неприятный.

По времени минувшему светать бы надо, а темнота на улице еще больше сгущалась. Год, а не ночь.

Около полок с иконами Гаврило Микифорович резал свечи восковые начетверо, горкой складывал, готовился к встрече Христа.

По правому углу моленной кто-то большой-большой (так показалось Марьке) пальцем шелкнул, по всем стенам раскатился щелчок в помещении, запел. Щелчок шилом в сердце старушке. Дернулись телами, глаза кверху сбросились. Конон Лукич уже вниз лицом на полу лежит и молитву какую-то читает. Снопами повалились на холодный пол люди, кто какую молитву хорошо знал, тот ту и читал. Гаврило дрожащими руками держал обрезки и зажигал их и одним голосом нырковатым запел: «Христос воскрес». Бегал взад-вперед, топтался на месте, под коленками билась жилка, сердце грудь расколачивало. Тряс за плечи на полу лежащих, совал в руки огарки зажженные.

Опять кто-то чикнул по зауголку. На божнице зазвенели медные иконы. За печкой Секлетиныюшка голосом диким ревела:

— О, всепетая мати рождшая...

Ближе трещали:

— Достойна есть, яко воистину...

Запахло гарью.

Вплелся один несмелый голос петуха, зачинщика подхватили хором соседи.

— Полночь, скоро придет осподь батюшка... Вот-вот затрубят трубы архангельские.

В левой половине струйка дыма лезла к потолку, у Феклы больно щипнул кто-то бок, не вытерпела и взревела:

— Ой!.. Хто это меня?..

Вскочила на ноги, перед глазами человек — не человек, кости одни, в руках ножички, щипчики, а за плечами коса стальная. Смерть.

Глянули на Феклу — левый бок голешенек, красный червяк ел сарафан под пазухой, во весь бок прореха, тело видно.

Старухи плевали слюну на красного червяка, давили его пальцами.

Снопам на посадке лежат люди.

— Почему так долго?.. Петухи давно пропели.

В низкое помещение сквозь сине-зеленое оконце язычок света проскочил. На востоке заря алелась.

Молча поднялся с полу Конон Лукич — ни с кем ни слова — запел: «Христос воскрес, смертью на смерть наступил и гробным живот даровал».

Старухи вздохнули.

— Согрешили грешные, окаянные, пытат нас господь многомилосливый, ишшо срок на покаяние дал.

У Марьки вслух вырвалось:

— Слау богу...

Глянули на ее большебородые, головами покачали, одно слово и не понутру им пришлось.

Расходились молча, кума куме ни слова.

XIV

Два праздника враз: пасха и благовещение. Заимка угрюма, заимка не радуется праздникам, она молением занята.

Дома Конон с сыном молчали, молчали и бабы. Но живот не давал покою. Ждал старик, когда сын распорядится, а сын молчал.

— Поди ись чо-то надо? — голосом строгим и глазами на Парасковью.

— Чо ись-то, вытаскали все дак?..

Вышла на улицу крошки сухарей пособирать. Василиса три пригоршни сухарей с хлева притащила. Запили водой холодной, ели молча, сопели носами — первый день пасхи, светло христово воскресенье и такая еда.

В амбаре на пятах уцелело два мешочка: один с семенным горохом и другой с крупой просеяной. Парасковья затопила печь, поставила варить кашу и горошницу, в деревянной полатухе намочила гороху.

В домах заимки плакали дети, заботливые матери кормили их капустой, огурцами солеными, ягодой сушеной. Резали уцелевших овец, свиней, коров. Творили грех большой — на пасхе резали, ничего не поделаешь, тело просило пищи.

Ждали еще день, еще ночь и веру в слова Конона, веру в письмо Егора Петровича терять стали.

Во вторник пошли Конон с Максимом на маральник. У опоясок ножни, кожей обтянутые, болтаются, в ножнях — ножи остроконечные. У Максима за плечами малопулька торчит, на боку натруска калачом болтается. Там лошадь, но лошадь сгодится. Там полтора десятка маралов, дорогой зверь, но голод не тетка — свое возьмет.

Позади кедрачи, впереди небольшой перевал, а там по косогору изгородь высокая, крепкая лепится.

У прясла-изгороди маральника пятистенная избушка, низкая труба дымом плоется, с дымом мухи красные вылетают, кверху поднимаются и там теряются в изморози апрельской.

— Видно, чагу варит Гурька? — сказал Максим, заметив дымок.

В избушке сидело двое: работник Гурьян и Павел. В печке кипел котелок. Гурьян скоблил крошки от черного каравая чаги, бросал их в кипяток.

Отец с сыном помолились медному распятию, отец с сыном враз сказали:

— Здорово ночевали все крешшоны!..

Гурьян, растянув до ушей улыбку:

— МИЛОСТИ просим! — ответил.

— Как раз чагу пить подошли, — сказал Павел.

Отец с сыном не ответили. Конон стукнул костылем в грязный пол, с потолка посыпалась земля сквозь щели.

— Кто ты пустил сюда, богоотступник?..

— Сам пришел! — ответил Павел.

— Пришел на чужо займишшо, да и живешь, хто тибя знат, чо ты туто-ка делаешь...

— Худого я вам тут ничего не сделал, а так живу себе и только. Ну а как там у вас нашшот пришествия-то, колды будет начинаться?..

Лицо старика дернулось, седые брови крыльями хлопнули, долбнул пол избушки наконечником костыля.

— Изживу духа ничистова из хоромины сия...

Павел, не торопясь, вышел на улицу. Старик насел на Гурьяна. У Гурьяна в голове, как говорили мужики, винтика одного не хватало, потому он и работник заимочной. Одинокий он — ни своих, ни родных.

— По чо ево запустили туто-ка?..

Гурьян глядел на потолок, как бы считая там тараканов бегающих:

— Да как без ево-то?!.. Он чагу варит, сказки сказывают. Маралы при ем лутче как-то, смиреннее. С им баско туто-ка. Один зиму жил, как таракан в шиле.

Гурьян имел единственного в хозяйстве Савраска, помещавшегося под крышей, на четыре столба взъерепенившейся. Подвел к Максиму. Конон дернул поводья:

— Давай сюда!.. Сам-от лутче ишшо вашего справлюсь. Ты, Максим, в случае чо, дак ружьем орудуй!

По-молодецки на спину Саврасого завернулся, в левую поводья, в праву руку веревку волосяную, длинную.

Гурьян отворил ворота в маральник. Въехал Конон, вошел Максим с малопулькой, стал у ворот Гурьян. С саней поднялся Павел и тоже в маральник.

Тонконогие животные у кормежки толпились. Место, где сено дается, утолчили. К всаднику подозрительно, боязливо. Старый марал наострил глаза, старый марал мотнул головой и под гору. За старым маралом мелькнули длинные ноги животных.

Который раз гонится за старым маралом из-под горы Конон. Старый марал умный — в загон нейдет, с пригорка на пригорок поскакивает. За колодиной, гнилью пах-

нущей, лежит Максим. Который раз прижимает к плечу ложу малопульки, водит глазами, водит стволом, нажать крючок спусковой хотит, стрункой проскочит зверь — и догоняй в поле ветер! Саврасый вспотел, хлопья пены белой давал.

Максим еще не старик, у Максима сердце мягче, Максим рассказал, почему старого марала убить хотят. Павел покачал головой и глубоко вздохнул.

— Что жо ты, Максим, веришь, отцу со стариками-то?..

Максим ответил не сразу.

— Близко локоть-то да не укусишь его. Как бы не еко дело, дак верил бы... Без скота, без хлеба чичас совсем остались.

На последнем слове голос Максима дрогнул, ржавчиной подернулся.

Молча поворотился Павел и молча, с низко опущенной головой, направился к Карьку, у саней стоявшему. По тропинке к заимке понужал рысью.

Солнце напоролось на острие старой пихты, что на первом пригорке за рекой стоит. По веселому глазу старого марала паутинка протянулась, глаз тускнел и тускнел, грустью подергивался. Последний раз шевельнулась ресница.

Конон Лукич один вытащил его из маральника. Торопливо отрезал голову, в сторону отбросил. Взялся за кожу, оснимывать начал. Кто-то иголкой острой до боли сердце ковырнул, с сердцем бросил нож, руки в седые космы. Самолучший марал, старый он, а еще бы на лето принес доходу сотни две: хорошие панты росли у него, ветвистые, полные.

Из-под соседней колодины выглянул глаз марала — светлый, веселый, как у живого, только что не моргает. Терябил седые космы, шел в глубь пихтача, запинался за чащу и колодник. Старый марал, а самолучший, теленком родящимся видел его, а это к счастью, ране-то говорили. Вот тебе и счастье.

— Не обдумал ране-то, дурак! — вслух проскрипел Конон.

Из старческих глаз его капелька за капелькой текли слезы.

XV

На заимке не осталось и половины скота.

Был еще четверг пасхи. Четверг, пасхальный день, не праздновался, как в прошлые годы.

Конон Лукич встал рано, с зарей, разбудил сына.

— Не время типерича спать-то, подем скорее!..

С восходом солнца вышли в лес, в горы. С ними был старый седоволосый Катышко. Пошли на медведя, из берлоги он вот-вот вылезать будет.

Старик Гаврило присмирел, на проборку Павла ни слова. День по дню сидел он на печи и отсчитывал поклон за поклоном.

Суетилась заимка, потерянное наверстать работой хотела.

Конон с утра до вечера бегал по двору, по лесу, с топором в руках, рубил, тесал.

— Стыд от добрых людей будет, ежели сыну, внукам наделку не оставлю.

За усадьбами вырыли сообща яму большую, вздувшиеся трупы животных туда свалили.

Даже в праздники большие, двенадесятые, в моленну только на минутку забегал Конон — суетился. Бога умоливал о смерти своей ночами, когда крепкий храп висел в душном воздухе избы.

Василиса с пищи плохой да заботы похудела, тело одрябло, лицо осунулось. Надо письмо мужу написать и некому. Раньше-то все Аверьян писал. Письмо-то еще мало-мало, по печатному, напишут, дак вот адрес... не с чего адрес писать — последнее письмо сжег старик в печи. Со дня на день ждала второго письма, да когда его дождешь, ежели месяцами никто из займочников в деревне не бывает — все в хозяйства свои ушли, работой завалились. К ворожейке в деревню ездила.

— Ой, деванька, свиданье тебе, нечаянное свиданье!

Петухом вызграло сердце Василисы, на обратной дорожке резко плеткой Саврасого подстегивала. Один теперь Саврасый, от работы исхудал, а все же бежал быстро, мелькали заросли, поляны, камни. Тихо казалось Василисе. Тихо Саврасый бежит, тихо вода в реке шумит и тихо жизнь катится. Эх, раскатать бы ее, чтоб скорее то времечко, когда муж вернется!

Свекор встретил у ворот.

— Чо, нету письма? — спросил он.

— Нету-ка!..

— Ты бы уж там поворожила об ем, чо с им тамо-ка!..

— Я и так ворожила.

Наспех расспрашивал Максим, торопился расседывать.
— Старик Михаила задушил в гусиной пади, надо ехать скорее...

XVI

Троица — большой весенний праздник.

После бани Конон Лукич выкупался в речушке и сидел на бережке, ноги поцарапывал. В моленной ждали шесть старух. Послали Матрену в разведку.

— Не пойду! — ответил Конон.

Старуха просила от всей шестерки.

— Сделай милость, Конон Лукич, праздник-то большой завтра, страшно ведь так-то!

— Тибe сказано!..

Встал и в ограду молча пошагал.

Щелкнула щеколда ворот, в ограде появилась серая фигура с остроконечной головой.

— Хто екой?.. Голова-то, как у ничистова.

И Конон Лукич остановился, широко расставив ноги, левую ладонь зажал в кулак, правую в крест истовый, двухперстный сложил.

Остроголовый подошел к Конону и протянул руку.

— Здравстуй, дедушко!

Конон попятился назад, смерил с ног до головы. Опять остановился взгляд на остром громоотводе. Нечистой!

— Чур мне, чур мне! — заревел Конон и попятился к амбару.

Беспрестанно крестился и чурался.

Из дверей вынырнула Василиса — она со жбаном деревянным в погреб за квасом пошла. На пороге остановилась, съухала, жбан выронила и бегом к нему.

— Милинькой ты мой, Федулушко, да как я об тебе стосковалась!..

Повисла на шее, от радости плакала без удержу.

В избу Федул вошел первым, за ним хвостом семья. Шапку островерхую на окно бросил.

— Здравстуйте! — прозвучало по-новому и страшно в старых стенах.

Никто не ответил, только Василиса вьюном ходила.

— Разболокайся давай скорее, чичас я ужинать соберу!.. Поись с дороги-то хошь вить.

Сбросил котомки, снял шинелку, на старую лавку широкую опустился. Дедушко стоял у порога, глазами, кровью подернувшимися, человека шил. Максим тихонько промышчал:

— У нас покедова ишшо, сыночик, богу-то молятся!..

Ответил не задумываясь:

— Ничего против не имею. Можете идти молиться, я и один посижу покудова.

Василиса стол в угол передний выдернула, скатертью новой накрыла.

В кути волчком крутилась.

— Де жо жбан-то?.. На вот тибе, он куды девался? Вот ишшо?..

Остановилась, вспомнила.

— В сенках уронила давеча. От радости-то и память потеряла.

И бегом в сени.

Фекул оглядывал избу. Такая же, как и два года тому назад была, черная, угрюмая, старая, со старинными позеленевшими иконами в углу, только вот гнили прибавилось. Вся изба из гнили, стены ее — гниль черная, и запах в ней такой тяжелый, гнилой.

Разговор с немоляхой не вязался. Нехорошо с такими людьми разговаривать без привычки. Молчание надоело Федулу, с улыбкой спросил:

— Ну дак как у вас тут со светопреставленьем-то?

Отец с сыном покраснели, запыхтели.

— Об етим не говорят у нас. Вишь, безо всего остались! — ответил отец.

Дедушко подошел поближе:

— Нельзя, внучек, бога гневить! Шибко рази охото в ад кромешной попасть? Де ето слыхано, штобы не молиться? Покарат осподь за ето...

Фекул сидел в военной гимнастерке, на бортике ее цифры красовались: «66».

Конон осматривал внука внимательно, переходя от ног к голове.

— Без голенишшов обуви-те. Чем-то вон каким ноги-то обертел? Шаровары тоже не руйски, с мешками по бокам. Ране-то солдат придет в черном мундире, пуговики сверкают, погоны, а ноне чо... Рубашонка кака-то.

Дошел до подбородка. Стукнуло по голове. Глазам сво-

им не верит. Сначала две маленьких шеститки. Растут шеститки: с пол-аршина, со стол, с человека, с березу.

— Антихрист!.. Дух ничистой! — вырвалось из груди с хрипом и болью.

Вертелись шеститки, прискакивали, все умножались и умножались.

Остановились огромные, светлые, — глаза режущие. Две их только, но в старческих глазах троются. Попятился к западенке.

— Господи!.. сбылось... сбылись пророчества... Сын погибельный приде.

Опять завертелись шеститки перед глазами. Бураном вьются, глаза колют: откроет глаза — полные снега жгучего, зажмурится — так же скачут шеститки, но глаза все же не колют.

— Тятя, ты чо?.. Чо ты?... Это Федул. Ты чо, бог с тобой? — успокаивал отца Максим.

Парасковья убежала за водой.

Тише и тише крутились шеститки, одна с другой сливались, смешивались. Кровь подливалась в них — краснели и краснели. Вот совсем остановились. Кроме красного — ничего, красное полотно висело перед глазами.

Пить не брал. Верхние зубы спаялись с нижними. Рот не разевался. Стопились вокруг старика. В правой руке крест, в левой кулак, как и на дворе при первой встрече.

— Эх, старый ты, старый!..

И Федул покачал головой.

Со всех сторон бежали люди, спешили повидать красноармейца.

Спали на террасе. Ночи стояли холодные, северистые. Два тела слились в одно — под тонким, одинарным одеялом тепло. Василиса потными руками, как клещами, обхватила Федула. Прилипла губами и не отпускается. Душно Федулу, головой крутит, а она, истомившаяся, заждавшаяся, целует и целует.

Там в избе дедушко? — Да что дедушко, — завтра будет день, будет и разговор о нем, а ночь наша.

Пошарил рукой по подушке Федул, голову Василисы пощупал.

— Это что такое?

Без слов догадалась. Не любит он так-то, в письме тогда еще писал — не носи. Ну я разве виновата, с ними ничо не поделаешь, сними шашмуру — скажут, закон потоптала, выгонят. Что она мне, лишь бы жить любко было. Нагляделся, видно, там на бесшашмурниц-то, поглянулось, вот и не надо. Кака от ее баса-то тоже. Тятя с мамой узнают — забранятся? — Ну и пусть бранятся, чо они мне, у mine вот защитник есть типерича.

Сдернула с головы старый закон, в руках рванула — стрещал закон и через терраску в грязь шлепнулся.

Рассказала о письме сожженном.

— Кафтан твой в ящик заставили положить, штобы не запылится.

— Нужен-то он мне чейчас!..

— Мне тоже шашмура не нужна.

И Василиса еще ближе подвинулась к Федулу.

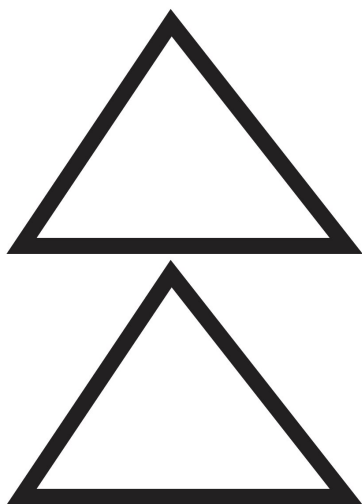
Восток еле заметно голубел, пели полуночные петухи...



Připraveni do boje k »bílení«.



Михаил Скуратов



Михаил Маркелович Скуратов (1903—1986) родился в крестьянской семье. Семья переехала в Иркутск. Окончил 3 класса железнодорожной школы. После двух лет учебы в Горном училище в Иркутске работал в шахтах, чернорабочим, сплавщиком, конторщиком. В 1922 поступил на восточное отделение внешних сношений Иркутского государственного университета. Одновременно работал в губернской газете и участвовал в литературной жизни Иркутска. Там и начал печатать стихи — в периодических изданиях и коллективных сборниках. В 1922 переехал в Москву, где вначале учился в Высшем литературно-художественном институте им. В. Брюсова, а после его закрытия — на литературном отделении МГУ (окончил в 1928). Автор более десяти поэтических книг.

Котел

ПРИСКАЗКА

182

У каждого своя манера рассказывать. Давно и я уже удумал поболтать о том, что мне виделось, что мне слышалось на моем небольшом веку. Вот и сейчас к слову. Было одно такое дело. На стороне. Давненько уже, пожалуй. Такое, что трудно поверить. Скажут, что сказка... Да мне врать не для чего. Было...

Есть на берегу Байкальского моря-озера селение одно — Култук. Гиблое место, считали ранее, да и теперь, пожалуй.

Стоит Култук-село между скал, в щели. Щель эта узкая и длинная, что твоя водосточная труба. Справа — один косяк высоченных гор, слева — другой в поднебесье упирается. Оттого и щель. До самой Монголии тянется, про-

клятая. У Култука она упирается прямехонько в Байкал. Похоже на то, что стеганул мужик саврасых, а саврасые-то кони расперли так шибко, что натянул мужик вожжи, да изо всей силы уперся в передок телеги... Да и Байкал-то тоже щель ладная. Только ранее она посуху шла, а тут по воде куролесит. Вся и разница.

И дуют ветры непогожие, ходуном ходят вокруг Култука, — то со степи свищут, то с моря задувают.

Да вдобавок по бокам скалы щека-щекой висят, да тайга дремотная щетина-щетиной стелется. Если б не железная дорога, что село насквозь прошла по самой по середине, да не кочевой удобный тракт в Монголию, по самой щели распластавшийся, не бывать бы Култуку! Дико и гибло, да зато красивее места трудно найти.

I

Жили-были себе мужики Култуцкие...

И вот не ждали не гадали ни девки, ни парни, ни сами мужики с бабьями, — только все шиворот-навыворот поехало. Дым коромыслом пошел.

— Кутерьма поднялась, по приведи восподи! — старухи горевали. — Так было дело-то, сынок. Стреляли, стреляли, а хто их знает, не разберешь. Только к вечеру зашли в село не русские люди. Шапочки малюсеньки, набекрень; посредине — разрез махонький, ну, пирожок пирожком, а на шапочке — ленточка, одна половина белая, другая — красная...

Говорили еще мне старухи, что рубашки на чужих людях были русские, сукно защитное да хорошее, ремни кожаные — замечательные, штаны — бутылочкой, галифе называются, а вместо сапог — обмотки сукна зеленого... Сами-то гладкие и лопочут чудно, а порой слова два-три как будто на русские смахивают.

Утром бабы шепчут уже, — оканные:

— Чеки и слобаки пришли... Загранишны... Иркучьк-то взяли, таперча из Иркучька прут; наших перестреляли, не приведи восподь!

К полудню мальчишки бегали по задворкам и захватски разносили новости:

— Чеки и слобаки по избам селятся. Водокачку сожгли, а станцию комендант ихний занял...

Отцы издали показывали детишкам монгольские плетки. Ребята — врассыпную. К дедушке Маркелу забежал с перепугу внук Миколка.

— Чо бегаешь? От отец-то задаст тебе. Будешь егозить. Каки люди-то пришли?

— Чеки да словаки, дедушка!

Мальчонка осмелел, лихо сплюнул сквозь зубы и, осклабившись, добавил:

— Наши ребята их не так ишпо зовут...

— Ну-козь, как? — дед поглядел через плечо. В дверь входил отец Миколки. В руках бич. Миколка отца не видит и очень даже бойко кричит. На лице задор.

— Черти да собаки пришли, дедушка!

Плохо пришлось отважному парню за такие собачьи слова. Долго ходил по его спине бич, из Монголии вывезенный.

— Лешав черт, — бурчал отец, — из-за тебя ишпо головы не снесешь... Долго ль до беды? — покачал головой.

— Расстреляют... В тако время тако баловство. Ты чо, парень, сдурел, чо ли?

Мужик Михайло Непомнящих (это и был он самый) — мужик толковый. Не знаю, за что зовут его поулично «поселенькою кишкой» (хоть он и старожил). Как пришли чехи да словаки, все и думал думу, как бы голову снести и хозяйство соблюсти. Ночью-то с женой что было нужного да не дешево купленное — все попрятал... С собаками не отыщешь. Что под землю, что в колодец упихал, что в хлевах да клетях рассовал, а что и в самый Байкал умудрился утопить на веревочке неглубоко... Дошлый мужик! Все попрятал, что прятать можно было. Коней да коров раньше в степи угнал, благо таврены все.

Одно беда — котел артельный некуда деть! Еще от дедов по наследству дан ему. Когда артели крестьянские рыбачили либо тракты чинили, то завсегда этот котел за собой возили. Всю артель один обслуживал.

Щи да кашу в нем варили, а то и штаны в нем стирали и полоскали. Целого быка в нем утопить можно было... Да и большой, проклятуший!

Чугуна одного пудов... черт его знает, сколько будет! Так лежит на дворе, в землю зарылся. Ни скovyрнуть его, ни поднять одному. Думал, думал Михайло. Как быть? Руками развел... Решил:

— Да ну его к лешему. Пусть валятца. Кому он нужен, этакой чугунице?.. А возьмут — пусть берут... Таперча артели маненьки стали... На кой он?..

Постучал пальцем по чугуну... Хорош... Аж гудит, что твой колокол в Иркутском монастыре.

— Оно, конечно, в хозяйстве всяка вещь дорога, продать бы можно за добру цену, да чо сделаешь?.. Авось не возьмут...

Так к валялся котел в навозе до поры до времени.

II

Было под осень. Мужики по ночам Байкал слушали, благо на берегу обжились да обстроились...

Байкал не то чтобы очень любили, но иначе как морем не называли. По ночам море в самую тихую погоду ревело ревмя, так что спросонья мужики думали:

— Опять поди быков из Монголии гонят... Гуртов десять без малого... Ишь орут...

Байкал под осень всегда орет истошно. Вода — чернее смолы, пены — видимо-невидимо... Горы да скалы крутые тоже нахохлились. Сердитые — страсть! Тучи по ним ползут злющие, хотя дождя еще нет. Ветры задувают — вырви глаз, тошно смотреть на белый свет! Столбы телеграфные ноют, чисто над покойником бабы голосят.

Чехословаков в Култуке не убавилось. Жили хорошо, мужики сказывали. Жрали здорово, спали еще здоровей. Баб и девок култугских мало трогали, должно быть, не нравились. На рыло не вышли... Ну а мужикам и лучше!

Култугские девки — ядреные. Щеки — арбузы целые, груди — сами собою кофты распарывали. Вот девки! Ну а на лицо, пожалуй, для кого и не вышли. На буряток смахивали.

— Ладно, что на мурло-то неказисты... Всех бы девок загранишны испохабили... — говаривал дед Маркел.

— Ладно тебе уж, — огрызался Михайло, — еще услышат... Нашто им наши девки?.. Срамота одна. У них звон своих сколько, городских...

— Все одно, русски...

— Дуры бабы... и русски-то... Тьфу!..

Чехи расселились по избам, часть по вагонам расположилась. Навезли с собою жен не мало, русских все более. В Сибири обзавелись. Почему не обзаводиться было, коли сами на шею кидались?

Убитых своих чехи хоронили на сельском кладбище. Музыка была такая — горы грохотали. Эхо семь перекастов делало по горам по байкальским... Потом стрелять начали, холостыми из винтовок да из пушек... троекраты... Жару задали такого, что до сих пор в Култукке помнят это дело...

Пригласили чехи мастеров своих да памятник соорудили на диво. Камень достали серый, чесали его, кололи, шлифовали и сварганили столб остроконечный. Вокруг столба из камня серого изгородь да тумбы наделали да разные фигуры с надписями высекли, а наверху орла каменного посадили... Так-то браво вышло.

Дивились мужики, а еще больше тому, что поп култукский, отец Иоанн, отпевал покойников вместе с попом нерусским и проповедь говорил, благо в Култук на ту пору приехали русские казаки, офицерье и прочие господа.

И-и, красно же говорил отец Иоанн, как никогда не говорил ранее, ни на Пасху, ни на Рождество! Мало поняли мужики, да кое-что укумекали в головах своих нехитрущих.

— Чехи — это наши братья славяне, освободители... Скажу вам, православные, что угнетали их пятьсот лет исконные враги веры православной и русского народа — немцы, те самые немцы, которые хотели и нашу Русь святую к своим рукам прибрать, да господь-бог не допустил нас до греха этого... Но неисповедимы пути господни, дорогие братья и сестры, послал он новое испытание... Пришли большевики...

Батюшка говорил немало. Речь его переливалась и журчала, как волны байкальские по песчаной косе и по галькам.

— Ай и краснобай! — шептали мужики.

Говорил отец Иоанн, что чехи-де наши спасители, что это-де герои, которые и себя освободили от немецкого ига страшного, и Русь святую от большевистской заразы и смуты. И под конец сравнил большевистскую армию с Голиафом, а чехословацкую — с Давидом, что вот, мол, де, маленький, маленький Давид, а победил этакого силача — Голиафа.

Не забыл отец Иоанн и мужиков. Заговорил о Давиде с Голиафом да и спросил в ту сторону, где мужичье толпилось.

— Так ли я, чадо, говорю? Пастырь ваш, пастырь стада, вверенного господом-богом вашим, и не в руке ли божией дано было дать победу юному Давиду над свирепым Голиафом?

Мужики переглянулись и переступали с ноги на ногу. Так-то так, да что сказать? А не сказать нельзя, плохо, да и неловко. Выручил-таки Михайло, мужик смышленный и толковый.

— Чо и говорить тут, отец! Мал золотник, да дорог. Без бога не до порога...

Отец Иоанн блаженно ухмыльнулся. Улыбнулись и господа образованные, улыбнулись и чехи-словаки, как улыбаются глупому дитю-несмышленочку.

Мужики ожили, затормошились, заговорили скопом, впопад и невпопад.

— Чо тут говорить, отец Иван... Известно... сила соломинку ломит... Куды ты, туды и мы... Чо ты, святой отец, то и мы... Мы народ крестьянский... Наше дело сторона... Нас не шевелят, и мы смирно сидим. Конечно, где же Давидке с Гольяфом сладить, коли не господь...

Отец Иоанн слушал, немного склонив голову на бок, — пристойно, скромно и тихо. От радости он перебирал цепочку... Ему было очень лестно перед таким блестящим сборищем, где и офицеры, и генералы, и графья даже есть, слушать беспорядочные слова своей паствы. С виду-то кажется, что мужики култукские в нем души не чают, как и истинном пастыре христовом.

— Куды ты, туды и мы, мол...

Еще долго бы гуторили и тарабарили мужики, да грянули жерла музыкальных труб и заглушили ненужный мужичий шум.

Похоронили Давиды своих Давидов, ружья — на плечо, кругом — марш! — и айда по домам. Мужики тоже, головой покачивая да Михайлу Непомнящего похваливая.

— Кабы не ты... конхуз был, паря...

Слава о Михайле по всему селу пронеслась — дошла она и до самых чехов. Изба у Михайлы большая и светлая, места в ней много, жена у Михайлы — хозяйка добрая и опрятная, и нет лучше помещения для командира какого или для другого чина подходящего.

III

Дело к зиме подходило. Еще на Байкале берега не запахнулись в ледяные коросты, еще черные волны с белыми гребнями ходуном ходили на привольи, но на скалах захребетных, на острогрудом Хамар-Дабане — горе знаменитой, на верхушках сибирских кедров, на статных лиственницах — уже порошил снежок.

Ветер был злей и привередливее, и телеграфные столбы гудели жалостливее.

— Эка, погода кака, — думал Михайло, тоскливо уставившись в окно. Видел: море пучилось, вдали и вблизи лопалось на части, бросалось на скалы, кусало их и по отмелям рассыпалось с грохотом. Близкие горы слезились туманами, дождями и снегами. Острогрудый Хамар-Дабан уже спрятал макушку в тучи, будто шапку нахлобучил до отказа.

На дворе валялся все тот же чугунный котел... Сирота сиротой.

— Черт, надо бы под навес стащить, да силы нет. Продать бы... Денег стоит, а то ишшо на пушку перельют.

Михайле становилось не по себе.

— Фу ты, херовина кака!.. Не догадался я его в назем спрятать. Вечером же целый воз на него опрокину, пока не заприметили...

К вечеру мужик лопатой, граблями, да вилами ковырял в хлевах, под навесом, в телятнике у себя.

Вдруг щелк-щелк... Кто-то стучал в ворота. Паршивый пес Мухорко силло залаял.

— Каки ишшо таки гости? Как нарошно холера вас тут носит... — калитку приоткрыл легонько.... Думал, свои...

— Тьфу ты, язва вас, — подумал мельком и отшатнулся: перед ним, не сгибаясь, из-под земли выросли три чешских офицера. Один шагнул вперед, звякнул шпорами и приложил руку к козырьку огромной фуражки, похожей на кастрюлю с ручкой.

— Наздар...

Михайло оторопел, попятился назад. Слышит давно всем надоевшее и осмеянное.

— Я чэшский комендант... Могу просить вас дать комнаты господину доктору...

Неловко Михайло сам приложил руку к изодранной шапчонке (под ложечкой что-то заныло).

— Сюды, милости просим, восподин дохтур... Сюды пожалте...

Доктор был сухощавый и пожилой. На прямом носу очки большущие ладно сидели — в черепаховой оправе.

В избу вошел, губами пожевал, головой одобрительно покачал. Покорный Михайло отвел нарядную горницу сухому чужестранцу.

— Хорошо, мол, здесь... Лучше места где, мол, найти?

К ночи доктор переселился на новоселье. Натаскали ему денщики всякой всячины. Книг одних сколько, банок, склянок, инструментов разных — уйма! Доктор был из шибко ученых. Ночью Михайло шептал сыну Миколке.

— Ты у меня, стервец, не вздумай в горницу к нему забраться. Мотри у меня... Убью... — Миколка проворно прижался в угол и вспомнил монгольский бич.

На дворе косые дожди со снегом полоскали чугунный котел. Проклятый чех помешал мужику засыпать котел навозом... То-то ладно было!..

IV

Утром прояснело. Гуси весело гоготали на море, всю ночь проспав на воде. На земле было холодно, а в воде гусю привольно и тепло. Солнце пригрело — и горластая птица запела на весь околородок.

Военный доктор кашлянул и проснулся. Распахнул двери из горницы в избу.

— Цо это громко так? — спросил.

— Это гуси, восподин-пан, — откликнулся Михайло.

— Гусы? Я понимаю... Вы говорит, что это громко, як сам Ян-Гус, — нескладно пошутил доктор.

— Точно так, восподин-пан... Это и есть сам гусь, — по-своему поддакивал Михайло.

На этом разговор замкнулся. Доктор оделся, долго копошился и в горнице и, глядя в окно, говорил:

— Это очень добре, очень красота... Сибيريا и Байкаль... Это будет историческое место...

Было еще сыро, когда доктор уносил свое тощее тело

и длинные ноги из избы. Михайло старался не глядеть на красивый офицерский костюм.

Миколка-сынок успел улизнуть на двор, спрятался за котел чугунный и долго смотрел на чудные докторовы сапоги с застежками, на ремень с медными бляхами, а еще больше на большущие очки в черных ободках.

Доктор осторожно спускал ноги с искосившегося крыльца.

— Журавель, — посмеялся Миколка.

Дальше ему было не до смеха. Доктор потянул носом воздух, огляделся вокруг и медленно прошел по двору. Он делал моцион. Миколка таращил глаза на чужого человека и хотел уже бежать.

Чужой человек, дойдя до котла, остановился, расставил ноги и удивленно нагнулся.

Потом постучал хлыстом о чугун. Шершавый котел жалобно прозвенел.

— Пюсто... — промычал чех и, увидев сопливого Миколку, полуласково, полубрезгливо спросил: — Маленький мюжик, цо тако?

— Котел это... Щи в нем тятка варил...

— Цо?.. Котел... такой великий...

Чех покрутил головой и к изумлению мальчугана закончил:

— Спасибо... До свиданья...

Он еще раз покачал полулысой головой и медленно, будто боялся упасть в грязь, вышел за калитку. Там его ждал небольшой автомобиль.

Миколка растопырил пальцы и угрюмо пролепетал вслед диковинному человеку.

— На здоровье, дяденька... Ничего не стоит на спасибо-то... — почесал под мышкой...

— Тятка-то не видал... Не скажу, избыет ишшо.

К полудню Михайло исполнил заветную мечту. На место котла чугунного прела большая куча навоза, как и во многих дворах крестьянских. Едкий пар подымался струйками и снова стлался по земле.

— Ты, паршивец, не смей разгребать назем, — предупредил сынка повеселевший Михайло. Сынок ничего не сказал, только нетерпеливо сжал губы с видом человека, знающего очень и очень много, больше, чем сам тятка, да не скажет ему ничего, потому только, что он больно дерется монгольским бичом.

V

Чехи смаковали победу. Разбитая горсть красногвардейцев разбежалась на первых порах по тайге и по горам. Пришлось им поневоле бродягами слыть...

В тайге летом приволья много. Одной ягодой можно жить.

К зиме стало туго. Пищи не стало, ягоды и те позамерзли. Изодрались, изголодались люди. Шли из трущоб кедровых, из расщелин горных, поближе к деревням да к улусам бурятским.

Кто под счастливой звездой ходил, тот жив остался, кому фарту не было — всех перестреляли.

— Ага, большевик... Давай его, растудыт-туды такого...

Случилось так, что вблизи Култука как-то утром поймали чехи в горах бродягу, да не простого — красногвардейца. Живо его потащили в штаб на суд-расправу. Вели по деревне до самой станции, так что бабам довелось одним глазком поглядеть на варнака.

Варнак был здоровенным парнюгой, и в кость и в рост вышел. Лицо хоть и не мыто было, пожалуй, недели три кряду, да очень понравилось бабам.

Волосы у парня — из кольца в колецо, глаза серые — во какие! — со столовую ложку, не меньше. Размякли бабьи сердца и мозги.

— Несчастненький... Подтощал-то как... Бедненький... Убьют ведь его, хворобы-то...

На пленном трепыхалось тряпье — одна штанина держалась на ниточке, на одной ноге шлепала какая-то опорка, другая, совсем босая, истрескалась в кровь.

Военные суды короче воробьиного носа. Раз, два и готово...

Не знаю, какой стих нашел на чешское командование... Мужики култунские и то диву дались. Пойманному большевику чехи дали помилование. То ли работник им лишний понадобился, то ли стрелять не было охоты, только варнак, то бишь большевик, остался жив и был на конюшню отправлен.

Одним глазком бабы досмотрели: на варнаке рубаха новая сидит и штаны хорошие даны. Ходит-охаживает вокруг саврасых да вороных, чешет их, моет их, кормит овсом ядреным, заплетает им гривы косматые в косы подевичьи да хвосты завязывает в узлы упругие.

Сам-то как будто повеселел, и на щеках заиграла у парня заря-макова, на что култукские девки падки, как мухи на мед. Издали ему исподтишка руками махали и шутили во манили к себе...

— Иди, мол, погуляем... Ишь какой сдобный...

Он с опаской, будто нехотя, глядел в их сторону, губы вздрагивали и широкая улыбка раскалывала его лицо, так что зубы сверкали острее и чище Саянских белков.

— Ничего, мол, дескать, живем помаленьку, ожидаем лучшего...

Узнали девки и бабы (народ — пройдоха!), что большевик полоненный из иркутских земель родом и зовут его Иваном.

— Ну, Ванча, скоро, поди, освободят тебя, дак приходи тогда к нам, — кричала какая-нибудь задора.

Ванча издали кивал головой, но ему кричать все-таки нельзя было. Все-таки близко стоял часовой, все-таки был он, Ванча, в плену и судьба его не совсем радовала.

Если он не подох еще от пули вражьего стрелка, если в тайге дремучей не загрызли медведи и волки, то будет ли он жив и впредь — это еще вилами по воде писано, это еще бабушка надвое сказала...

VI

Навесы во дворе у Михайлы Непомнящего большие. Крышу ни дожди, ни снег не берет... Сеновал тоже ладный, коновязей наделано много, колод для болтушки коням целых три стоят.

192

Заприметили иностранные гости и это. Скоро нагнали во двор Михайлы целый табун кровных рысаков, а ухаживать за ними приставили Ванчу-пленного.

Хотел было Михайло разговор завести с парнем, да часовой под навесом зорко глазел во все стороны... И отпала у Михайлы всякая охота разговаривать.

Ванча скреб рысаков, трепал их по загривкам, сыпал в глубокие колоды целые меры овса.

В глазах его билась еще не подстреленная надежда. Да и Михайло-мужик думал:

— Авось не тронут... Жаль парня-то... Работник добрый, видать...

Военный доктор у Михайлы обжился в углу, как паук-

крестовик. Звенел медицинской посудой, шелестел листьями мудреных книг и — что хуже всего — варил разные снадобья и в какие-то стекла смотрел на человеческие костяшки да на черепа разные, даже омерзение вчуже брало.

В открытую дверь, из кухни, Михайло как-то ненароком увидел череп. Глазные впадины напомнили ему ямы, что охотники в тайге на зверя роют, а улыбка костлявая — волчью пасть, которая того и гляди залязгает страшными зубами.

— Лешав черт, чем заниматца! — боязливо подумал про себя Михайло. — Ишшо приснится на ночь этака хвороба...

Вечером доктор уставал и нередко разговор заводил с хозяином. Расспрашивал о том, какие звери, рыба и трава растет в тайге, на горах и в Байкале, как живут мужики култукские и чем промышляют.

Михайло из вежливости вел разумную беседу.

— Живем ладно, кабыть... До сей поры жили, слава богу, господин-пан... Весной да летом пахали, да сеяли, да рыбешку лавливали... Осенью — ягоды мы кулупали... Ну а зимой, стало быть... Ой, да чой это я... Осенью же орех кедровый промышляли. Култукский орех ядреный и масляный... Ну, таперча, что зимой делали? А то и делали, что в извоз до Иркутцкова брались, то мясо, то другу кладь каку везли. Мало ли чо было? Омулей да селенги рыбы, господин-пан, бочки целые накатывали, и всякой всячины не боялись везти. Коли извоза не было, на охоту шли. Лесов у нас — приволье... Зверья — тучи целые... На медведей, на козуль, на сохатых и на протчего зверя ходили, а более всего белку долбили. Белковать мужикам прибыльнее... Вот так и жили, господин-пан...

VII

В непогожий полдень ветер бился о крыльцо... Ванча-большевик, ростом с сибирский кедр вековой, опять под навесом с жеребцами возился.

— Но-о, милые, не шали...

Военный доктор тихо спустил себя с озлизлого крыльца... В зубах у него пыхтел, как паровоз на подъеме, чубук немецкой работы.

Сухопарый ученый чех — тощая жердь на ветру... Нелегкая его занесла под навес... Смотрел на кровных лошадушек, щупал за крутые зады и шеи...

Взглянул ученый сухо — суше степных ковылей — на Ванчу. Очки в черепаховом ободке легонько пощупали парня... Еще и еще щипнули раз... Доктор остановился, ноги расставил ходулями, на лбу у него залегла свежая дума. Даже чубук вынул из зубных клешей.

— Не к добру, ой, не к добру приглядыватца он к парню, — подумал Михайло, проходя мимо навеса.

Ученый чех изогнулся в три погибели. Быстро — быстрее непогожего ветра — подлетел он к Ванче. Ванча тускло, как этот сиротский полдень, взглянул на него. Потом вытянулся, пятки — вместе, носки — врозь: что, мол, прикажете? Жеребца подать... Мы это можем...

Но господину чеху ни до чего до этого не было дела. У него было дело до самого Ванчи...

Молча он подошел к парню, которого уродили морозы сибирские и земли пшеничные... Потрогал плечи — целые косяки избяные, постучал в грудь — гудит. Из такой груди можно наковальню сделать, по такой груди можно кувалдой бить...

Ощупал Ванчу сухопарый человек, благо Ванча стоял, не моргнув глазом, — отошел два шага назад, — и круто отвернувшись, быстро зашагал назад.

К чему бы это?

VIII

После полудня в горнице у доктора много сидело начальства... Говорили по-своему, спорили, а пуще всех доктор. Он перелистывал книги, что-то читал из них порывисто и захлебывался. Можно было догадаться, что он убеждал кого-то. Михайла — от греха подале — вышел за ворота.

— Не иначе, как о Ванче разговор. Наверно дохтур затевает чо-то, черт лысый!

Чужеземные разговоры в избе кончались, как потухающий пожар в тайге. Последние огоньки-слова сыпались мелко из докторовых уст. Михайло догадался. Доктор на стоял на своем — победа на его стороне.

Зазвенели шпоры, хлопнула дверь. Дворовая калитка выбросила на улицу стройную офицерскую свиту. В сере-

дине путался доктор. На его лице — в первый раз заметил Михайло — блуждала радость. Очки вспотели.

Офицеры чокнули каблуками. Все жали ученому руки, как будто обнадеживая его. Доктор раскланивался в свою очередь и пытался еще убеждать.

— Ну дела... Опять не иначе, как будет суд над Ванчой. Таперча Ванче капут. Не сдобровать парню, — строил догадки Михайло.

IX

Поздно вечером Байкал озверел — и смысл с берега мужика Ерохина баню, проглотил в мокрую пасть пару поросят Дьяконовых, и вдобавок за Култуком сердитые волны откусили целую гранитную скалу.

— Ну седни чо-то море взбеленилось, — судачили мужики...

Поздно вечером Ванчу сняли с работы. Три конвоира увели его на станцию. Курчавая голова Ванчина немного намокла, и думы ее сгибали вниз.

— Ведут... опять... — шептали девки.

Доктор пришел ночью. Михайло еще не спал, починяя бродни. Неожиданно доктор подсел к нему... Михайло неловко отодвинулся, как от липучки...

— Чо он седни, холера, ластится ко всем... Сглазит ишшо...

Доктор нескладно по-русски рассказал мужику — на ночь, что ли, глядя — страшное. Он говорил, что он — человек ученый, и заграницей его доктора знают и уважают. Он того учился, много знает и много работает.

— Это пользительно — учение-то... Грамота — она ведь завсегда пользительна, — поддакивал Михайло.

Дальше мужик слышал, что ученому доктору нужно много книг, инструментов, лекарств и особенно денег.

— Деньги кому не нужны... Деньги и нам не мешат иметь поболее...

Еще дальше Михайло слышал, что такому большому доктору надо много больных, много черепов и надо иметь скелет... В Сибири же скелетов не продают... Михайло трепыхнулся. Ясно почувствовал, что его больно укололи.

— Чево вы изволите говорить? — и поперхнулся. — Шкелеты, говорите, надо вам... На чо?

Доктор закивал головой.

— Да, да, ради наук мне надо иметь... скелет...

Собеседники разошлись.

Когда ученый заснул, избу придушила тишина... Михайла не спал, не раздевался. Его бросало то в жар, то в озноб... Он смутно догадывался:

— Доктору шкелет надоть... Ой, не иначе Ванчу стрелять будут... Для шкелета, да может ли быть это? Это что за люди таки... Вот так дохтур... Пропади ты пропадом. Зарезать бы такую стерву...

Х

В полночь Михайло вышел на улицу. Ветер делал воронки перед избами, хватался за тонкие березки и пригибал их к земле. Дождь, а то и снег, собирался опрокинуться на Култук.

Море гулко охало, как будто перекачивало по дну байкальские горные кряжи.

Михайло шел к попу. Он не мог спать, ему надо было иметь совет, как в жаркую погоду человеку надобно испить кваску.

Поп еще не спал, но Михайлу впустил в дом нехотя...

До петухов засиделся у попа мужик. Лохматый батя слушал горячую речь Михайлы о завтрашнем расстреле Ванчи, качал рыжими космами и расспрашивал:

— Да как же это?.. Может ли быть?.. Ты не ошибся, Михайло?.. Чехи не позволят... Народ культурный... Ну, подумай, как может образованный человек ради скелета живого человека губить, хотя бы большевика...

— Да нет же, батюшка! Вот крест тебе... Голову на отсечение... Шкелет доктору надо... Чо же делать-то? А?

— Да ты что, Михайло, рехнулся, что ли? Да если ему скелет нужен, так разве мало убитых и умерших на поле брани?

— Да нет же... Те скалечены... Да и сейчас их где достанешь? Доктор сам хочет приготовить себе... шкелетину... Вот те крест, что хочет...

Батя растопырил руки.

— Другое тут дело, по-моему... Уму непостижима такая мысль... Никогда не слышал о таких вещах... Подумаем до утра...

Но ничего не придумали для спасения души человеческой ни поп, ни мужик. Провожая Михайлу, отец Иоанн добавил:

— Не отчаивайся, Михайло. Дело в руках божьих...

Мужик уже не слышал его и бежал, подгоняемый ветром, домой...

XI

Ночь прошелестела ветрами колючими, орала в щели и на море до самого рассвета, костляво стучала в оконные ставни.

Был день праздничный, но праздника никто не заметил. Разве что ни дождя, ни снега не было, только стихнувший ветер скулил точь-в-точь, как паршивый пес Мухорко, запрокинувши голову на небо.

Вечером — позавчера еще — Михайло цыкал на Мухорку, на пса паршивого.

— Цыц, лешава родова... Но развылся по-покойнишны...

Сегодня воет не пес Мухорко один, воет ветер затихающий, воют девки и бабы... Вся деревня знает, что седня Ванчу ни за что ни про что расстреляют.

— Шкелет очкастому надобить, — шептала коренастая бабенка, — дохтуру четырехглазому... Они рази люди, чехи-то? Чо на них рази крест есть? Им человека убить, чо плюнуть, поди. Вчера судили, а сегодня утром-то осудили... Стрелять будут... Ведь вот холера их заberi, антихристов, — батюшке и то нельзя к ним приступить. Отец Иван хотел было просить за большевика, да рази можно у таких извергов... Загубят душу человечесью.

Михайло ходил, как в воду опущенный. На доктора смотреть не мог, даже тошнило, а с утра еще во рту маковой росинки не было...

— Дохтур, хрен заморский, а не дохтур. Худобина этака... Сам шкелет шкелетом, а ишшо ему давай шкелет. Ишь выдумал... На чужой-то земле все можно поди, стерва.

Сплюнул, добавил:

— Как это жалости нисколько нет. Ровно быка убивают, либо собаку каку... А ишшо ученый, много знает... Жадоба этака...

Насторожил Михайло уши. Опять щеколда — зьяк-зьяк.

— Кого несет в этаку рань?

Пошел, открыл ворога — опять чехи.

— Повадились, — подумал с сердцов мужик.

На бедного Макара все шишки валятся. Чех-офицер угрюмо поясняет Михайле, что есть-де у него котел великий, что этот котел доктор видел, и что котел этот доктору надо для научных целей ненадолго. Михайло остолбенел. В голове мелькнуло, как молния сверкая:

— Котел?! Как же это?.. Отколь узнали-то? Кто рази доказал... Не Миколка ли сболтнул...

Однако вслух он говорил, запинаясь и покорно кивая головой, хотя в глазах — туман ходуном ходил:

— Котел, говорите, господин полковник... Как же это?.. Котел у меня есть... Щи я в нем варю, а сейчас я его в навоз... Закопал, кабыть... Не заржавел он... Есть у меня котел... Как же... Есть... Щи варю в нем...

Чех объяснил, что котел скоро возвратят и даже из двора не вывезут, но ставил одно условие на вид... Котел нужен доктору в качестве медикамента, а он, Михайло, и другие мужики помогут доктору кое в чем.

— Ну дак чо! Мы рази возражаем. По нас хоть што. Котел у меня добрый, варить чо угодно можно, только бы не испоганить...

Подошел и доктор сам. Чубуком пыхтит — пых, пых. На лице у доктора тихо. Не лицо, а камень. Михайлу бедного тошнило. Он нехотя — матерно выругавшись про себя — повел господ-панов до котла. Взял грабли, сгреб навоз чуточку; котел показал шершавое днище. Доктор одобрительно закивал головой.

— Хорош, хорош...

— Чо тут говорить, господин-пан... Котел добрый... Щи в нем варю... Добрый чугуун, только бы не испоганить ею...

— Ничего, ничего... Я не хочу обижайт вас.

ХП

Через час Михайло и добрый десяток мужиков по приказанию начальства принялись за работу. Приказано во дворе котел обмыть дочиста, налить в него воды чистой и вскипятить. Михайло качался на ногах.

— Не пьяный, кажись, а ноги дрожат... Жалко котел... Испортят... У-у, рожи. Ванчу-то, поди, исгубили, теперь за котел принялись, а там и за меня...

Мужики молча, как будто в рот воды набрали, перевернули котел вверх дном.

— Чижолый, — прошептал один.

— Пошто чижолему не быть, — огрызнулся Михайло, — на всю артель щи варили. Бык утонет с хвостом и с рогами в этакое котле.

— Артельный котел, чо и говорить, паря. В прежны годы таки делали. Нынче не делают таких.

Котел покачался взад-вперед и грузно придавил сырую землю. Мужики взялись за топоры, настрогали кольев острых, забивали колья в землю, смастерили из кольев круглый таган и присели курнуть. Достали кисеты с огнивом и с листовым табаком да трубки корявые самодельные.

— Кури, да поживей, а то ишшо взгреют.

— Без курева рази можно? Где видано?

— Где видано? Загранишным закон не писан на нашей земле.

Сев на корточки, мужики закурили. Все уставились в землю и думали думу.

— Поди расстреляли парня-то... жаль...

— Как не расстреляли, поди... Ишшо ночью, пожалуй.

— Да нет, бабы говорят, ишшо на станции седни видели, живой быдто...

— Ну а коли так, стало быть, живой. Авось обойдется.

— Держи карман шире. Чо-то мне кажется, добра не жди... Эх, жизня русска!..

Покурили мужики и всем огулом стали поднимать котел на самодельный таган. Железные трезубцы, на которые котел ставился, еще при дедах потерялись. Пришлось самодельные мастерить.

— А ну еще берем, а ну еще берем...

— Черт, здоровенный какой. На чо им понадобился такой?

— А хрен их знат...

Миколка-сынок привез бочку воды. Почти всю ее проглотило чугунное пузо котла. Под чугуном зашипел костер. Кедровые и сосновые сучья шибко трескались.

— Подкладывай, дядя Михайло, где наша не пропадала...

Огонь на ветру жадно сушил отяжелевшую землю и шершавое днище котла. Прелая сырость на чугуне корчилась, пучилась над костром, шипела, как яични-

ца на сковороде, покамест огонь сухим языком своим не слизывал ее дочиста.

Дым завивался в трубки, катился по двору и остро залезал в глаза, хотя его никто и не просил залезать туда.

Михайло угрюмо глядел на котел. Вода — цвета еловой хвои — та вода, что Миколка черпал на заре из Байкала-моря, не могла и в котле спокойно лежать. Еще не успели огни облизать верхушки котла, а она уже глухо бурчала в чугунном кузове. Пузыри шибко вылетали наверх и со свистом лопались. Поверхность дрожала, как студень, и по ней ползал мутный-премутный пар, как осенью туманы на Байкале-море.

— Закипит, паря...

— И верно.

Вода через пять минут уже не была водой. Горячая расплавленная жижа хлестала через край, если попадала в огонь — огонь обиженно шипел и пригибался ниже, если брызгала на лицо — лицо опухало, кожа дыбилась и сползала тонкими тряпицами.

— Берегись, ошпарит, не вода — железо кипит.

— Чево доброго, можно рельсы накалишь до бела в этом кипятке.

— Ну чо же стоять-то, парни? Надоть чехам говорить, готово, мол. Кипит!.. — Михайло пошуровал в золе лопатой.

— Чичас скажу... — придушенно он мычит.

Навстречу Миколка-сын. Бежит — глазенки выпучены, белесые волосы припотели к вискам.

— Чо тебя носит тут... Не до тебя ишшо...

— Тятя, а тятя... Ванчу чичас стрелять будут... За станцией... Туды довели. Мы со Стенькой видели.

— Цыц, щенок! — сквозь зубы крикнул Михайло. — Чо орешь? Не глухой, поди, слышу. Где ты видел?

— За станцией.

— Ковды стрелять-то будут?

— Вот чичас будут... Без штанов Ванча-то, совсем нагишом, — захлебывался Миколка. Михайло поводил глазами.

— Так-с, мать вашу за ногу, господа образованны... загранишны... Догадался я, на чо вам Ванча понадобился, а таперча догадался, на чо мой котел надо было... Ах, курвы!

Мужик совсем взбеленился. Остальные уставили головы вниз.

— Не ладно.

XIII

За станцией гулко охнули винтовки, словно полнеба на части лопнуло. Горы ответили трикраты.

— Распрощалась душа с телом белым.

Бабы шептались печально. Скоро до села дошли вести страшные со станции.

— Сгубили Ванчу... Говорят, не плакал и не просил ничо. Знал, поди, все одно не поймут.

— Глазками-то, бедный, большими все на чехов-то глядел. Поставили его они к сосне да как пальнут. Он и вскрикнуть не успел.

— Восподи, бедный какой. Вот участь, не приведи боже!

На деревне стало тише. С косогора от станции показались дроги. На дрогах лежал человек голый. Теплые струйки крови медленно текли по белому телу, капали на дроги, с дроз — на дорогу.

— Ванчу везут. Нагишом, ой, мамоньки, страсти каки. Совсем, как есть нагишом.

— Ой-ой-ой, мамоньки мои, мамоньки, — дико завизжали бабы и девки. Подняв праздничные подолы, они с остановившимися от испуга глазами бежали на другой конец села. Цветные юбки издали походили на вечерний закат, переливаясь белыми, то синими, то алыми пятнами.

Передохнув, бабы и девки сели на завалинки. Многие плакали, другие придушенно причитали. Одна, построже других, доканчивала свой рассказ, потворствуя бабьей привычке договаривать до конца и щадя любопытство товарок.

— Расстреляли, милые. Командир по-своему как крикнет, так они сразу из всех ружьев — трах!

— Ой, мама... Ну а дальше што?

— Што дальше... Говорить страшно. Ванча стоит, губы сжал, да нагишом — срамота какая — ни слова, а на глазах слезы. Как трахнули — он руками взмахнул и упал. Хотел это крикнуть, а зубы-то как чавкнут, да по языку... Язык-то тут же отвалился, на землю... Красный...

— Да ты видела, чо-ли?

— Чо, с ума я спятила, чо ли... Близко не подходила. Сторож станционный говорил.

XIV

Дроги остановились у Михайлиной избы. Мужик совсем оторопел. Видит, доктор распоряжается один. Четыре здоровенных чеха снимали Ванчу с дрог.

Доктор забегают вперед, чубуком пыхтит, калитку сам отворяет, бежит легонько к котлу.

— Готово? Карашо... Спасибо.

Чехи понесли Ванчу. Миколка, глазевший из подворотни, с испугу убежал в телятник.

Длинное тело Ванчи изгибалось. Голова моталась из стороны в сторону. Двое несли за руки, двое за ноги.

— Дохтур тоже, носилок даже нет, — думал Михайла. В затылке у него — он чувствовал — лежал свинец.

Чехи поднесли упокойника к самому костру. Мужики отвернулись легонько — на всех лица нет. Один Михайло глядит, не спуская глаз.

Ванчино лицо побелело изрядно. Кудри запеклись в сгустках, из груди бежали тонкие струйки крови.

— Раз, два, — командует доктор, указывая пальцем в самую середину котла и что-то поясняя. Вода хлопотала пуще прежнего. Чехи приподымали тело и тихо раскачивали над котлом.

— Три! — кричит доктор, взмахнув руками, и даже подпрыгнул.

Михайло охнул и зажмурил глаза. Чехи, раскачав Ванчу, погрузили его в кипяток, посадив на задницу. Так с головой бедный парень и ушел. Жадная вода забултыхала и заверещала.

— Буль-буль-буль, — слышит Михайло.

Шершавый котел засосал молодое тело. Кипяток отдирал уже сам собой белую кожу от костей — и вместе с кожей волосы ошпаренные, из кольца в колец завитые.

— Подкладывая огня, — слышат приказ мужики.

Нечего делать. Стараясь не глядеть ни на доктора, ни на котел, мужики, пыхтя и сопя, кладут смолевые поленья в костер. В котле шипит, как в самоварах, сразу. В самом котле четыре чеха что-то мешают страшные особыми жезлами.

Ученый доктор изредка помогает. Он успел сбежать домой, одел белый халат с красным крестом на груди, и глаз не спускает с котла.

Мужики стараются не глядеть. Но глаз сам видит, от глаза ничего не укроешь.

— Ужаси каки. С ума спятить можно.

Белое мясо человеческое в кипятке тает, как воск. Целые куски сами собой отваливаются от костей. И уже в котле не тело, а каша.

— Сварил себе щи, доктор ученый, такие щи, каких не варили в Култуке ни деды, ни прадеды.

— Ох, батюшки! — не выдерживает сосед Михайлы и падает на колени. — Отпустите душу на покаяние, ваше благородие. Больше невтерпеж.

Доктор удивленно глядит на мужика: какой, мол, вар-вар. Не может понять, что это ради всего человечества делается!..

Вслух утешает как можно вежливее.

— Ничего, ничего, пожалойста. Это все пройдет, ничего...

— Да как можно, господин дохтур, — жалуется мужик, — покойника этак с волосьями и с потрохами ишпарить. С ума сойти в пору.

Доктор сухо молчит. Его глаза как будто привязаны невидимыми веревками к котлу.

Мужики подбрасывают поленья в костер. Затыкают носы. Запах — удивительный запах хороших щей — залезает им, кажется, и в нос, и в рот, и в глаза, вместе с дымом и паром.

— Ох, — падает другой мужик, — вот так щи мы наварили тебе в котле, дядя Михайло.

— Ничего, это ни-че-во, — с большим спокойствием уговаривал доктор. — Это примитив, но у меня нету другого медикамента.

— А вы, — он круто повернулся к Михайле, — хозяин, вы можете ходить гулять. Вам спасибо.

— Ничего не стоит, — чуть не плача, рычит Михайло.

— Готово. Огонь надо, чтобы потух, — слышит он за собой ненавистный голос доктора.

— Чтоб ты сдох. Тебе бы в котел-то, живьем бы, долго-вязую стерву...

XV

Неделю целую не был дома Михайло. Не помня себя, он уехал в Тункинские степи, к знакомым бурятам в гости. Каждую ночь в улусе снился ему Ванча в котле.

Высунет голову курчавую из котла, чистый, как поросенок, и смеется.

— Вот, дядя Михайло, и здорово же я помылся. Тебе бы так. Всю грязь как рукой сняло!

А то снится Михайле, как мясо человеческое тает в кипятке, ровна воск, и как пахнут удивительные щи.

— Ой, — кричит во сне Михайло, — ой, батюшки, ух, спасите... Шкелет...

Знакомый бурят будит Михайлу.

— Ты чо, паря, карчит шибко этак. Какой такой сон пропаший?

— Не говори, хаба. Не дай бог, дружок, никому. Шкелет я, хаба, во сне вижу, а то человека в кипятке живьем варю.

— Э-э, дурной сон, шибко дурной. Шайтан близко ходит. Надо шамана звать, паря.

Через неделю хозяйство сманило опять Михайлу домой. Испуганный Миколка-сын что есть мочи ухватился за рукав тятькин и вопит:

— Тя-я-тька, в избе ночевать страшны... У доктора в комнате шкелетина зубы скалит. Мамка к бабушке со мной на ночь уходит.

— Не плачь, сынок, на заимку уедем зимой.

Доктор приветливо встретил хозяина.

— Наздар. Вы куда уезжаете?

Самое худшее — доктор повел Михайлу к себе в горницу показать свое новое приобретение, чем он весьма, видимо, гордился.

Михайло упирался, как бык перед убоем.

— Увольте, господин-пан... Христом-богом малю... Вы ишпо и меня так-то сварите... Уважьте... Не могу.

— Э-э, какой есть трус. Цо так можно? Руссия — храбра, Руссия — не боится смерти, а это только скэлет... Он не ку-сайт...

— Нет, не могу, увольте... Боюсь.

Как ни упирался хозяин, доктор настоял на своем.

— Вы меня обижает.

Михайло вошел, зажмутив глаза, в дверь. Он упирался, а сзади его легонько и добродушно, подталкивал доктор. Наконец бедный мужик ввалился в горницу, не открывая глаз, трясясь, как банный лист.

— Откройте очи. Это не будет страшно.

Михайло, после долгих упрашиваний, сразу открыл глаза и сразу же закрыл их.

— Ой, умираю. Да неужели это Ванча? Ой, смерть моя!

Доктор поддерживал его. В углу стоял большой торжествующий скелет на подставке. Череп смеялся, как ни один из черепов на столе (а их было много). Длинные руки вытянулись по костлявым швам, но впадины глазели грустно, как будто что-то живое сидело в них.

— Ну как? — спросил доктор, довольный произведенным эффектом. — Это науке будет давать великую пользу... Ну как это?

Михайло упорно молчал. У него отнялся язык...

Вечером он слег в постель. Услужливый доктор хлопотал у изголовья одуревшего мужика.

ОСТАТОШНАЯ ПРИСКАЗКА

Проскакали деньки и года бывалые. Стоит себе Култук село, постаивает в щели и на Байкал глядит — не наглядится. Вода насквозь видна, и волны у берегов шуршат, как кот на печи натопленной.

Все прошло. И дни, и годы. И чехов нет давно в помине в Култукском селе. Нет их и по остальной Сибири.

Живет еще до сих пор мужик Михайло. В бывалые дни и он ходил партизаном, насмотревшись на муку-мученическую, на горе да на слезы народные, а теперь — землероб, как и все.

Как вспомнит один воскресный день, кровь холодеет в сердце, и в глазах круги за кругами заплещут.

— Ну, — скажет, — и были времена, ну и кутерьма была. Дым коромыслом стоял...

Так эту горькую годину до сих пор мужики поминают. Спросишь: что было у вас, мужики, в 1918 году?

— А чо, пари, было... Дым коромыслом стоял...

Мужик Михайло живет в старой избе. Куда ее денешь?

Только страшную горницу Михайло наглухо забил, заколотил, замазал ее глиной, а хозяйка Михайлина перед тем с отцом Иоанном святой водой ее окропила, да в великий четверток крестов на двери, на потолке и на окнах наставила вдоволь.

— От наваждения, — поясняла.

Опальный котел был целой деревней свезен под откос у железной дороги, на самый берег Байкальского хоря. Целуют его ветры осенние да весенние, бури зимние и холодные, лижут его волны зеленые, и тянут за собой на дно морское.

Так понемногу сползает он в пресную воду великого сибирского моря.

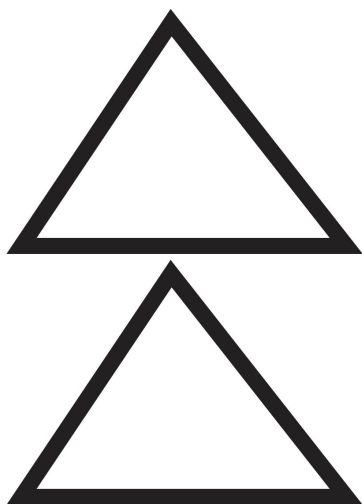
— Продать бы его, да рази такую пакость можно продавать, — думал Михайло. — Грех один, да и деньги впрок не пойдут.

Так до сих пор артельный котел чугунный валяется в кустах под откосом.

Скоро Байкал слижет совсем его с берега в бездонные недра свои.



Валентин Боровский



Валентин Васильевич Боровский (1892—?) — предположительно из дворян Иркутской губернии. В службе с 1916. Окончил Иркутское военное училище. Прапорщик. В белых войсках Восточного фронта, на 3 марта 1919 года — младший офицер 4-го Енисейского Сибирского стрелкового полка, затем в Оренбургской армии, в 1920—1921 гг. — в отряде генерала Бакича в Монголии. Взят в плен, в августе 1921 г. осужден на год лагерей. Мемуары Боровского были опубликованы в «Сибирских огнях».



Голые люди на голой земле

Голодающие индусы

«Голодающие индусы», грязные, убогие, потерявшие бога, черта и себя, зимой сидели в своих хатках, наполовину ушедших в землю и засыпанных снегом.

209

По ночам одиноко бредущая по небесным полям холодная луна освещала этот мертвый, придавленный к земле поселок эмигрантов, окруженный со всех сторон хотя и не особенно бдительной, но все же вооруженной и придирчивой китайской стражей. Белые степи с черными пятнами земли, с торчащими сухими кустарниками и травой чи, белые степи, истыканные осторожными заячьими и уверенными волчьими следами, близко подошли к избушкам.

В городе шла бойкая грошовая торговля — продавали детей, торговали женами. Бакич бранился два раза в неделю с китайским губернатором из-за плохого снабжения отряда. И не было дня, чтобы кого-нибудь из рядов не вырывала цинга.

Без нижней рубашки, в полушубке на голое тело, в тончайших брюках из китайской маты я тщательно «выколачивал» пятнадцать фунтов хлеба кузнечным молотом у богатого сарта. Но только хлеба, и должен был считать себя счастливым, так как я был все-таки сыт, и зубы от цинги у меня при пережевывании пищи не вставали попере.

Идти в Россию?

После беспощадной борьбы двух принципов, из которых один был поражен, а другой подсчитывал свои победы, когда люди еще были разгорячены схваткой, там, у границы, меня никто не встретил бы хлебом-солью, даже если бы я был самым невинным человеком.

Закрывая на крыше тряпками и камнями трубу испропленной печи нашего саманного дома, я подолгу стоял, запахнув у горла скверный, грязный полушубок, и эти мгновенья доставляли мне неизъяснимое мучительное наслаждение. Сознание собственной ничтожности, сознание, что от жизни получил я только скверную позу и, не умея ее изменить, должен молчаливо терпеть до тех пор, пока судьба не схватит меня за височки, чтобы о камень разбить череп. Какой бы звук ни доносился до меня со стороны города или просто порывы ветра, мне казалось, что они идут из России, которая была в 14 верстах, всего в 14 верстах. Я знаю даже, какой нужен мостик, с какими перилами, чтобы перейти, очутиться на родине. Я слушал шумы со стороны России, я видел, как из глухих ночных теней с востока вырастали вереницы караванов, колыхающихся, бесшумных, с мудрыми глазами верблюдов.

Я знал, что они шли из неведомых мне легендарных Калькутты и Бомбея, через высочайшее в мире плоскогорье Памир, пробравшись по узкой тропе, из горячего Кашгара и сказочных Пешавера и Кульджи — в Россию.

И я стал без цели, ожидая найти ее и смысл существования, каждый конченный день зачеркивать карандашом на спутанном, собственного изобретения календаре.

Куда идти? В лагерь — там цинга и ошкетинившиеся в бессильной злобе люди, у которых сердце поросло густой шерстью, способной запутать любое чувство. Идти к людям, от которых осталась одна шелуха? В Россию?

Решить было невозможно.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БОРЕТСЯ СО СТРАХОМ

Гуляя по базару лагеря, я встретил своего знакомого Николина, но был поражен странным его видом.

С закрытыми глазами он наощупь куда-то пробирался.

Когда он мог ослепнуть и по какой причине? Я спросил, что с ним.

Он узнал меня по голосу и ответил, что теперь объяснять не хочет, а если найду свободную минуту, то могу зайти к нему вечером, когда с заходом солнца кончится его «табу». Почему заход солнца, что такое «табу»?

По его просьбе я помог ему дойти до лавчонки, где он купил необходимое, и вывел на дорогу к его части. Здесь он настоятельно просил меня оставить его.

Он шел горбясь, как будто не только концом длинной палки нащупывая края пыльной дороги, но и всем своим неуверенным телом и широко расставленными ногами, и это состояние полной темноты, в которую он недавно погрузился, было, видимо, ему нестерпимо тяжело и непривычно.

— Удивляетесь? — спросил меня какой-то незнакомый лагерный обитатель, когда я проводил Николина. — Этот чудака на днях залил себе воском уши, чтобы ничего не слышать, и воск у него едва вынули из раковин в лазарете; сегодня слепой... видимо, здесь не все в порядке...

До заката оставалось еще полтора часа, и я от нечего делать свернул за базарные лавки и лег на сухую, измятую ногами многими людьми и обглоданную траву, стал слушать и смотреть.

Жена Николина, когда-то гремевшая на весь Оренбург своей красотой, теперь — тронутая болезнями и недоеданиями, худая, в грязной юбке и в стоптанных башмаках, шла за очередной незначительной подачкой, из милости получаемой от старого знакомого, теперь содержателя трактирчика.

На востоке, в бескрайних пустынях Монголии, утрами всходило солнце и где-то в России закатывалось. Днем поднявшаяся пыль в сумерках садилась. Тусклые люди с острыми лицами ходили по чужой земле в поисках утолить голод, и все шло хотя и скверным, но твердо установившимся порядком, даже родились и умирали.

Я дождался сумерек и пошел к Николину.

В квадратную сажень хатка с таловой крышей и деревянными стенами наполовину в земле. Внутри удивительно уютно и чисто. Обведенные плетнем стены вымазаны глиной и выбелены. В одном углу маленький столик из досок, в другом опрятная койка, в изголовьях за подушкой, рядом с футляром лежала скрипка. Николин сидел на койке и медленно курил. Меня встретил испуганным и несколько изумленным взором больших карих глаз. Улыбнулся.

— Почему долго не был?

— Не знаю, — ответил я.

— Лагерное «некогда».

— Пожалуй, и так, но скажите, Виктор Николаевич, почему сегодня днем я видел вас слепым, а сейчас вы зрячий?

— Почему?

— Садитесь, — он показал на койку рядом с собой, — объясню. Многие называют меня чудачком, иногда умалишенным, иногда просто дураком. Мое правило: не мешать людям врать и хвастаться. Раньше — я пьяница, сладострастник, нравственный кастрат, теперь — аскет. А что меня сделало таким? Большевизм. Вы знаете, что такое большевизм? Большевизм — это тайна русского народа, которую многим из нас никогда не понять; это новая земная религия, за которой идут прежде всего глубокие низы общества, как наиболее чуткий элемент к новым стихийным, но рожденным требованиями эпохи, психическим движениям.

Заметьте, как правило, что первые адепты новых религий — христианства, буддизма, магометанства — поднимались к своим учителям со дна. Правило, не знающее исключений, а если это так, то ко многим из нас это новое миропонимание докатится лишь только во втором поколении, ибо для новой религии человечества нам нужно изменить весь химический состав нашей крови.

А вы думаете, эта новая религия остановилась только на проповеди? Нет, черт возьми, она сделалась государственной и создала новую породу людей с горящими глазами, которые не знают препятствий.

Черт, черт, черт! Современная феодальная христианская мораль перевернулась вверх тормашками, и что было плюсом — стало минусом, что было минусом — стало плюсом, а значит... Вы знаете, что значит? Логика классических учебников, логика, которую мы привыкли считать как основной критерий... Вы знаете, что с ней случилось? Она запуталась в крепко сплетенных сетях страшных противоречий...

Большевизм бьет логику алогичностью, но, вы понимаете, все-таки такой, которая тащит, хотя и насильно, за собой жизнь и даже... и даже делает ее. И вот удивительнее всего то, «что величайшая ложь иногда кажется величайшей правдой».

У нас нет, вот нет этой самой классической логики, мы вот начинаем терять ее стройную систему, у нас нет критики, а следовательно, никакой реальной силы.

Но... я на вершине дегенерации старого мира, и все это не для меня, я призван к другому.

Вам кажется странным слышать слово «призван» от лагерного «ланцепупа»?

Я призван, если не спасти мир, то открыть глаза человечеству как раз у самого края пропасти, к которой оно катится. И силу этого откровения я нахожу в своей ненависти к большевизму. Почему ненавижу? Очень долго объяснять. Скажу только одно, — он захватил голову руками и, опустив локти на колени, стал с мукой на лице раскачиваться. — Я так ненавижу их, что готов каждого распять и против распятого сидеть и «кушать ананасный компот»... Но для величайшего подвига, который мог совершить когда-нибудь человек, себя я готовлю. Убить страх как одно из самых низменных проявлений инстинкта человека, убить любовь человека во имя любви к человечеству, выжечь всякую мысль, которая хоть тусклым блеском может отвлечь мое внимание от главной цели; не знать, что такое жалость, сочувствие, понимание, оторваться от соблазнительно прекрасной и греховно сладкой земной жизни и встать на плоскость, которая над человеческим добром и злом, — моя цель.

Мне надо твердо помнить, что меня могут ослепить, кастрировать, вырвать язык, лишить слуха, и к этому я себя должен приготовить.

Что такое мироощущение слепого, который лишен света навсегда? Я постиг, что значит сломать радужный мост между человеческими душами — словом, я понял, что значит не слышать гармонии мира, рост цветка и дыхание растений — я знаю. Надо мной смеются, когда я в течение одной первой недели месяца брожу с закрытыми глазами, ищу дорогу на ощупь, я слышу насмешки, острые, как иглы, когда кто-нибудь меня намеренно толкает в грязь, я понимаю гнев врача и ядовитые улыбки лазаретной прислуги, когда я объявил в госпитале, что на время хочу вернуть себе слух и прошу их вынуть воск из ушных раковин. Я слышал, как в соседней хате из тальника меня в течение недели из часа в час называют идиотом за то, что я лишил себя права голоса. И я молчу, когда неожиданные толчки ночью в слабую дверь и крики «Вы горите!» чуть не заставляют, в силу инстинкта, вскочить и открыть дверь и просить помощи, я молчу — обет молчания в течение семи дней для меня дороже ответа на насмешку. Сегодня день отдыха и собирания. С завтрашнего дня опять работа — неделю я слеп, другую нем, третью глух и четвертую и то, и другое, и третье.

Зачем эти истязания? Это искус, это приготовление к тому моменту, когда я должен пойти и объявить миру об открытой тайне... — он замолчал.

— Но, Виктор Николаевич, не допускаете ли вы мысли, что вы действительно больны?

— Не только не допускаю, но даже уверен, что болен. Я отказался от дороги, пробитой миллионами ног. Я не с миллионами, но за них.

— Кто он? Большевизм?

— Большевизм — это тот сосуд, который лепится в течение многих тысячелетий для принятия в себя влаги огненной и сладкой, после которой в человеке наступает полный покой.

— Я ничего не понимаю, — я пожал плечами. — Кто он?

— Он — это тот, к которому для боя я плыву с рулем и ветрилами и факелом, чтобы показать его миру. Выйдемте на улицу.

Мы вышли. Тихо и ясно. Заря с зарей сошлась.

— Все-таки вы мне не скажете, кто он?

Вместо ответа он раздражительно сказал.

— Уходите. Вам — спать, а мне — думать. Уходите.

Возвращаясь по мягкой пыльной дороге среди ненарушимой тишины мимо хаток, в которых спали оскорбленные, злые, полуголые большие дети, я задумался о нем.

Что он был тронут рассудком, это для меня было вне всякого сомнения, но и какую-то намечающуюся заостренную мысль в его мозгу я тоже видел, только не мог понять какую.

Это странное «табу», «строгая разделенность» недель месяца, «искус», «тайна», «мысли о спасении человечества» были совершенно непонятны здравому рассудку, и я невольно должен был сделать заключение, что он — человек с раздвоенным сознанием из галереи психопатов Достоевского.

ПУЛЕМЕТ И ТОЛСТОВЕЦ

Я сидел на берегу реки Эмилъ и считал на небе звезды. Ко мне подсел один знакомый. Просидели молча несколько минут, потом, не к моим мыслям, тоже проверяя порядок на небе, он сказал:

— Вот как странно: я по убеждению толстовец, а между тем каждую ночь вижу, как расстреливаю красных из пулемета...

БЕЗ ПУТЕЙ И ДОРОГ

В конце апреля 1921 года весь лагерь на Эмиле, маленький китайский пограничный городок, даже вся Урумчинская провинция всколыхнулись слухом, что к границе подходит какая-то часть повстанцев против советской власти и имеет намерение соединиться с отрядом.

Как снежинка, сброшенная ветром со спины хребта, собирая около себя такие же маленькие, цепкие снежинки, превращается в грозную лавину, так и это восстание, начавшись с незначительных деревень Петропавловского уезда, разрасталось с каждым новым населенным пун-

ктом и захлестнуло своим потоком весь Петропавловский уезд и сам город, предав его на несколько часов насилию и тупому разбою. Но так же, как лавина, скатившись вниз и встретив скалу, разбивается, так и эта «народная армия», созданная без воли и цели, с лозунгами туманными — «Долой коммунистов», «Да здравствует советская власть» — встретив штыки своих противников, разорвалась и комьями катилась по Каркаралинским степям к границе Китая.

Соединение остатков «народной армии» с отрядом произошло помимо желания вождей повстанцев и чаяния эмигрантов, а в силу определенного, как будто заранее предугаданного плана тех, кто гнал их к Монголии.

Администрация пограничного городка, напуганная прошлогодним нашествием двенадцатитысячного русского отряда, который создал возбужденную атмосферу во всем округе, в интернировании этого отряда отказала. Только после внушительных угроз со стороны «народников», скрепя сердце, согласилась принять отряд при условии полного разоружения.

«Народники», сдав берданы и часть испорченных ружей и пулеметов, рассыпались в цепь на снежном перевале Хабар-Су хребта Тарбагатай и вошли почти насильно в пределы Китая.

Я увидел первого бойца этой армии — громадного, оборванного и длиннорукого, как обезьяна. От этого первого впечатления не мог отделаться никогда: они мне казались какими-то гигантами, не знающими усталости и страха, с громкими голосами, с широкими лопастями шерстистых рук, которые могут раздавить череп, как вареную картошку.

До того момента, который сломал жизнь отряда, у Бакича с губернатором были какие-то серьезные трения, губернатор жался в средствах и экономил в отпуске продуктов. Бакичу приходилось для переговоров с ним иногда ждать приема часа два, а иногда даже и совсем уезжать, не повидав внезапно заболевшего дзюна. Все-таки у всех была затаенная надежда, что щедрая рука китайцев не оскудеет и новый год пройдет так же сравнительно благополучно.

В этой надежде на спокойствие в 40 верстах от границы — надежды довольно эфемерной — лагерные жители,

подчиняясь неборимому закону приспособления, стали засевать около своих домиков огородики, на которых вскоре появились чахлые всходы, покупали коз, будучи твердо уверены, что овощи их спасут от цинготных заболеваний, а козье молоко станет серьезным добавлением к ничтожному пайку.

С утра до вечера люди, заболевшие козоманией, пасли своих животных, справляясь через каждые полчаса, есть ли у них в вымени молоко, таскали на себе с соседних участков землю, где почва была, по их мнению, хотя и солонцеватая, но все же лучше той, на которой были построены их убогие хатки, и утучняли ею огороды.

В четырнадцать верстах, всего только в четырнадцать верстах от города — пограничная линия, перешагнув которую можно быть в той стране, где родился, где даже грязь кажется такой смешной и знакомой и вовсе не пачкающей.

На мосту через речку Бахтинку, разделяющую страны, иногда в светлые солнечные дни можно было видеть две-три фигурки в рваных одеждах, которые, становясь лицом к России, делали руками странные жесты и после троекратного их повторения решительно шли в сторону России или с безнадежным видом поворачивали к китайскому городку.

Они гадали на пальцах — идти, не идти, идти, не идти, идти...

Одновременно с хлынувшей толпой вооруженных «народников» в Чугучаке стали появляться из-за русской границы люди, говорившие на русском языке и, по-видимому, по национальности так же русские, но с каким-то особенным выражением глаз и лица.

Пришедшие из-за границы люди имели своеобразный отпечаток, покоящийся, вероятно, на внутреннем содержании и резко отличавший их от «аборигенов».

Оренбуржцы, которых было большинство в отряде, загоревшие дочерна, постоянно среди несчастий, поражений и болезней, имели на лицах и фигурах какую-то глубокую, ничем не рассеваемую сосредоточенность, пришельцы же много белее, быстры в жестах, торопливы в словах, с бегающими, видящими как будто дальше себя, пронзительными цепкими глазами и вместе с тем с суровыми непреклонными лицами.

Из-за границы с новыми людьми на нас взглянула и новая, непонятная нам Россия.

Несмотря на то, что люди были, видимо, безоружны, в простых рубашках с расстегнутыми воротами, я понял, что они «пришли за нами». Это были те, которые придавили нас в прошлом году к границе.

И действительно, спустя четыре дня, то есть числа двадцатого мая, с русской территории через город Чугучак прямо в крепость губернатора прискакали на крупных, сытых лошадях двести вооруженных всадников с пышными красными нагрудными знаками, и стоянка на Эмиле всколыхнулась.

Мгновенно стало очевидно, что неминуема схватка, которая для интернированных могла кончиться или полным разгромом, или немедленной ликвидацией отряда.

Бакичем был отдан приказ передвинуться к горам Уркашара. Отход на другой день с утра начался и был поспешным, так как расшифрованная перехваченная от красного командования в Чугучаке другому — Зайсанскому отряду — радиотелеграмма предлагала выдвинуть со стороны Зайсана заслон, который должен был занять узкий проход между хребтами Уркашар и Барлык, с целью разметать отряд по долине Эмиль и уничтожить.

Двинулось бесчисленное количество бричек, тележек, двуколок, почти на каждой из которых, поверх всякой домашней убогой утвари, кошем и котлов сидели женщины и обязательно с грудными детьми; впереди отряда гнали стадо — весь наличный запас скота в пятьсот штук баранов; в центре шли спокойные, неторопливые громадные дромадеры с казначейством; по бокам пешие и верховые. И это «великое переселение» замыкали рослые, обезьяноподобные «народники».

Удаляющаяся стоянка во многих местах пылала кострами подожженных таловых хат. Выла и билась чья-то собака, которую хозяин забыл отвязать от горящей хаты. Догоняли торопливо отставшие. Буран, постоянный гость Эмильской долины, дул на дорогу, поднимая серым свитком пыль. Каждый задавал вопрос — куда?

Подвод не только для людей, но даже и для вещей явно не хватало. Весь путь на протяжении многих сотен верст был усыпан рваными кошмами, котелками, сундучками.

С широкой лямкой через плечо отцы несли в ящиках грудных младенцев, и недавно родившие матери, с воспаленными глазами, вздыбленными волосами, шли, едва успевая за мужьями.

В этом несчастье обвиняли только одного человека — Бакича.

Сама близость стоянки интернированных частей к русской территории, общая распушенность и бесхозяйственность, смелая конкуренция в безобразиях начальников с вороватыми подчиненными, нередкие налеты самовольцев-партизан на пикеты красных — все это говорило за то, что Эмильская долина будет ареной трагической схватки, с одной стороны, между китайскими властями и новым правительством России, с другой — с отрядом, оказавшимся в силу последних событий вне закона, и что эта схватка кончится полным разгромом отряда.

Генерал Бакич, принявший командование отрядом после интернации, счел себя прямым и единственным преемником верховных прав погибшего Колчака.

Человек в сущности ничтожный, с грубыми страстями, ослепленный болезненным честолюбием, доводившим его до поступков, граничащих с преступлением, он сам превратился в раба своих фантазий и превратил в рабов своих подчиненных.

Несмотря на полное разоружение и переход на мирное положение, никакого другого суда, как полевого, в отряде не было, и всякое выступление против Бакича расценивалось как бунт против верховной власти. Близость к границе первые месяцы была величайшим соблазном для многих, которые сначала одиночками, потом группами стали исчезать из отряда. Слух о них угасал с их исчезновением.

Бакич пробовал убеждать не совершать безумных поступков, потом угрожал и наконец привел в исполнение угрозы.

Распаленный исчезновением некоторых офицеров и солдат Бакич в одной из своих многочисленных речей, ломая русский язык (он по происхождению серб), сказал:

— Ви мне не нужны, ви можете от меня отойти хоть к черту!

Слова его многими могли быть истолкованы как иносказательное разрешение уйти на родину.

В ту же ночь партия человек в сорок солдат и офицеров направилась по дороге к Чугучаку с целью перейти границу, но на первом же пикете была задержана китайскими солдатами и посланными вдогонку казаками и на рассвете возвращена в лагерь.

И здесь оскорбленный сочувствием этих лиц большевикам Бакич учинил расправу: каждого пятого из рядов хватали, срывали с него одежду и били шомполами, причем сам обезумевший генерал, с искаженным от злобы лицом, пинал поверженных на землю в лицо генеральским сапогом.

Этой дикой расправой был поражен даже китайский комендант лагеря и упрашивал Бакича простить провинившихся.

Виновных держали под арестом и заставляли исполнять принудительные работы.

Впоследствии вся эта партия все-таки ушла в Россию, и сам начальник отряда должен был признать свое полное бессилие и объявить, что каждый может идти «добровольно» в Россию, но что он и китайские власти гарантируют безопасность лишь только до границы.

И одновременно с этим приказом посыпалась масса писем из России, описывающих ужасы правления большевиков. По лагерю летала крылатая фраза: «Знайте, что какой бы ужас вам ни говорили про Россию, это — правда. Если этого ужаса нет, то он был, если нет и не было, то он может быть каждую минуту».

Желание увидеть родину отмирало каждый день и час.

И этот человек вел теперь без путей и дорог тысячи людей в пустыни.

Первый переход был, вероятно, просто тактическим маневром с целью отдалить разгром отряда, не больше. Ни общего направления, ни конечной цели, ни смысла начавшегося движения на юго-восток никто не знал.

Мы шли по караванному пути, но не вьючным порядком, а на колесах, и это чрезвычайно мучило и животных, и людей.

Выносливее, приспособленнее и неприхотливее из всех животных оказался человек и из двух полов — женщина. По неточным, конечно, цифрам, но все же приблизительно правильным, процент умерших во время пути женщин оказался не только незначительным, но даже

ничтожным сравнительно со смертностью среди мужчин. Между тем большинство из них шли пешком, питались таким же голодным пайком и подвергались тем же изменениям температуры и погоды. Инстинкт самосохранения во время этого пути сказался в каждом человеке с явственной, звериной силой. Мог ли рассчитывать окончить благополучно путь один мой знакомый с совершенно почти опустошенным ртом, когда непроваренную пищу он прожевать не мог, если бы ему не помог чудесный безошибочный инстинкт. По утрам он бродил, как голодный пес, грязный и рванный по биваку, собирал совершенно обглоданные кости, дробил их камнями и съедал мозг. И это поддержало и спасло его жизнь.

Мне с семьей одного фельдшера дали молодого верблюда и двуколку, и немало нам стоило положить трудов приучить его не бояться экипажа. Загадочное, гордое животное, с глубокими мудрыми глазами, из которых смотрят дали пустыни, корабль пустыни... и двуколка! Теперь только я понимаю его упрямство.

Я, как мужчина, имел право положить на экипаж мешок с котелком и ложкой и полушубок, сидеть же была понятная привилегия женщин и детей — жены фельдшера с двумя девочками и только что разрешившейся жены больного офицера с грудным младенцем. Такое число живых душ, изъявивших претензии ехать на маленькой двуколке, было и выше ее площади и выше сил верблюжонка, тем более что больной офицер сел верхом на молодое животное.

Непривычный к упряжи молодой, капризный верблюжонок везти экипаж с 4-мя людьми и седоком на своих горбах на второй версте отказался, сложил свои ходульные ноги и лег, и сколько мы ни бились над ним и ни истязали его, он продолжал лежать, коротко повизгивая от каждого удара. Мы были ему благодарны, когда после получасового боя он, наконец, встал и повез тележку без людей. Девочки, голубоглазые, нежные, маленькими шажками шагали с нами рядом. Больной с бледным истомленным лицом, привязав веревку к оглобле, тянулся за верблюдом, и жена его с младенцем на руках, подпрыгивая от каждого камня, шла сзади.

Весь день шли, захватив на пути часть ночи.

Пересекли в брод какую-то мелкую, но бурную речку, вероятно, один из притоков Аксу.

Среди возгласов людей на переправе, скрипов множества колес о галечное дно, я слышал вопль, вопль отчаяния и негодования с крыши здания, темнеющего справа от нашего пути.

Кричал монах-монгол, не позволяя грабить проходящим неизвестным людям его монастырь.

Не помогли ни приказания начальников, ни крики перепуганного монаха — темные люди в темноте сделали свое дело, ускользнув от наказания, и монастырь пострадал съестными припасами и одеждой.

С Узун-Булака все таким же спешным порядком под лучами яркого, в длинном пути, казалось, не сходящего с горизонта, солнца, отряд втиснулся в узкое ущелье Ашилы, в котором жуткая радиотелеграмма обещала нас сжать и кончить.

Как люди быстро проголодались! От Эмильской стоянки прошли всего каких-нибудь сорок-пятьдесят верст, и я чувствовал голод, голод, голод... Насколько я брезгливо отнесся, когда вчера предусмотрительные люди делали запас из мягких частей павшей от неизвестной причины лошади, настолько сегодня яростно, как коршун-стервятник, бросился к конской туше, лежащей гнедым пятном на тусклом поле, рвал и резал куски окровавленной массы и прятал в мешок, оглядываясь, как вор, на быстро скользившие мимо меня обозы: каждая выходившая из-за уступа скалы бричка казалась мне последней.

Я помню, как в этот же вечер кто-то с черными усами, в черном пальто просил у меня кусок мяса, просил поделиться, и я отказал. С куском мяса павшей лошади я отдавал ему часть моей жизни, теперь только мне одному принадлежавшей жизни. Я отказал.

Близ урочища Даль-Турген, среди пересеченной местности, со множеством ручьев и карликовыми долинами, ночь весенняя, короткая, прошла терпким сном, как одна

минута. Я открыл глаза, и мне показалось, что ночи не было, а один бесконечный день с яростным солнцем.

День ушел в тридцативерстный переход вдоль южного подножья хребта Уркашар, по сухой гальке, накалившейся и резавшей ноги через дырявую обувь.

Пить хотелось. Есть и пить. Больше пить.

По слухам, мы должны были остановиться и дневать в оазисе Кара-Булак. После пустынной местности, почва которой крепко отбивала ноги галькой, к пяти часам пришли к оазису, который на пространстве нескольких квадратных верст, едва поместивших кочующих людей, пересекался, точно нарисованными на ярко-зеленом фоне маленькими, быстрыми холодными ручьями.

Распрягли верблюда, сбросили вещи, поставили на огонь чайник.

Не торопились — вечер целый, впереди ароматная ночь, день, еще ночь.

Я разостлал полушубок, на нем разместил чайник, ножки и ложку. Лег на землю.

Солнце заходившее, свист предвечерней осторожной птички, точно прислушивающейся к зову подруги, тихий плеск воды. Потом разделся, лег на мягкое холодное дно речки и забыл, что я изгнанник, брошенный в пустыню, забыл острую боль в суставах.

Я понял воду.

Слаще виноградного соку, пьянее вина и меда, целительнее всяких лекарств — вода.

Я уже не хотел пить, но хватал ее губами, глотал, стараясь все тело пропитать холодной влагой — впереди еще ночь, день, вечер, еще ночь и потом... потом только красная плоть.

И вдруг, точно пробковую кору, выбросил меня из воды пронзительный крик — красные! Сдавленный, надтреснутый — красные!

И деревья поползли вверх, вода покатила куда-то в другую сторону и исчезла, в глазах пошли пятна, и забегали люди, заматались черные пятна крупов лошадей, и неповоротливые верблюды, расставив плоские ноги, визжали.

Кто-то подбежал ко мне голому и спросил:

— Что же это?

— Я почему знаю, что это такое.

И опять тот же жуткий визг:

— С фланга красные! Фланговое движение!

Я взглянул поверх кустов, вдаль, на пройденный путь — ровной, плоской по голой пустыне шла пыль от дороги вправо... Оделся. Впрягли верблюда.

Человек с зелеными вытаращенными глазами, в которых плясал черный испуганный зрачок, подбежал ко мне и спросил:

— Что же это?

— Идиот!

Немного раньше бежали люди, закрутив ремнями упряжек руки, только замученные голодные люди. Теперь и лошади, и верблюды, и также невозмутимые волы, и повозки, и люди метались, стискивали, давили женщин, падали сами, опрокидывали повозки и не знали, где войти в линию обоза.

Ужас, охвативший массы, сам стал первопричиной ужаса и был так велик, что заслонил собою все.

В одном месте сгрудились три возка, лошади, встретив испуганных верблюдов, рвали ремни, и перед ними двое мужчин ругали одного.

Потом раздался выстрел — один из двоих убил третьего, стал хлестать плетью по чужим лошадям, те попятились, одна из них заскочила задними ногами за оглобли и, задыхаясь в хомуте, упала на землю.

Выстрел точно растолкал повозки и людей — стало просторно и даже тихо.

Двое переехали по трупу третьего.

Мой мешок и полушубок с кружкой сиротливо ждали меня под деревом, котелок опрокинул кто-то, а нож — мое единственное богатство — был украден... Не все ли равно, когда к праотцам: сейчас, ночью, завтра?..

Не слышно было ни выстрелов, ни шума сзади, только молчаливая, ровная, широкая полоса выше поднималась в темно-алое небо и шла прямо на нас.

От подножья хребта Уркашар, с ключей Кара-Булак отряд бросился без дороги прямо на юг к горам Джаир.

В двигающейся полосе я как будто слышал, как на измученных лошадях, бряцая шашками и мундштуками ремненных узд, гнались преследователи.

Ритмичность шагов, ровный хруст колес, непрерывное движение минутами заставляли думать, что идем не мы, а под нами скользит земля, темные, задумчивые

силуэты кустарников и тела соседних холмов. Делали в темноте повороты по различным направлениям и останавливались в сырых берегах бурной речонки Уш-Сюртэ.

На внезапном крутом обрыве я остановился. Голова болела — в ней стучали мои недавние шаги. Река, опустившаяся в туман вместе с обрывом, ползла куда-то направо, разрезая темными комьями деревьев хлопья мятущейся густой влаги. Жгла синий свод одинокая звезда. Ветер обрывал на мне одежды.

Я сбежал вниз, окунулся головой в летучий туман, зачерпнул котелок воды и вернулся на бивак.

Усилившийся ветер не давал возможности вскипятить чай и сварить ничтожный кусок мяса, хватал за верхушки деревьев, гнул их злобно к земле, выпрямлял, опрокидывал, делил пламя костра на части. Лошадь, здесь же пасущаяся, храпя, косилась черным блестящим испуганным глазом на прыгающие языки.

Через три часа выступаем.

Красные остановились среди тех ручьев, откуда мы так быстро ушли.

Сутки пути почти в пятьдесят верст без отдыха, без сна, без еды.

Напились теплой непрокипяченной воды, положил под голову мешок, в дальнем уголке которого прилипло мясо, закрылся полушубком и, как только мог, свернулся комком и уснул.

Уснуть дали не больше пяти минут, конечно, не больше — это я чувствовал по стонущим мышцам, тусклой, непроснувшейся еще мысли и отежнему от краткого сна лицу.

Солнце уже поднялось.

Вчера вечером выметенные красными с остановки обозы бросились резко на юг, без дороги, и утром, после бушевавшей ветром над рекой и станом ночи, оказались у топкого болота.

Это болото, образованное вышедшей из берегов речкой Уш-Сюртэ, с серо-зеленым мшистым покровом занимало не больше квадратной версты и было единственным проходом на твердый грунт караванного пути.

Наиболее решительные люди, разгрузив повозки, тащили на себе багаж, перепрыгивая с кочки на кочку, иногда срывались и вязли, за ними облегченные повозки с бьющимися лошадьми. Наш верблюд с широкими лапами и легким возком медленно шагал по болоту и вез.

Если бы его ступни провалились, он не встал бы больше, но животное, видимо, инстинктом чуяло опасность и осторожно ступало на мягкую почву. Во многих местах животные увязали окончательно, и их свистящее, надсаженное дыхание и раздутые алые ноздри показывали, что им больше не встать, а люди в безумии метались, стегали их плетками, били между ушей палками, рвали за узды.

Один серб из личной охраны Бакича завяз на середине болота на двух парах волов с фургоном, нагруженным рисом и мукой.

Я поразился страшной силе этих животных — колеса брички почти по ступицу врезались в густую тягучую грязь, и быки их все-таки вырывали и тащили, оставляя широкий след вспаханной черной земли.

Наконец, они, видимо, выбились из сил, стали тянуть не сразу все, а по одиночке, рывками, и фургон остановился, колеса откатились немного на зад и вскочили в борозду.

Один бык из передней пары упал. Серб завизжал. Из его искривленного рта шла желто-белая пена бешенства и отчаяния.

Он обошел быков, повертел в руках сыромятной, со свинцом на пяти хвостах плеткой, хлестнул упавшего и потом — я не могу вспомнить без содрогания — со звериным повизгиванием и короткими стонами, со скошенными черными глазами, с пеной у раскрытой пасти, втянул голову в плечи, прыгнул, как громадная обезьяна, на быков и стал грязными, длинными ногтями рвать кроющие синие глаза животных.

Серб бегал от одного к другому, рывками хватая за веки, и быки, зажатые ярмом, только жмурились и тихонько вертели головами.

По утреннему влажному воздуху болота пронеслось:
— Будьте прокляты все! Все! Все! Будьте прокляты!

Кто и где крикнул — не знаю. Голос человеческий, но глухой, искаженный отчаянием и слезами.

— Будьте прокляты! Все!

Черными комьями спутавшиеся в непосильных напряжениях бились люди и животные. Серб в иступлении рвал глаза животным. Перебравшаяся часть отряда уходила дальше...

Во мне давно угасли все человеческие чувства — я стал зверем, освобожденным от ненужного теперь рассудка. Я спокойно переступил бы через труп убитого друга, принял бы, как должное, если бы дочери моего спутника — эти светленькие полевые незабудки — умерли бы на глазах от голода, не испугался, если бы заметил, что с соседнего холма в мой опустошенный череп целится красный воин, но вот здесь...

Не чувство сострадания и не желание защитить животных — это мне тогда не было понятно, а какая-то горячая волна поднялась из глубины меня, хлестнула кровью в лицо, и я, как бешеная собака, перебежал короткое расстояние по болоту, прыгнул к сербу, схватил сзади за горло и стал душить — он упал навзничь.

На нем, на нем одном, на этой зверской харе, цепких грязных лапах, на этом ничтожном холопе самого ничтожного в мире человека — Бакича — сосредоточилась моя ненависть.

Я, хотя и обессиленный голодом, задушил бы его в припадке и нисколько не раскаялся бы — мне нужно было, всему моему существу, вылить переполнявшую меня ненависть. Жена фельдшера подбежала ко мне и слабыми руками схватила за плечи.

Будь это мужчина, я, наверно, бросил бы его в грязь, но счастье серба, что это была женщина.

— Стойте! Я за всех — и за вас, и за него, и за быков!

Я встал и мутными еще от злобы глазами прочел в ее темных зрачках одну нашу судьбу, прочел разом всю.

— Гадина! (Какое же еще другое могло быть обращение к нему?) Гадина! Сбрось кладь и тащи на себе!

С конца болота я некоторое время следил, как он тащил на себе по топкой грязи тяжелые мешки.

Как вечный страж болота, на щебне стоял с искривленным стволом безлистый караган. Проходя мимо, я уловил ухом, как стальные, иглистые ветви резали ветер, за ночь усилившийся и перешедший в ураган.

Где-то был посеян ветер, и мы здесь жали бурю.

Наслоилось одно несчастье на другое, одна беда на другую, и этот ураган прибавил еще страдания.

Весь путь от болота на реке Уш-Сюртэ до золотого прииска Чумпазы, у северных склонов хребта Джаир, расстоянием не больше 35—40 верст, обошелся нам не менее 55 верст потому, что дорога шла крутыми поворотами то вправо, то влево, обходя топкие места той же речки.

Не идти, остановиться не было возможности — ураган дул с ровной, безудержной силой, точно толкал упругой рукой в спину, больно бил в затылок поднятыми с пути мелкими камнями. И люди в растрепанных одеждах, приплясывая, бежали за катившимися повозками.

Здесь ураган казался какой-то злой одухотворенной силой, все стремление которой было выдуть из людей последний остаток надежд, физически измучить, пришить к земле и убить.

Впереди меня он поднял изорванную юбку какой-то прыгающей женщины, показал ее наготу всем и бросил на колени на галешник. Она силилась подняться. Ей помогал мужчина. Мы пробежали мимо.

Время пустынное нехотя выбрасывало минуты, как старые поломанные гроши, с безгливой досадой отдавало нашему пути часы, и мы за каждую минуту и за все часы должны были еще расплачиваться слепой, бешеной пляской под хлыстом урагана.

Во рту пересохло.

Напиться можно было. Среди гальки в направлении нашего пути шла маленькая речка в топкой рамке осоки и низкорослого придавленного кустарника, временами исчезающая в сухой земле, но до нее нужно было, с риском отстать от отряда, пробежать полверсты, с тем чтобы возвратившись вновь захотеть пить.

Я видел, как обессиленные, затрепанные ветром одиночки, с лицами, почерневшими от холода, бессонной ночи и тяжелого перехода, подходили к высунувшимся, как черные лапы дьявола, кустам карагана, ложились и сразу же засыпали.

Пример для многих оказался заразительным — такие затишенные места стали выбирать пары, группы, и можно было видеть, как мгновенный сон захватывал их в самых неожиданных позах.

Может быть, они умирали, может быть, засыпали сном мертвых, во время которого спящего можно толкать, бить, даже резать — он не услышит.

Я продолжал бежать, но смутно начал понимать, что силы, всякие силы меня скоро покинут окончательно. Я хотел спать сном голодного человека...

Мои спутники оказались выносливее меня, но не потому, что были здоровее, а имели возможность каждый день обменивать на вещи конское мясо. У них дети. Это их защита и право. Они должны быть здоровыми для детей.

Я же был бедняк.

Кроме полушубка, котелка и ложки (нож украли), я обладал только еще самим собой, да и то не полностью (случай с сербом), а кроме того, это обладание начинало становиться непосильной тягостью. Я предпочел бы сам от себя освободиться, а вещам предоставить право самоопределения, но инстинкт жизни, казавшийся мне теперь самым подлейшим, был сильнее всего.

На остановках как бы долго я ни варил свой ничтожный паек, есть его я кончал значительно раньше их и слышал, как они ели, как делились между собой, хотя и не жирными, но все же сочными кусками конины, слышал и чувствовал — смотреть я не мог, как горячий суп катился в их желудок, какой он, этот суп, в сущности дрянной — без соли, цвета черных пенек.

Со мной поделиться? Смешно и подумать: их собственная жизнь была им бесконечно дороже, чем моя, нищего человека, стоящего на общественной обозной лестнице на самой последней ступени... Попросить? Ответ — а дети?

Лежа на спине, заложив руки за голову, на биваках я был совершенно один на всем земном шаре. Один. И я слушал этот мучительно интересный процесс еды других людей...

Я видел открытые рты уснувших под караганом, позы их тел, освобожденных на некоторые часы, а может быть, навсегда от адской пляски, и понял, что еще полчаса, и я подойду и лягу под эту лапу с черными и острыми когтями.

От первой попытки меня удержали мои спутники — кто здесь лег, не зная, где остановка, тот никогда обоза не догонит.

Если сегодня он отстанет на 10—15 верст, то завтра ему придется сделать, но уже без нищенского пайка, не 40—45, а все 60 и т.д.

Прогрессия понятная и убедительная, как всякая цифра.

Я щупал в безнадежной дали глазами голову отряда, и всякий раз взор меня убеждал, что только до головы верст 10, а она все еще поднимает пыль, движется.

Солнце катилось к западу.

Прыгающие, изуродованные тени становились такими длинными, что концы их рассеивались где-то далеко среди серой гальки.

Я еще раз посмотрел на солнце, еще раз увидел захлебнувшуюся в пыли голову обозов, выбрал куст, подошел, встал на колени. Какая тишина здесь, какой убаюкивающий ровный, как пение электрической машины, звук разрезанного сучьями ветра...

...Я уже спал...

— Что вы! Не смейте ложиться! Вы не встанете!

— Нет. Я хочу спать. Довольно. Я должен спать, — отвечал я заплетающимся языком.

— Я спать вам не дам! Смотрите — женщины идут!

Да, действительно впереди шли женщины.

— А вы — мужчина...

— Нет, я не мужчина, я никто...

И я лег, я не мог тогда понять, зачем ко мне пристаёт, что хочет от меня человек, у которого каждая морщинка была забита пылью, отчего казалось, что вместо лица у него маска. Он схватил ворот моего полушубка, стал меня трясти — голова моя бессильно болталась — потом бить твердым, как камень, кулаком по спине, по груди, даже два раза пнул в живот и поставил на ноги.

— Иди!

И я опять пошел, но уже не так, как раньше, а каждой частью тела я засыпающей мыслью старался припомнить, кто мой оскорбитель.

Вспомнил.

Да. Этот человек может идти, не боясь отстать, если у него в ногах вставлены стальные пружины.

Это было почти так... Я знал его раньше в Эмильской долине, несколько раз видел в пути. Один раз он шел по обратному направлению. На мой вопрос, куда он спешит, он ответил, что на остановке забыл кружку.

От бивака отошли верст 8, а к вечеру он подходил к остановке вместе с обозами, сделав лишних 16 верст, и следов особенного утомления заметно в нем не было.

Такой человек может идти и имеет полное право жить...

Видел смутно, как заснувший казак свалился клубком с лошади наземь, застонал от тяжелой боли в дреме, принял удобную позу и продолжал спать. Лошадь на худых ногах с вылезшим хвостом одна продолжала трусить вперед.

Пока я слышал где-то над собой голос человека, поднявшего меня, я шел одно время как будто бодрее, но когда опять взглянул на подползавшие к нам медленно небольшие холмистые склоны хребта Джаир и понял, что движение, это бесконечное движение, поглотившее весь долгий весенний день, все продолжается вдоль этих холмов — всякие силы меня оставили.

На четвереньках я сполз с дороги, пробитой тысячами колес.

Солнце зашло.

Тени черные легли в короткие пади.

Стихал ветер.

Как мельницы, много, много мельниц, шумели колеса. Хрустя о жесткую гальку, шли люди в пыльных масках.

Натолкнулся руками на отверстие в горе, лег и уснул.

Долго спал я или нет — не знал. Может быть сутки, может быть час. Когда проснулся — была ночь, тихая, ясная, безбрежная и холодная.

Я приподнялся на локоть и застонал невольно. Болела каждая кость, каждый мускул, каждый мельчайший нерв. Вышел из логова. Стал смотреть в землю, дорогу искать.

Не нашел.

Сзади меня из узкой щели провала взошла ущербная луна.

Пустыня лежала широким, плоским телом во тьме.

Я отстал от людей, они уже впереди.

Один в пустыне. Один.

Вот и жизнь кончена. Вот какой конец-то. Не знал раньше, что это так просто.

Я думал, что, когда умирать буду, надо мной будут стоять хоть одни любящие глаза.

Ногой тронул — хрустнул камень о камень. Глотнул слюну, чтобы увлажнить распухший от жажды язык.

Молиться? Поздно. Кому? Богу? Теперь молиться — значит торговаться с богом из-за двух часов жизни. Плакать? Влаг в глазах не было, не было влаги во всем теле.

— Слушай, не много ли ты навалил на плечи одного человека?

Но какое-то слово нужно сказать перед новой дорогой в другую страну?

— Мама, — сказал, тихо позвал, повернул голову к луне. — Мама.

Говорят, особенно тяжкие преступники перед казнью зовут мать, нежно, по-сыновьему, любовно.

Может быть, и я преступник.

И из пещеры, где я спал, кто-то жалобно, как ребенок, вскрикнул. Грудной ребенок?!

— Не может быть? Я с ума схожу!

Ребенок! Бросился туда по гремющей гальке. Зверек, наверно, хозяин пещерки.

Нет. Опять крик грудного дитяти, жалобный, беспомощный. Так плачут именно дети — крикнут, замолчат и опять крикнут.

На земле, завернутый в лохмотья, лежал грудной младенец.

И мать здесь, наверно, близко, спит голодным сном. Искать стал, обшарил всю пещеру.

Небо зорилось. Нет матери.

Я взял ребенка. Он, разбросав ножонками грязное тряпье, почти застывал от холода.

К себе прижал.

Рассвело.

Я шел с чужим ребенком, я догонял людей, от которых отстал.

Ребенок перестал вдруг дышать — он умер. Его первое право, право на жизнь отняли люди, и первая из них — мать.

Я отошел на три шага от дороги, раскопал гальку руками насколько мог, положил в нее ребенка, прикрыл галькой же и, чтобы не растащили птицы и невидимые звери пустыни, этот маленький холмик привалил большим камнем и пошел дальше.

Отряд остановился около прииска Чумпазы.

Прииск Чумпазы на речке того же имени, некогда принадлежавший богатым русским купцам Москвиным, теперь не разрабатывался и был заброшен лет восемь. Гли-

нобитные стены трех корпусов сравнительно еще хорошо сохранились, но от окошек и дверей не сохранилось даже и следа. Эти запустевшие здания служили остановкой для караванов, следующих в Манас, и прислуга каравана, вероятно, сожгла на кострах все деревянные части.

Река Чумпазы, одна из омерзительных рек, когда-либо встречаемых мною, имела болотистые берега с безвкусной, слишком сырой травой и низкорослыми, исковерканной формы, кустарниками, с илистым дном, которое все поднялось на поверхность от множества ног и копыт и замутило и без того солонцеватую, неприятную на вкус воду.

Но все же эти здания дали приют на несколько часов больным людям, особенно пешим, и возможность если не согреться от холодного ветра, то загородиться от него не одному десятку людей.

Из уст в уста переходило приказание: три часа остановки и дальше в путь. Красные близко.

Сотни человек похоронены за этот день ураганом пустыни.

Бакич приказал облегчить повозки и посадить по возможности пеших и двинуться в путь.

БЕЗЛИКОЕ

Солнце встало. После приказания выступить, через четверть часа были запряжены повозки и оседланы лошади. И только пешие, наиболее легкие на подъем, еще несколько медлили, чтобы приготовить на горячих углях из чая густой, как сусло, напиток, и быстро глотали его уже не для утоления жажды, а для заряжения сердца на длинный переход. Сердца, отравленные теином, бились сильнее, увереннее.

Если бы у нас не было избытка чая, этого поистине спасительного напитка при громадных переходах и голодовках, народу умерло бы еще больше...

Некоторое время мы двигались по северному склону Джаира, который в долине Мукуртая и к реке Чумпазы спускался небольшими холмами красной глины, переходили в брод в нескольких местах илистую речку Чумпазы и двигались теперь уже прямо на восток, перейдя по ветхому мосту значительную реку Дям.

Я заметил характерную особенность некоторых рек в этой части Монголии, которая на первый взгляд мне казалась странной. На незначительном квадрате пространства речки могли течь в самых разнообразных направлениях, иногда сливаясь в своих устьях в один небольшой бассейн.

Некоторые внезапно исчезали со своего поверхностного русла, бежали под землей и вновь выходили на поверхность.

Пройдя вдоль речки Дям несколько верст и сделав в этот день в общей сложности переход верст в тридцать пять, отряд расположился среди деревьев и сочной зелени.

Мои ветхие сапоги пришли в полную негодность, пальцы торчали из носков, и я ступал на путь почти голый ступней, что причиняло мне нестерпимые ожоги и ранения от накалившихся острых камней. Нужно было достать какой-нибудь материал для обуви, чтобы я мог продолжать путешествие.

С большим трудом мне удалось получить около квадратного аршина бычьей кожи и, когда я уже в сумерках притащил ее к костру, меня взяло невольное глубокое раздумье: сделать обувь или съесть этот кусок упругой, как гуттаперча, кожи.

Решить эту дилемму было чрезвычайно трудно: съесть — значит остаться без обуви и изранить ноги, сделать обувь — значит лишиться себя давно неиспытанного наслаждения вкушать значительное количество пищи и процесса приготовления этого кушанья.

Как ни ворожил, как ни думал — в конечном выводе всех выводов мерещилась смерть.

Наконец решил сделать обувь и остатки съесть. Я размочил в воде кожу, она растянулась и эту студенистую, сырую массу я надел на ноги, затянув ремнем так, чтоб не снять. А все мельчайшие обрезки подобрал, поджарил на палочке на костре и съел.

Кучками, парами, с сумрачными лицами люди сидели около костров. Над ними раскрывался ясный небосклон, где на неизменных орбитах шли неведомыми путями со звездия.

Сюда приплелись отставшие даже за этот короткий путь, чтобы с обогнавшими их под звездами свести свои дневные счета.

Когда ты садился, чтобы поправить обувь, на пути, по которому идут люди, растянувшиеся колыхающими живыми цепями по обеим сторонам обоза, то сколько ты получал проклятий от этих одиночек людей, самостоятельных маленьких государств с деспотическими законами, сколько ты получал самых омерзительных проклятий за то, что заставляешь делать лишние два-три шага, чтобы обойти тебя? И теперь на дневке брань голодных, озверелых людей не прекращалась, пока сон не схватывал их и не придавливал к земле. Ничто так не обезличивает и не уравнивает всех, ничто так быстро не превращает людское общество в стадо, как массовое несчастье. И здесь я узнавал, что муж и жена вовсе не брачная пара, а всего лишь лица, связанные друг с другом случаем. Я видел, как они делили выданный им обоим паек мяса на равные части, варили пищу в разных посудах, а если по необходимости в одной, то считали ложками и царапали друг другу глаза, когда кто-нибудь обнаруживал, что другой съел на две ложки больше.

У одного чиновника-беженца было трое детей и этот, в общем незлобивый человек, на каждой остановке бил их нещадно только потому, что они дети, что они просили есть.

Он был беден и голоден, жена его, почерневшая, измученная женщина, была тоже бедна и голодна и дети бедны и голодны, и потому у матери и отца детей не было.

Обезличившее несчастье делало это стадо массой пассивной, способной только ощущать, но не понимать, массой, готовой на ужасы и насилие.

Но брань и склоки все-таки утихали — ночь брала свои права.

Я разбросал угли на костре, подождал, пока они достаточно накалят почву, и лег.

Битва за жизнь

С этого бивака вышли в два часа дня и двигались вдоль реки Дям; на двадцать пятой версте оставили ее на юге и начали подниматься отлогим подъемом на горы Хара-Арат.

Сзади явственно слышались оружейные выстрелы — красные, догнав часть отряда у переправы через реку Дям, отрезали его и по уходящим били шрапнелью.

Узкой прорезью среди скалистых обнажений мы поднимались все выше и выше.

Повозки во многих местах застревали, и мы принуждены были разбирать их и перетаскивать по частям.

Зная, что обозы здесь пробьются несколько часов, я свернул в короткую зеленую долину и прилег в тень. На гребне скалы с козой маячила чья-то фигурка. Животное, не выносившее веревку, металось из стороны в сторону, останавливалось, упираясь всеми четырьмя копытами в камни, и человек дергал ее за веревку; коза рванулась, бросилась вперед и, свалив хозяина, потащила его за собой, обнаружив при этом необычайную силу для такого маленького тела. Человек поднялся исцарапанный и начал бить ее хворостиной.

— К чему бьете? — спросил я. — Поможет, думаете?

— Поможет, не поможет, а бить нужно. Понимаете, это у меня теперь потребность. Вы думаете, на остановках у нее пасу? Нет, истязая, иначе она не даст молока. Хотите чаю?

— Разве можно отказаться?

— Тогда держите ее, гадину. Я наберу воды.

Он дернул еще раз за веревку и скрылся за соседней скалой.

Коза действительно не ела травы, которой было достаточное количество на хребте, а только порывисто дышала боками, вытаращив испуганно-глупые, с кровавыми жилками глаза.

Через минуту он вернулся.

— Теперь доить. Держите крепче!

Я принужден был исполнить его предложение, иначе лишился бы чаю: взял животное за рога, а он три раза вытянул козу палкой вдоль спины и начал быстро дергать соски неумелыми руками.

— Вот видите — всего четверть стакана! Не спускает, гадина.

И эта операция повторялась несколько раз. Я думаю, что он не доил все-таки ее, а выколачивал молоко.

В узких проходах отряд бился несколько часов и, вырвавшись из каменных клещей, попал в песчаные дюны долин.

У какого-то семьянина лошадь упала, он распряг ее, стал растирать бока кошмой (зачем это, я не понял, веро-

ятно, по советам знахарей, которых в таких случаях находилось множество). Потом, когда это средство не помогло, он поднял бессильную голову лошади с измученными глазами и стал ковырять ногтем в ноздрях, «спускать кровь». Конь вскочил от судорожных предсмертных движений, начал дрожать всем телом, точно желая стряхнуть с себя множество насевших насекомых, вновь упал наземь, катался и сразу, вздрогнув, вытянулся, застонал и, запрокинув голову, издох.

Жена беженца сидела на горячей гальке и вытирала рукавом невольные слезы, муж с разведенными руками стоял над павшей лошастью.

Мы прошли мимо, с ужасом оглядываясь на безнадежную картину.

За все время наш верблюд досыта не ел и не отдыхал, и утомление обещало его свалить в песок. Опасения наши оправдались: сложив ноги и огласив сухие соседние скалы коротким визгом, он лег. Моим спутникам с детьми приходил конец. Первое, хотя далеко не разумное, что пришлось в голову, — бить. И, став с фельдшером с двух сторон, мы начали сечь верблюда — он палкой, я ремнем. Очнувшись я от злобного иступления только, когда совершенно обессилел и сел на землю. Из под ногтей шла кровь, кожа в боку верблюда была во многих местах пробита страшными ударами пряжкой ремня. Но верблюд все-таки встал. Он медленно и, как мне показалось, шатаясь, опять покатиł по песку тележку. Мы молча шли около него, боясь спугнуть его движение.

Спустя полчаса, с тем же капризным визгом, он опять встал на колени и хотел лечь, но подтолкнутая мной сзади двуколка заставила его податься вперед и выпрямить ноги. Жена фельдшера побежала к соседней скале, нарвала эфедры, отвратительно пахнущей и горькой на вкус, но составляющей в этих пустынных местах обычное и, видимо, лакомое блюдо для верблюдов, и стала с самыми жалобными словами толкать ему в пасть. Он был голоден не менее нас, но и здесь своему обычаю не изменил — ел медленно, забирая постепенно в рот траву, тщательно прожевывая ее и осматривал проходящих мудрыми глазами, с затаенными думами о далеких сказочных странах, где растет в изобилии сладкий кустарник карагана и зеленой чи.

Когда подходил к нему я, он выбрасывал изо рта пищу, скалил громадную пасть, в которой мой череп мог лопнуть, как пустая скорлупа, и харкал в меня зеленой, непереваренной, с отвратительным кислотным запахом, перебродившей в горячем желудке травой.

Мы друг друга ненавидели.

Моя ненависть к нему была так велика, что, если бы я имел револьвер, я пристрелил бы его в припадке умоисступления.

Мимо нас катились повозки с высохшими лошадьми, с визжащими дромадерами и быками, у которых от жажды были высунуты на сторону лиловые языки, мимо, так же, как мы, мимо того семейства, которое, вероятно, и сейчас на том же месте и в тех же позах.

К вечеру пришли к ключам Улусту-Булак.

По таким же пескам и галешнику, среди которых возвышались, точно насыпанные в играх сыновьями таинственных титанов пустыни, удивительно правильных очертаний холмы красной глины, мы шли медленнее, останавливаясь через каждые пятьдесят минут на отдых в десять минут.

Но присесть в эти краткие мгновенья на землю не удавалось — галька была страшно накалена прямыми лучами солнца.

На двухчасовой остановке все наши усилия были направлены к тому, чтобы накормить верблюда, и даже детишки тащили ему травы, но, как это ни странно для громадного голодного животного, от меня он пищи не принимал и отвертывался, точно ожидая, что вместе с травой я брошу ему в пасть яду.

На нашу дневку у Саркен-Тюра, следуя своим путем, едва заметным для непривычного глаза, наткнулся караван из пяти верблюдов с проводником сартом на осле. Ему было предложено за серебро передать муку и рис отрядному интенданту, но, видимо, этот насильственный обмен не входил в хозяйственный план сарта, и он долго сидел, поджав под себя ноги, взывая к Аллаху. Он совершенно не понимал, что с ним случилось в пустыне.

Первого июня ранним утром из уст в уста передавалось приказание сделать запас воды, так как на переходе в пятьдесят верст нет воды.

Мы набрали полные котелки воды и, тщательно закрыв их тряпками, привязали у оглоблей поперек двуколки; и, увы, при первом сильном толчке наши котелки пролились до капли. А как это было легко предугадать! Правда, дети не были лишены воды — мать для них несла в бутылке, но мы... Пить сразу же захотелось, захотелось до боли...

В начале второй половины горячего дня верблюды начал заметно уставать и шагал медленно, иногда даже останавливался, но еще не ложился.

Я хорошо и теперь помню этот отвратительный, капризный визг: он крикнул и сразу лег, и мы опять, как вчера, растерянно окружили его.

— Поднимать?

Били. Я опять бил его до синих кругов в глазах, фельдшер — до полного бессилия.

— Я подниму его, — пробормотал мой спутник.

Он набрал палочек и сухого помета от караванов, проходивших здесь некогда, и разложил у него под хвостом костер. Как мы не догадались сделать это раньше? Огонь опалил ему хвост, обжег тело, и он вскочил и даже рысцой пробежал несколько десятков сажен. Мы торжествовали, но это злорадное торжество было преждевременным — верблюд опять лег, и на этот раз в его поведении чувствовалась какая-то хитрость.

Опять костер, опять подпаливание нежных, не закрытых шерстью частей тела, опять короткое повизгивание, но, к великой нашей злобе и отчаянию, он не вскочил на этот раз обожженный, а только отполз на коленях на один аршин и продолжал, свирепо оглядываясь, плевать то в меня, то в фельдшера вонючей зеленой слюной.

Пододвинули и опять разложили костер, и животное опять отползло. Такой способ передвижения, сколько бы терпения ни было у нас и у него, не мог считаться успешным.

Мы решили дать два часа верблюду на отдых, рискнув для этого отстать от обоза.

За перевалом Орылгун-Дабан на заходящем солнце горели снеговые вершины гор Мустау.

Мы поднимались. Становилось прохладно. Верблюд шагал сам, к великой нашей радости.

Дальнейший дневной путь втискивал нас в суживающееся каменное горло, из которого смотрело красное солнце.

На самой вершине перевала, в долине, покрытой плитняком, обозу было приказано остановиться по правую и левую сторону.

Без воды целый день, остаться на ночь без воды среди камней — немыслимо, но это приказание все-таки выполнялось молча и торопливо, и повозки упряжкой друг к другу с широким проходом посредине вытянулись в два ряда.

Краснолицый молоденький казачок на крепкой лошадке трусил по обратному направлению и все спрашивали его о причине остановки, он с невольной глуповатой улыбкой отвечал:

— Долина за перевалом и речка заняты отрядом красных.

Какой-то человек в оборванной одежде передал мне конверт, в котором я нашел приказание отправиться на дежурство к казначейству. Натянув на плечи тулуп, я отправился на пост.

Кажется игра в прятки кончена: мы пойманы в каменную мышеловку.

Помню, раздавались одинокие голоса: «Сдаться и кончить это безумие». Но ответом на них было молчание, не потому, что в этом молчании чувствовалось желание перейти по человеческой крови до воды, а просто нечего было ответить на эти слова.

Передовые части без выстрела сняли пост красных в три человека на перевале... Трех серых людей провели в штаб. От них узнали — триста человек при десяти пулеметах.

Ночь наступила. Тускнели алые краски белков Мустау. Мерзли ноги. Томил голод и жажда. Я набрал в рот мелких камешков с намерением вызвать слюну.

Как хороша смерть! Почему костлявая, беззубая старуха? Почему не прекрасная женщина с влажными руками, медлительная, властная, со спокойными глазами, из которых смотрит мудрость вселенной?

Те, что умерли вчера, — счастливы, они не желают... Тьма смела людей в черные барахтающиеся кучи.

Казначей разрешил людям развести огонь, загородив его со всех сторон кошмами.

Глухой, прыгающий огонек, со слетающими с концов языков спиралями дыма, таял здесь где-то близко, не дробя обступившей темноты.

Я сел на воз.

Слушал. Ждал. Смотрел.

И ничего, кроме сдержанных, одиноких ударов копыта о камень или упавшего наземь топора, не слышал.

Утерянная жизнь в сомнениях прошлого, жизнь без настоящего и будущего. Я не ждал ничего. Я смотрел слепыми глазами на почти угасшие краски белков.

Над костром кривлялись чьи-то лица, изуродованные неверным светом, — фигур не было видно — усиливали огонь раздутыми щеками.

И среди этого цепенеющего от ужаса перед темным за-
втрашним днем царства я услышал скрипку.

Я обратился к первому маячившему над огнем лицу с вопросом: кто это играет?

— Тут один... Я не знаю его... Пристал тут на остановке после урагана... и идет....

И оживленно:

— Он три дня уже ничего не ел и не пил. Идет впереди вожатого верблюда казначейства и играет... Да... Три дня играет... День и ночь, день и ночь...

— Так он сумасшедший?!

— Не знаю... Может быть, сумасшедший, может быть, нет... Не знаю... Наверное, сумасшедший.

— Кормить пробовали?

— Пробовали. Возьмет в рот и выплюнет, точно не понимает.

Я сполз с повозки и пошел на звуки.

— Николин? Да, он...

Ноги его были подобраны под себя, голова с закрытыми глазами, со свисающими спутанными волосами почти лежала на деке скрипки, из которой тонкой струйкой лился однообразный, жуткий, не слышанный мной в его музыке мотив. Каждый нерв лица имел какое-то самостоятельное бытие, отражал по-своему каждый нюанс и искажал, точно пляской св. Вита, его лицо до неузнаваемости.

Через определенные промежутки он как будто кончал играть, легко поправлял подбородок, стряхивал головой

падающие волосы и продолжал повторять те же музыкальные фразы. Особенно жуткими, щемящими сердце предчувствием казались эти перемежающиеся с музыкой перерывы. В них чувствовалась мертвенная неизменяемая законченность.

И головы над костром кривлялись, но слушали.

В Эмильской долине он однажды в пьяном бреду сказал мне:

— Вы знаете, почему существует мир? Потому, что в нем заложен основной момент — творческий ритм.

Его теория ритма была для меня не совсем понятна, но здесь у костра, вспомнив его слова, я понял, всего только одним мгновеньем, что он прав.

— Абсолютна только бесконечность, остальное в мире вещей все к ней относительно.

Дальше в порядке постепенности ритм дает закономерность и последняя рождает законы, наиболее понятные и постижимые нами проявления первичной силы ритма.

Здесь среди каменных, поставленных на ребро громадных плит и утесов в нем, во всей его фигуре, в этих перерывах и страшных по своей законченности и закругленности музыкальных фразах я прочел, что тусклый огонек его жизни на перевале Орылгун-Дабан уже отгорел...

В кучке сидящих что-то колыхнулось, легко треснуло и вместе с дымом из костра полетели, виясь, красные искры с мельчайшими черными угольками.

Скрипач кончил свою музыку и упал замертво в костер. Забегали люди, угасал костер, открылись тряпки, потом четверо с трудом его подняли за руки и за ноги, оттащили по гремящему плитняку к склону горы, рядом положили смычок и скрипку, закрыли мертвое лицо фуражкой, и сами вернулись к костру.

Завтрашний день, несмотря на глухую ночь, откуда-то из-за широких хребтов прокрадывался к обозу и неминуемо должен был взять свои часы и эту местность на перевале Орылгун-Дабан.

В туфлях из бычьей кожи ноги нестерпимо мерзли, но около костра мне, случайному человеку, места не было — огонь окружали три кольца голов, рук, ног, но кому-то я сквозь зубы пожаловался, и он посоветовал лечь между двумя верблюдами.

Я не видел в темноте их тел, только чувствовал, что на мои шаги поднялись три громадных головы и блеснули фосфоресцирующими глазами.

Я нащупал шерстистые тела, протиснулся между ними, под теплую грудь одного подсунул ноги, на другого положил голову и заснул.

Я не успел еще проснуться, но тихий возглас немого ужаса вылетел из моей груди...

Внизу, за перевалом, где была вода, лихорадочно стрекотали пулеметы, начался бой — кто-то пришивал окровавленные тела свинцовыми, длинными нитями к земле.

Как ни было сильным приказание быть неотлучным на охране, я не мог удержаться, чтобы не пойти посмотреть, как будут умирать люди, прошел между скалой и задами повозок к самой вершине Орылгун-Дабана и стал смотреть.

На хребте не бегали, каждый был точно прикован короткой цепью к своему возку, вынимал тряпки и вытряхивал из них пыль.

Эту трагикомическую особенность людей отряда — трясение одежд — я заметил при сильных тревогах. Теперь тоже трясли все, не замечая друг за другом этих разительных жестов. Зачем? К чему?

Некоторые, скорчившись, сидели под телегами и рвали зубами недожаренную на слабом огне кровяную конину, оглядывались испуганно, говорили шепотом. Другие, надев на себя шубы и кошмы, во избежание возможности, что им прикажут идти на место боя, изображали собой груды вещей, положенных просто так.

В зеленой глубине, по долине, где было так много холодной свежей влаги, вытянулись друг против друга зыбкими полосами люди, и черными горами обозначалась прислуга пулеметов красных.

И на хребте, и в долине было много людей, но ни там, ни здесь не было жизни, а только приготовление к смерти.

На зеленой шахматной доске задвигались карликовые фигуры солдат, конных, пулеметов, и этой кровавой игрой управляли две руки — одна, пробивающая путь к воде, сжимающая воли всех нас, подергунчиков на веревочках, и другая — преграждающая.

Криков не было слышно, но они были, чувствовались в безумном метании серых полосок — без крика люди не умеют идти умирать...

За речкой затрещал пулемет, и люди по эту сторону начали падать, падать, падать, линия их вогнулась и черными оборванными жгутами и комьями начала ползти вверх, к скалам Орылгун-Дабана...

И тяжкое, безликое предчувствие прошло по двум плотным рядам обозов и к каждому человеку прикоснулось сумеречной рукой... А солнце взошло и в долину и на перевал.

Привезли неведомо откуда-то появившийся пулемет, и на возке в сидящем человеке я узнал толстолица. Его тонкая, выхудававшая рука лежала на стволе дрожащего пулемета.

Сны его оправдались.

Какой-то всадник в расстегнутой тужурке галопом проскакал обозы, что-то кричал, куда-то звал, назад вернулся, опять стрелой промчался по проходу, махал плеткой. И никто не двинулся. Все замерли под телегами, у телег, взнуздывавшие лошадей, трясущие тряпки и даже те, кто рвал зубами кровавое мясо. Всадник замахнулся на серую фигурку плеткой, опустил на голову, и фигурка вскрикнула и вскинула руками: вышли люди и темными запятыми друг за другом пошли через перевал к месту боя.

В долине замолкли звуки. Все прислушивались. Вдруг долина сразу загорелась тысячами залпов. Бились... Прошло еще два, три часа.

К воде!

По крутому длинному северному скату хребта Семистай и в долине лежали раздетые своими же трупы — это плата за право напиться воды. Кто-то должен был умереть и умер.

Стали медленно спускаться. Один из трупов вдруг поднялся, оглядев изумленно глазами, потрогал свое голое тело и сел опять на землю...

Некоторые подошли, думая, что это раненый, который просит помощи, но он оказался совершенно невредимым. Из расспросов мы узнали, что в цепи от утомления и голода он уснул и после боя его сочли за убитого и раздели. Люди шли и смеялись над ним, но все-таки его одели.

Толстолице заплатили по счету за воду, которой мы должны напиться.

Я лежал почти весь остаток дня на берегу речки Кобу и смотрел на только что покинутый хребет Семистай. Грандиозные серые каменные башни, короткие изломанные провалы, стесненные ущелья с обрывами бледно-красного цвета, громадные осыпи врезались в синий свод небес. Это была совершенно недоступная, купающая свои высоты в облаках крепость, и казалось странно, что тяжелые телеги, неповоротливые брички могли пройти узкими щелями, доступными лишь для вьюков.

— Наклонитесь к земле, приложите ухо. Слушайте, что это? — сказал мой спутник.

Наклонился, приложил ухо к земле, слушал: шел бой, приближался, топали копытами о камни бегущие лошади, глухо стучали выстрелы. Он поднял побледневшее лицо на меня. Близко. Опять. Оба слушали...

Потом я улыбнулся. Испуг от недалеко отступивших часов еще не прошел. Грезился бой, но боя не было: стучали топорами, раскалывая топливо для костров, и земля четко отдавала удары.

Утром опять в путь. К 11-ти часам дня достигли притока Кобу речки Боян-Або, настолько незначительной, что ее можно было без труда перешагнуть. Поодаль росла пучками зеленеющая снизу неизменная трава чи, полынь и редко, точно насаженная, ива.

Здесь были заметны следы прохождения каравана: верблюжий помет и зола от костра, но ни одного дерева, испорченного случайными гостями, не было. Особенно нежную любовь все монголы питают к этим кустам-одиночкам, кажущимся такими яркими и прекрасными, и считают очень дурным поступком срубить или испортить хотя бы одну ветку в оазисе.

На сером жеребце арабской крови мимо проезжал Бакич, огляделся, улыбнулся, быстро спрятал улыбку в крепкие черные с проседью усы и приказал здесь остановившимся двигаться дальше.

Я сидел на кочке и внимательно рассматривал его: властное, почти жестокое лицо с крупным носом, всег-

да надвинутая на черные спокойные глаза фуражка, жесты грубых и загоревших рук и вся его посадка говорила: я здесь ваш господин. Спрятанной улыбкой еще больше подтвердил впечатление. Что ж? Проезжай, господин. Проезжай, подрядчик! Я отдохну немного и пойду считать следы копыт твоего коня.

МИРАЖИ ПУСТЫНИ

Выступили в два часа дня, чтобы к вечеру пройти до незначительной горной речки Улу-Булак и от нее сделать безводный переход в девяносто верст к озеру Улунгур.

Телеграфная дорога, вдоль которой мы шли первый десяток верст, исчезла и только к сумеркам появилась и привела к маленькому оазису, окруженному небольшими горами, с холмом посередине, омываемом двумя ответвлениями реки Улу-Булак.

— Не пейте воды! Пить запрещено! Вода отравлена! — кричали люди и все-таки бежали с котелками и ведрами к воде.

Весь прилегающий к реке холм и сама речка были усеяны массой полусгнивших трупов баранов. Они пали от неизвестной эпизоотии и заразили воду. Люди пили, поили лошадей — так дорога была вода — и никто не боялся умереть сам и погубить лошадей.

Сумерки быстро переходили во мрак. Между холмами со всех сторон света подступила близко безликая пустыня. Смерд от трупов висел в воздухе, и люди здесь же разводили костры, варили чай из этой зараженной воды и пожирали в одиночку нахватавшиеся за день куски мяса от павших по пути лошадей и, казалось, благославляли этот день за короткий переход.

ОЗЕРО УЛУНГУР

Покинув оазис Улу-Булак, отряд начал двигаться на восток по долине Кобу, разделяющей хребты Кара-Адыр и Салбурты.

Весь этот путь на продолжении 90 верст был настоящей пустыней, отголосками Шамо.

Земля, выстланная галькой, накаливалась от прямых лучей солнца и жгла ноги даже в обуви.

Жар был свыше 45 градусов по Реомюру.

Несмотря на сделанный мною в котелке запас воды, который я на этот раз нес с собой, к середине перехода я страдал от нестерпимой жажды.

Благодаря природной несдержанности, поддавшись искушению утолить первые позывы жажды, я очень скоро, глоток за глотком, выпил всю воду, и мое тело покрылось обильным потом, точно в сухой парильне, по лицу он бежал ручьями, застилая глаза...

Я быстро обессиливал...

И это послужило на будущее предупреждением — делая запас воды на жаркий день и длинный путь, я не выпивал ни капли по дороге.

С каждым часом жажда усиливалась.

В середине дня я заметил, что некоторые пешие, вероятно, так же, как и я, неосмотрительно закончившие запас воды, наклонялись к земле, поднимали что-то и ели.

Я стал внимательно смотреть под ноги, нашел зеленый, внешним видом очень напоминающий капусту, но только более яркий, упругий и влажный лист ревеня.

Я поднимал распластанные зелеными пятнами листья, ел их, и кисловатые, сочные, охлаждающие полость рта, они заметно утоляли жажду. Воспаления во рту и ноздрях от горячего дыхания я больше не чувствовал, но за мнимым утолением жажды, я стал особенно остро чувствовать голод. Это мой неотступный, вечно поющий волчью песню спутник теперь с каждым днем превращался в преследователя и врага, чуть не погубившего меня, но, видимо, человеческая приспособляемость оказалась и на этот раз сильнее невзгод и бедствий, и исход нашелся.

Среди гальки местами встречались кустарники чилиги, которая в эти дни цвела. Цветочки, пресноватые на вкус, тоже как будто влажные, создавали иллюзию хлебного злака, около таких кустов с одинаковым усердием паслись и люди, и верблюды, и с этой случайной компанией по подножному корму пасся и я.

Превращенный постоянным движением в автомат, у которого каждый ненадежный, расслабленный сустав был скреплен ржавыми шарнирами, я почти без сознания шел несколько впереди спутников и ни о чем не думал.

Да, именно ни о чем. Как по гладкой поверхности замерзшего озера может катиться, не оставляя следа, случайно брошенный твердый предмет, так и мой мозг только случайно задевали мысли о серой гальке, медленно ползущей из-под моих ног назад, о пучке серой, жесткой, сухой, неизвестной полыни...

Какой-то оборванец, когда-то бывший человек, сидел на горячей гальке, хватал ртом воздух и почти шепотом обращался к каждой повозке.

— Подвезите, не могу!

И каждый возница делал вид, что не слышит, дергал вожжи и смотрел куда-то вперед. Человек умирал от жажды. Мутным взором он следил за ногами идущих людей и колесами повозок, и ему казалось таким простым и понятным у людей чувство жалости к нему.

— Помогите же!

И какой-то казак, почти юноша, с круглым лицом и носом без переносья, с гноящимися глазами, соскочил в это время с возка, подошел почти вплотную к бедняге и бросил ему в лицо:

— Кому ты нужен, сволочь такая, скажи?

И, прошагав еще несколько десятков шагов, опять вскочил на телегу. Этот человек мне показался троглодитом, с потными руками, способными измять всю землю.

Я мнимо утолил жажду листом ревеня, но от этого не стало больше влаги в моем теле, я мнимо утолил голод цветочками чилиги, но от этого не стало больше сил, и я шел, точно загипнотизированный ослепительным блеском озера.

Меня окликнули испуганно сзади и, когда я оглянулся, то понял крик: верблюды лег.

Не разрывая цепи, повозки его объезжали.

Голова отвратительного животного, ненавистного мне, то поднималась и смотрела поверх повозок на меня, то бессильно опускалась, и между вертящимися спицами колес я видел злые глаза и вздрагивающие губы...

Шагах в пятидесяти группа оборванцев копошилась над трупом павшей лошади, и через пять минут два человека с маской удовольствия, вместо лица, несли на палке часть заднего стегна...

Весь день проходил под знаком зловещего, дьявольского обмана. И животное, опустившее голову на землю, казалось мне, нас тоже обманывало... Я вижу, знаю, что оно обманывает — оно не может не обманывать, потому что я и мои спутники ему враги, и оно где-нибудь да должно нас обмануть, и местом обмана оно избрало центр пустыни. Я вскочил к нему на спину и яростно впился зубами в горб. Верблюд завизжал.

Меня стащили.

Я шевелил скулами.

— Бить?

— Бить — не встанет, не бить — тоже не встанет, — ответил спутник.

— Есть выход!

И меня с затаенной радостью все спросили:

— Какой?

Этот выход придумал один я и выполнить мог только один я.

Женщины и дети в счет не идут, мой спутник тоже, он, за слабостью, вычеркнут из счета, офицер, бросивший жену и где-то бредущий впереди, — забыт.

Остаюсь я один, быть может, более голодный, но менее износившийся.

— Какой выход?

— Верблюд положил голову — ясно, что он не пойдет, а выход — впрячься мне в двуколку.

Подвиг ли это был? Нет. Тогда это было простым очевидным выходом — впрячься мне в двуколку.

Я сделал постромку из веревки, перекинул через плечо, остальные накатили двуколку, и животное, точно понимая, что ему решили помочь, встало, и маленький экипаж покатился. Стоило мне опустить лямку, верблюд останавливался — без сомнения, вез я один.

Так шли мы по крайней мере часа три, но остановки с водой, видно, не предстояло — такая же ровная, крепко убитая галешником, немного наклоненная к озеру поверхность и то же озеро, блестящее расплавленным черным золотом от лучей уходящего от этого дня навсегда солнца.

Пустыня. Вся недвижимая, мертвая природа, залитая красными отблесками зари, была в плотной маске... И озеро, изредка прятавшееся за глинистые холмы. И впереди, за холмами, вот сейчас только, чтобы завершить обман дня, кем-то нагроможденные груды камней, в формах которых я угадывал людские черепа и изуродованные бойней части человеческих тел. И солнце, точно алой кровью заливавшее опаленную землю. И все люди, потерявшие в пути человеческое, все свои чувства, которые оказались к расчету только разноцветными бумажками, выцветшими на солнце. Все, все было в тяжелой, глухой, недвижимой маске.

Хотел кричать и не мог, хотел бы плакать — влаги в теле не было, и мной тянувшаяся двуколка на меня наталкивалась.

И ночь пустынная, холодная застигла нас на гальке без воды. Была объявлена двухчасовая остановка.

Кто-то разводил костер из разбитых, ставших ненужными сундуков, жарил конину, у очень немногих, к зависти всех остальных, появились на огне котелки с водой.

Сложил худые, трясущиеся колени к подбородку, закрылся тулупом от холода, лег под двуколку и заснул.

Засыпая, я видел, как на темном, точно усыпанном звездной росой покрове двигались головы бесшумных дромадеров, с маленькими, вечно прислушивающимися ушами, и мне казалось в тяжелой дреме, что ночь в пустыне в такие часы родит громадных драконов.

Весь день опять шли.

Утомление у всех достигло крайних пределов. Животные во многих повозках падали от истощения, мы все помогали верблюду.

Озеро Улюнгур близко — три с половиной версты. Тянутся к воде повозки с припряженными людьми.

Еще час, полчаса каких-нибудь, и отдых, и вода, и сон.

Теперь бежали люди, скот — все кричали на разные голоса, вскакивали по колено в воду и с криком же выскакивали обратно — вода была горько-соленая и отвратительно теплая.

Проводник обманул и погубил нас всех, а сам скрылся ночью — это первая мысль и у всех одна.

И вода была горько-соленая и отвратительная на вкус, но со стороны проводника обмана не было.

Эта часть озера, отдаленная от главного бассейна узкой полоской земли, имела соленую воду, но главная масса воды, хотя и минеральная, была все же годна для питья.

Я утолил жажду с излишком: от множества поглощенной воды меня рвало, но дизентерией я, к счастью, не заболел. Один несчастный казачок так опился, что вода стала для него ядом.

В следующие дни люди и лошади страдали страшной дизентерией, и многие умерли.

На озере в камышах отряд остановился на бивак.

Жалкий голодный паек убил у озера несколько десятков человек, и меня ожидала та же участь, если за эту дневку я не смогу достать какого-нибудь добавления.

Ранним утром следующего дня я отыскивал место забойки скота с твердым намерением получить хотя бы половину солдатского котелка крови, но это оказалось не только не просто, но даже почти невозможно.

В тяжелом раздумье я повернул назад, но...

За правом на жизнь в очереди, самой беспорядочной, определяющей место человеку силой его кулаков, пронырливостью и наглостью, стояло толкущихся, оттирающих друг друга до 150 человек, с одной определенной целью получить крови от одного (!) забитого быка.

Страшно выхудавшие женщины, у которых с бедер сваливались схваченные веревками юбки, протягивали вперед руки со столовыми ложками или железными почерневшими кружками, выпрашивая у более сильных уступить им очередь или получить крови столько, сколько может поместиться на дне их ничтожной посуды, выпрашивали ради детей, и мужчины, ранее хорошо с ними знакомые, отвергивали головы и отвечали им простым, понятным языком:

— Сударыня, здесь родственников нет. Мы хотим есть, жить, как и дети.

Для получения крови пускали в ход штабные «знакомства», фальшивые и настоящие записки начальника штаба, старшего врача, лгали, угрожали невероятными, клеветническими доносами старшему забойщику, и вся эта масса толкущихся людей дралась и готова была пустить в ход ножи...

Контролер отозвал меня в сторону, указав на крупного барана, предложил заколоть его и этим «зарабо-

тать» кровь, кожу и внутренности... и право на жизнь по крайней мере на три дня...

Я не смог отказаться — в этой очереди не было родственников, забыл детей, исхудавших матерей с протянутыми посудинами, тени голодных мужчин, отталкивающих острыми локтями слабейших, — бросился прыжком на барана и схватил его за пушистый загривок; он понял мое решительное намерение, рванулся, и я, не выпуская его, упал наземь.

Сейчас же нашелся случайный помощник, который крепко ухватил его за ногу, и мы оба навалились на барахтающееся животное.

Только в этот момент я понял, что среди пеших я последний, из нищих я самый нищий — у меня не было ножа, и все равно мои одинокие усилия были бы напрасны...

Передав случайному человеку часть принадлежавших мне «прав» на барана и сделавшись его помощником, я с ним неумелыми, мучающими руками перерезал жертве горло и выпустил кровь в два солдатских котелка. Сняли затем кожу, вынули внутренности и поделили добычу.

Многим она показалась слишком обильной для двоих нас. Здесь же насильственным порядком нас разгрузили от половины крови и всей кожи. Другой же котелок и внутренности после неистовой брани и толчков удалось отстоять.

От первой стоянки на озере наш путь лежал по берегу, отдаляясь от него на 5—8 верст к горам Карым-Кара. В сумерки этого дня часть отряда остановилась в маленькой зеленой долине на отдых. Воды здесь не было и признака, но у многих все-таки на кострах появились котелки. На вопрос, где они достали воду, они отвечали, что за два аршина под землей. Этот ответ можно было счесть за насмешку, если бы не обратившие на себя внимание группы людей и одиночки, сидящие на дресве в центре долины. Они копали лопатами и руками дресву, которая на расстоянии пол-аршина уже была настолько влажной, что ее, казалось, можно было выжать, но, чтобы достать именно воды, нужно было аршин с небольшим прокопать, и на

дно образовавшейся ямки сбегала медленно, тончайшими струйками холодная подземная вода, которую извлекали из ямы ложками. Многие нетерпеливые набирали в рот влажный щебень и сосали его. Чтобы набрать таким способом котелок, нужно было потратить около часу времени. Нам, пешим, сделать это было нельзя: отряд ушел вперед.

Один знакомый из другой части, такой же оборванец, как я, окликнул меня по имени и, показав на котелок чаю, предложил напиток. Я присел на корточки и стал с жадностью глотать напиток. Случайный же мой благодетель лежал на спине и с улыбкой полного удовлетворения гладил себя по животу, потом вдруг приподнялся и стал пристально глядеть на долину. По долине шла худая, серая, длинная тень, скорее походившая на перекрещенные палки с наброшенной на них солдатской шинелью, чем на человека. Я тоже смотрел, но не отрывался от котелка. Тень приближалась. Стекланные глаза смотрели вперед, растрепанные, грязные, с кусочками маленьких щепок и сухой травы волосы торчали, как перья.

Каждого встречного он толкал с силой в бок кулаком или бил палкой, и получившие удары только спешили торопливо отбежать. Моего спутника он ударил палкой, тот крикнул и отскочил за возок, держась обеими руками за голову. Серая тень направилась к краю долины, где расположились отдыхающие люди, заглядывала в котелки и на глазах испуганных людей со звоном опрокидывала с таким трудом добытую воду и молча проходила дальше.

В этой фигуре, одинокой и дикой, несмотря на весь ее безобразный вид, была какая-то вдохновенная величественность долго ускользавшей, но, наконец, воплощенной идеи, и лицо не отражало никакого другого чувства, кроме твердой непоколебимой решимости.

По щебню босыми ногами шел обратно человек, которому осталось пройти еще немного верст, чтобы найти полный покой.

Стало все вдруг понятно.

Я поднялся, протянул руку в знак благодарности теперь сумрачно молчавшему товарищу и пошел догонять спутников. Ежась, точно от холода, вздрагивая плечами, я подпрыгивающей торопливой походкой спешил унести с собой от этой призрачной тени мои немногие короткие дни.

В набегающем вечере, точно намеченный черными линиями на небе, передо мной остановился силуэт всадника на прекрасном горячем коне, нетерпеливо грызущем удила.

Один вопрос у всех:

— Сколько до остановки?

И у человека, что-то хищно высматривающего поверх голов, открылись надменные губы, и он ответил:

— На хорошем коне — восемь верст, на плохом — двенадцать, пешком все двадцать!

Хлестнул лошадь, поскакал к хвосту обоза, вернулся и скрылся за холмом.

Ночь спустилась на холмы, тележка вязла в песке, верблюдов останавливался, плакала одна из моих спутниц — у ней умер грудной младенец — и изредка прорывавшееся рыдание походило на сдержанный хохот.

Как три дня тому назад, я взял лямку и стал везти на себе тележку. Дорога с галешника резко переходила в сыпучий песок, который опять сменяла галька. С холмов, увеличенных тьмой и туманом с озера, над нами, проползающими по песку, свисали травы и казались в темноте спутанными в смятении волосами отрубленных голов. Тревога оправдалась: верблюды лег, и мы долго стояли немymi около него. Истерически рвущийся хохот резал тишину. Самый последний запас сил, после израсходования которого должна наступить смерть, иссякал, потому что последняя, последняя надежда угасала...

Я видел, как засыпающие от голода и утомления дети клонили свои головки к возу, я слышал, как скрежетал зубами в бессилии их отец, я слышал дикие крики самки, потерявшей детеныша, и слова другой:

— Что же плакать, ведь к лучшему же, ему же лучше?

Я не только видел и слышал все, я осязал. Да будет проклято в такие минуты сознание!

Я молча выдернул тулуп из повозки, снял котелок с оглобли, закинул мешок за спину и так же молча пошел к предполагаемой стоянке отряда...

И меня никто не задержал... Я только чувствовал взоры нескольких пар глаз на моей спине.

Завернув за холм, я увидел слабое мерцание неба от костров.

КАРА-ИРТЫШ

От восточного берега озера Улунгур отряд передвинулся к Иртышу с целью переправы.

Здесь Кара-Иртыш, с высокими крутыми берегами, галькой и песком внизу, нес свои черные, усилившиеся воды от внешних дождей в верховьях и разливов притоков чрезвычайно бурно. Переправа казалась почти невозможной через него, тем более что на левом берегу не было видно парома. Отряд вытянулся на несколько верст по кривой берега.

Несколько казаков бросились вплавь на лошадях, из них один утонул вместе с лошадью, а остальные немедленно переплавили с противоположного берега старую дощатую доску. Через несколько минут Бакича видели с двумя вооруженными людьми на острове. Здесь оказался китайский пикет, люди которого были застигнуты на острове громадной водой. Они были чрезвычайно перепуганы неожиданным появлением среди пустыни многотысячных толп и обозов иноплеменников и без всякого сопротивления выдали всю муку и рис. Через час по берегу острова лошадьми тащили на небольшой паром.

Переброска стального троса с одного берега на другой стоила нескольких жизней, и все попытки его укрепить кончились полным неуспехом. Паром, увеличенный в тяжести громадным течением, вырывал тросом с корнем деревья, к которым его привязывали, и уносился течением вниз.

После нескольких настойчивых проверок возможности переправиться этим способом, казавшимся наиболее разумным и быстрым, переправа началась просто на веслах. Паром доставлял людей и привязанных к лодкам лошадей и верблюдов на остров, с которого около ста сажен до материка нужно было брести местами по грудь и даже по горло среднему человеку.

Торопливость, связанная с постоянными опасностями, а отчасти и желание быть хитрее многих заставили каких-то двух человек воспользоваться плотом из нескольких бревен для переброски своего имущества и скота.

Погрузив пару навьюченных быков и двух ослов на плот, они плыли к острову и, вероятно, переправились бы

благополучно, если бы предусмотрели одно, на первый взгляд незначительное обстоятельство, как остановить на противоположном берегу плот, но здесь не хватило догадливости ни у того, ни у другого.

Один из них, почему-то нагой, вероятно, для большей свободы движений, выскочил на берег и схватил брошенные другим волосяные вожжи, но тяжело нагруженный плот и бурное течение вожжи порвало, как тонкую бечевку. Была брошена еще какая-то веревка, но и ее постигла та же участь, и плот со всем скарбом уносило течением мимо острова.

Голый человек бегал по берегу, махал руками, человек одетый метался по плоту и тоже махал руками, и оба вспоминали родимую мать, бога, богородицу, закон, веру и всех святых и имена их уснащали многоэтажную руганью.

Несмотря на всю трагичность положения, берега, следившие за этим исключительным зрелищем, хохотали. Плот пронесло течением мимо острова и бросило в быструю струю.

Голый человек кричал одетому, чтобы тот управлял гребнями, одетый отвечал с руганью, что он не умеет, но все-таки видно было, что он нашел какой-то выход.

Он начал облегчать вьюки животных, и спустя несколько минут этот своеобразный квинтет был весь в воде. Столкнуть животных в воду и самому броситься за ними для него казалось разумнее, чем бесконечно плыть на бревнах по незнакомой реке.

Черными точками замелькали животные и человек, который плыл сзади и имел еще ловкость одной рукой подхлестывать быков, которые медленно, но верно плыли на боку к берегу.

В дороге я узнал, что из этой пятерки погиб лишь один осел, остальные благополучно добрались до берега.

Я был свидетелем гибели нескольких людей и помочь им не был в состоянии, так как не умел плавать. Эти сто сажень с острова до материка я пробрел успешно, благодаря высокому росту, если не считать того, что несколько раз опускался в ямы, замочил одежду, привязанную на голове, и наглотался воды с излишком; но люди меньшего роста, менее осторожные и тоже не умеющие плавать, попадали в ямы и их уносило течением. Один старик попал в водоворот, и нужно только представить его лицо

и бороду, обильно намоченную водой, зеленые, широко открытые глаза и руки, крепко вцепившиеся в одежку, чтобы понять весь мой ужас, ужас молчаливого свидетеля смерти. Крики его давились судорожным взглатыванием воды.

Не проходило часу, который не приносил бы известий о гибели.

При таких условиях переправа на маленьком пароме продолжалась семь-десять суток день и ночь, в течение которых лил бесконечный проливной дождь.

Мой неизменный тулуп промок. Я ложился спать мокрый, вставал мокрым, целый день в поисках за топливом бродил мокрым, а в небе, в оборванных кусках грязной серой кошмы, было безнадежно.

Переправившаяся часть отряда была передвинута на несколько верст вперед на один из многочисленных рукавов Кара-Иртыша и здесь стала биваком.

Паек выдавали такой же скудный в полфунта мяса, но я заметил, что чем меньше был паек, тем больше люди что-то варили и жарили, но из чего, понять было трудно. Моя изопревшая от пота рубашка служить отказалась окончательно, но тем не менее это грязное тряпье я спрятал в мешок, а из наволоки сделал нечто подобное костюму, с открытой шеей и руками. Столь непривычный для меня спортсменского вида костюм показал свое полное несовершенство: руки, плечи и шею так обожгло солнце, что они покрылись большими пузырями, которые лопались от неосторожного прикосновения, и кожа висела на мне лохмотьями.

Верстах в трех от бивака, в щелях гранитных глыб я набрал много дикого луку и весьма довольный столь ценной добычей вернулся в стан.

Я сидел на кочке, слушал и смотрел, как варился мой луковый суп, и щепкой сдираю с себя кожу. За этим занятием застал меня один знакомый и, улыбнувшись насколько мог, вежливо своим сморщенным лицом пригласил меня на «совещание».

— На «совещание»? — я поднял брови.

— Да. О России...

— Но я сначала должен доварить суп, съесть его, содрать еще аршина полтора собственной шкуры и только тогда буду свободен и приду.

— Хорошо. Время ваше. Ждем.

Они лежали под брезентом, оборванные, немывтые, голодные и злые.

Я сел против них.

— Ну?

— Мы решили ехать в Россию.

— Как?

— На плоту.

— Как и чем его сделать?

— Топор есть, пилу нужно украсть.

— Как плыть?

— Просто вниз.

— Но ведь нужно знать реку: попадем в тупик или узкую протоку, и плот нужно делать вновь? — я задавал вопросы, они отвечали:

— Сделаем.

— А кто даст на четверых нужное количество продуктов?

— Нужно украсть. Нужно, можно, должно украсть... Убить даже. Мы должны быть готовы на все.

Я вертел головой. Эти фантасты правы, я их, я с ними, но... Россия!.. Какой прекрасной, цветущей страной она казалась мне, вечно залитой солнцем, где люди только и делают, что улыбаются...

Вчера один большой человек «играл в лошадки», вчера же многие хотели жить, «как дети», сегодня четыре человека хотят играть в «капитаны и пароходики», дают страшные клятвы друг другу... То ли нужно? Не голодный ли это угар?

Я высказал все свои соображения, и насколько они горячо лелеяли эту страстную мечту добыть Россию, настолько же быстро все пали духом перед неумолимыми доводами логики.

Мы долго молчали... Я съел свой обед, я ободрал кожу... Я был совершенно свободен. Я сидел против них и смотрел.

— Ах как бы хорошо попасть сейчас в русскую избу, где горячими капустными пирогами пахнет! Баба, залезая в печь, загораживает отверстие широким задом, и юбка у ней пестрая, с голубенькими цветочками, вся

в бориках... Как хорошо! И больше ничего не нужно было бы, — мечтал длинноногий человек.

— Знаете что, — произнес другой, подняв сухую травинку земли, искусывая ее желтыми зубами, — может быть, странно, но я теперь мечтаю о русской... тюрьме... Сесть бы туда, вернее, лечь, и чтобы тебя не трогали, то есть не убили. И паек бы тебе чахоточный шел, но чтобы его хлебом давали весь. Не идти — это много значит.

Мечтая о солнечной России, где люди только и делают, что улыбаются, мы мечтали о тюрьме... И это значит, что хоть в каменном мешке, но слышать отзвуки биения сердца какой-то новой, непринятой нами, громадной России.

Мы больны, заражены массовым психозом пассивного, бессмысленного сопротивления, который принимает подчас вид бредовых идей о России.

Может ли быть в мономании логика нормального человека?

Я только продолжал грязным ногтем сдирать кожу с плеча.

Никто

В двадцатых числах июня отряд прибыл на реку Кран, правый приток Кара-Иртыша.

За два дня до прихода носились смутные слухи, что Бакич ведет переговоры с китайским губернатором этого города о возможности «приютить» кочевое племя, но, судя по дальнейшим событиям, никаких положительных результатов не получилось.

Наемные солдаты губернатора, воинственные дунганы, иногда на переговоры отвечали выстрелами.

Дня три спустя после прихода вечером был отдан приказ, что с рассветом все способные (...не носить оружие...) передвигать ногами должны двинуться на осаду города.

В полдень оборванные нищие, пьяные от голода, но возбужденные возможностью насытиться в поверженном городе, сотенными толпами, почти без всякого оружия двинулись к городу.

Ночью эти стаи с щупальцами, в виде двух-трех вооруженных людей впереди, путались без дорог по каким-то болотам, бродили по речкам, а сзади ехали на утомлен-

ных до последней степени лошадях «кавалеристы», иногда в дремоте простаивали два-три часа только потому, что разведка вдруг очень явственно всем своим телом чувствовала отдающую весенним теплом землю и засыпала мертвым сном. И только с рассветом, разбуженная подошедшими, двигалась дальше.

Бесконечно поднимались по тропам на вершины отрогов юго-западного Алтая, ожидая и нигде не находя неприятеля.

Я вышел из бивака с большим опозданием, получив на шесть человек около двух с половиной фунтов мяса, но до вершины дойти никак не мог...

Должно быть, временами я спал. Во сне я сам с собой говорил невероятно бессмысленные вещи и, сознавая это, не мог остановить язык...

Я думаю, что именно так люди начинают сходить с ума — они путают не понятия, а внешние выражения их — слова, сознают эту путаницу, но восстановить нарушенное равновесие не могут: только одна какая-то пустяковая заклепка в сложной машине вдруг выпала, и механик не знает, куда ее вставить среди судорожно бьющихся колес, шестерен, ремней и рычагов.

Казалось мне, что всю порцию на шесть человек мяса я украл, нарезал на мельчайшие кусочки, развел огонь, стал варить... Наверно, даже не во сне это делал.

Какая-то борода и всклокоченные волосы с человеческими руками и ногами подползли ко мне...

— Я варил... Я ждал поесть...

— Слушайте, как вас, не знаю, как назвать...

Господского во мне не было ничего, гражданином могли я считаться, когда родины не было, а чужую страну я со всеми другими шел грабить, товарищем давно уже было запрещено называть, это слово приказом было лишено гражданских прав, и потому этот серо-пестрый комочек волос и тряпок никак меня не мог назвать.

— Я — никто.

Брошенный на глубокое дно, даже под дно ощутимого бытия, я понял ясно, что в книге живота, где было вписано мое имя, место, мне принадлежащее, занято откровенным грубым чернильным пятном.

— Слушайте, как вас звать, не знаю, дайте мяса, а не то... — он показал нож, — я и мясо и вас съем...

— Мясо, все мясо?

— Ну, хоть не все, но половину обязательно.

— Гм... А если не дам?

Густые, козырьком, собачьи брови сошлись над серыми злыми волчьими глазами.

— Дадите!..

— Нет... Впрочем, постойте... Пожалуй, часть я вам дам, только нужно доварить...

— Совершенно не обязательно...

Пришлось ведь дать, иначе он съел бы меня, потому что нож за время длинного пути у него не украли.

И почему бы ему не съесть?

Если бы я вошел в Китай под звуки сотен оркестров, с триумфальной колесницей, в мировой славе, то здесь около зубастого гребня горы я отдал бы, конечно, эту славу за корочку хлеба, славу за корочку хлеба.

Но у меня не было славы, вместо оркестра кто-то бил в голове стопудовым молотом, вместо колесницы я имел пару сомнительной крепости ходуль, у меня не было славы, и я не мог обменять ее на корочку хлеба... А этот грозный человек... человек с ножом, ведь он отнял бы у меня все равно корочку хлеба?..

— Вы знаете, — сказал я ему, когда он съел половину украденного мной мяса, — какой-то умник сказал: человека нужно оставить голым на голой земле, чтобы он начал творить снова жизнь... По-моему, нужно эту фразу умника исправить: он говорил о человеке, но подразумевал ведь человечество или по крайней мере пару. Да?.. Вот мы два голых человека на голой земле и вы хотели меня зарезать и съесть, следовательно, незачем вообще человека оставлять на земле, хотя бы голого. Попробуй, оставь голое человечество на голой земле, ей-богу, эти голые люди через две недели станут разговаривать друг с другом по телефону и уж те гадости, которые делали, когда были одеты, голыми повторяют обязательно полому, что голый человек соблазнителен...

— Вы на меня не сердитесь: я немного подкрепился. Я ведь пошутил тогда.

Два голых человека по голой земле поднялись на вершину с целью посмотреть, что для них сделали с городом голые люди.

С вершины горы был виден в глубине игрушечный го-

род с игрушечной крепостью и саманными домиками, такой уютный, теплый, сытный, и муравьи из него уходили на восток, а с запада, с севера, с юга, сквозь щели гор ползли струйками осаждающие люди и, наверно, не спускали глаз с глинобитных стен.

— Поползем, что ли? А? — спросил мой грабитель.

— Да.

И мы стали спускаться прямо с крутизны, хватаясь руками за колючий караганник и слабые камни, и через два часа доползли до города.

Город был разграблен почти дочиستا к приходу отряда наймитами китайского губернатора — дунганями, и новые люди могли воспользоваться только остатками. На полу первой избы я нашел рассыпанную пшеницу, видимо, намеренно смешанную уходившими хозяевами с мелкой дресвой двора.

Набрал фунтов тринадцать пополам с камнями и еще зачем-то приготовленную в стеклянной баночке горчицу.

В кухне сербская стража Бакича варила суп и пекла лепешку, и я на этом пиру был. Поел — рвало, опять поел — тошнило. Отдыхался на солнце и пошел смотреть улицу. Мимо меня торопливо прошел в переулок священник одной части, с туго набитым чем-то мешочком. Я посмотрел ему вслед.

— И вы, отцы святые?..

Копошились люди в домах. Два китайца стояли испуганные в дверях железного магазина и непонятными, но убедительными словами просили не трогать их замочки, скобки, молотки, гвозди.

И никто ничего не тронул — ведь гвозди едят только в цирках, а не в завоеванном городе.

Я зашел в дом, где было поменьше народу. Все было перевернуто и опустошено. Присутствующие громко бранили дунган, что они ничего не оставили.

В заднюю комнату прошел и остановился в изумлении.

Место кровати, тоже саманной, было пусто, туалетный стол изящной хозяйки-китайки этого дома был в полном беспорядке, но этот беспорядок не мог заслонять недавно остывшую здесь тонкую, красивую жизнь. Мы, русские, не азиаты, мы почти европейцы, или если азиаты, то с приемами европейской культуры, даже если считать наше шествие на Шара-Суме, а вот здесь...

Здесь, перед азиатской многовековой культурой старейшей нации в мире, разбираясь даже в безделушках домашнего обихода, я почувствовал себя варваром с ног до головы.

Сколько здесь одних только приспособлений для курения табаку, сколько разных размеров палочек из слоновой кости неизвестного назначения, странной формы шпилек, мазей, духов, притираний, какой-то туго завернутой в трубочки бумаги, изящных туалетных вещей из камня, миниатюрных свечей, вееров, подушек и много, много, чего глаз не мог схватить и память закрепить.

Я сидел на краю саманной постели. Вероятно, в этой изящной комнатке далекой китайской провинции умели понимать жизнь, любить и сохранять бесчисленные дары бесчисленных времен...

По стеклянной галерее, залитой солнцем, я прошел в центр крепости, которая была устроена приблизительно по тому же плану, как и чугучакская, но менее массивная и внушительная.

В одной из комнат, очевидно, до разгрома служившей библиотекой, я увидел массу разбросанных книг на китайском языке, многие перебрал, полистал, нашел книжку в удивительно легком и изящном переплете, изданную на папиросной бумаге, и узнал в ней учебник геометрии. Это было трогательно. Я отложил ее в сторону. Выбрал без чертежей и спрятал потихоньку — это для курева. Я обнаруживал все приемы цивилизованного человека.

КРАН

Когда через три дня вернулся в Шара-Суме, лицо лагерь я не узнал — в случайном, неопределимом в сроках отдыхе не было ничего праздничного: страшные нечеловеческие усилия мускулов во время движения и напряжение нервов вдруг кончились, и их сменила сразу резко, как жуткая реакция, массовая смерть. Гибли от последствия голода и переутомления, гибли от заражения крови через случайные порезы и царапины, гибли просто оттого, что воля к жизни у многих угасла: носилки каждой части были теплы от принятых тел для перенесения к могиле.

Сразу при входе в свою часть я увидел, как из-под дырявой кошмы вылезла неимоверных размеров туша, и в ней я едва узнал своего приятеля — от голода он распух до такой степени, что кожа не выдержала опухоли и лопалась, и из рваных ран текла сукровица. Он едва передвигал гигантскими ногами. И в этом теле еще билась жизнь, человек двигался, невероятно богохульствовал и теперь даже вышел... помочиться.

У брезентовой палатки трое нищих били четвертого, и около них стояла освирепевшая, дикая толпа и помогала бьющим жестами и возгласами.

Некто похоронил сегодня утром свою жену в выгребной яме, и когда его поймали за грязным делом и спросили, зачем он так поступил, он ответил, что не имел сил выкопать могилу и воспользовался для этой цели отхожим местом своей части.

Когда его вели на расправу и надоедали расспросами, он злобно ответил:

— Вам какое дело: моя жена!.. Вы бы вот не осмелились сделать так?

И даже, дразня сопровождавших, высунул язык и побежал. Это последнее так возмутило их, что они нагнали его, притащили в свою роту и теперь избивали под сочувственные крики.

Избиению этому я не старался мешать — если бьют, это хорошо, это нужно, хотя бы для тех, кто бьет.

Подергунчик

264

Месяц спустя, когда хлеб на полях, набирая соки из обильной земли, уже налился, нашу часть перебросили на полевые работы в урочище Кемерчек, и мы стали собирать жатву там, где не сеяли...

Люди буквально паслись на полях. Начались ужасные поносы, которые угоняли людей в широкие просторы хлебных полей, и там они в корчах умирали: желудок не принимал крахмала, бессильная кровь не могла его переработать в жизненный эликсир.

Я ел для того, чтобы есть, и вся пища проходила, спустя четверть часа, через желудок, как сквозь испорченное дырявое решето.

И эту «жизнь», этот «отдых», это «ненарушимое наслаждение покоем» опрокинули в одну минуту только три слова:

— Под Бурчумом прорыв...

И опять тысячи людей, сцепленные друг с другом, повисли над бездной.

Как по неизъяснимым законам геометрии параллельные линии должны где-нибудь в бесконечном пространстве сойтись, образовав сложнейшую, но строго построенную математическую фигуру, так и наши страдания, по законам человеческого бытия, завершались, и в ходе событий чувствовалась одна мощная команда:

— К расчету, стройся!..

Проскакали по пыльной дороге близ моего аула и поодаль, по зеленым полям, арьергарды частей, служивших заслоном от красных, обливаясь в поту бессилия, спотыкаясь прошли пехотные части и уже под выстрелами отходил авангард.

Я сидел на корточках около кипящего супа.

Ворота аула тщательно закрыли, точно мимо аула, как скрытого шапкой-невидимкой, могли пройти красные.

Летали через голову на быстрых, невидимых, гудящих крыльях снаряды.

Какой-то десятилетний мальчишка — подергунчик — поставил к саманной стене лестницу, угловатыми цепками прыжками залез по ней и стал смотреть.

— Тятинька, бегут наши... Вон Лександр Петрович на коне...

— Слезь, щенок, убьют!

Повернулся лицом в другую сторону, утер рукавом сизой рубахи сопли.

— Тятинька... красные едут... Хвосты у коней подстрижены... вершние все...

Опять десяток снарядов с тем же гудящим звуком металлических крыльев.

— Слезь, свиненыш, убьют же!..

Подергунчик слез, постоял, уставился на выбоинки в толстой глинобитной стене, точно обдумывая что-то, и опять полез.

— Тятинька, убегли наши за холм совсем... красные в-о-о...

Кричали скачущие бешеным галопом:

— Не стреляйте!.. Сдавайтесь!.. Сидор Иваныч, сдавайтесь!.. Не стреляйте!..

И преследующих и убегающих закрыли ближние холмы, и стало тихо до боли в ушах...

Какую-то беженку рвало от страха, старик — ее отец — собирал по двору соломинки, щепки и бросал их в костер. Белый брезент — знак бессилия — висел над воротами...

Калитка открылась, были видны сначала только лошадь и ноги всадника, потом наклонившееся лицо, и в аул, спешившись и бросив поводья, вошли трое.

— Не бойтесь!

К костру. К воде. Пили.

Подергунчик снял со стены лестницу.

Ко мне.

— Есть закурить?

— Есть. Обед есть.

Один присел закурить к костру. Я тронул его за плечо.

— Вот что: если будете расстреливать, то поскорее, я тороплюсь, мне некогда...

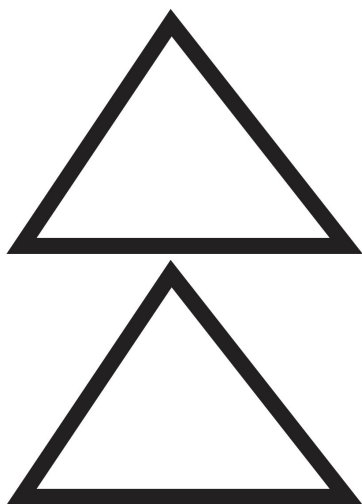
И не спеша, я отошел к стене.

Еще интересовал вопрос — может ли пуля винтовки образца 1891 года, пробив меня, пройти в саманную стену?

Потный человек сделал глубокую затяжку и улыбнулся...



С. Горлов



Сведений о С. Горлове найти не удалось. Являлся автором еще двух произведений, опубликованных в «Сибирских огнях»: рассказа «Срезанный трос» и очерка «Октябрь в полях».



Колодезь

Внизу было тише. Поземка, талая мартовская мокреть, спрятанная от ветра насыпью, тихо опускалась сверху большими белыми хлопьями.

269

В поле мело сильно, словно из запывавшего внезапно костра. Ближние кусты дубняка темной массой прорывались на мгновение из белой сплошной стены.

Часовой Синтягин ходил. Ветер дул в щеки. Часовой сошел вниз. Винтовка настыла, затвор спускался туго. К тому же мешали варежки. Но голые руки мгновенно пристыли к обжегшему холодом металлу.

— Ах, язви ты, в печенки!.. — ругнулся партизан.

Было за полночь. Сон брал человека непобедимым измором.

Сон надвигался под завывание весенней пурги незримой постушью. Вот начала затекать правая рука, придвинулся вдруг к самому носу далекий куст.

— ...Э-эй! — слышится в ветре.

Тулуп тяжел. Пока вскинешься на насыпь, караульный начальник — шло время смены с поста — успеет вдосталь наматерщинниться.

Наверху ветер рвался из ближней выемки, с китайской стороны, гнал по пути взбаламученное море снегов и надсадно свистел в прижатые морозом уши. Никого не было видно вокруг.

Пять шагов вперед по насыпи да пять — назад по ветру. Воспоминания о доме, о глухой весенней предрабочей поре сладостны и тревожны. Волки, наголодавшись за зиму, любят в такие ночи таскать телят из теплых хлебов. Мыши, поди, по амбарам точат последнее зерно, что оставлено на семя. Отец, должно быть, к пахоте ладит плуг, а мать — жива ли? Давно не было вестей из дому. А самому недосуг писать — калмыковцев загоняли в Китай.

От выемки шагов ста по ветру водопропускная труба. Если забиться туда в теплой шубе, то, пожалуй, будет теплее, чем дома на печке.

Смена не шла. Ночь моргала короткими вспышками тусклого ободка луны. Потом пурга с новой яростью кидалась в сонную степь швырками снега.

На четвертой ступеньке вниз к трубе — снег подозрительно неровен. На шестой — острый щекоток пробежал по спине — нога попала на протоптанный недавно кем-то след.

Был миг короткого раздумья, но тут обожгло плечо. Звук ушел с ветром. Туда же метнулись из трубы — трое ли, четверо — не разобрал Синтягин.

Некогда было считать. Затвор шел гладко, спуск бил отчетливо. Но дальше стало хуже: рыхлый снег не держал тело, туловище уходило вглубь.

Враги били по ветру, звук выстрелов стал отчетлив. Пороховую гарь нес ветер, глаз слепила пурга, на ресницах налипла наледь.

За ветром не было слышно, как подошла подмога. Вдруг где-то рядом треснуло, точно дешевая китайская копеечная хлопушка, и раз и два.

— ...Ничего не случилось? — спросил разводящий по дороге в казарму.

Плечо саднило, будто от пчелиного укуса. Намокала рубаха.

— Ночь долга кажется без дела, — раздумчиво ответил Синтягин и с ненавистью подумал о завтрашнем дежурстве.

Разводящий думал вслух:

— Манзы или калмыковцы? Глядикось, казачня их сюда навела...

Остро хотелось есть. Метель затихала.

Дежурить не пришлось. За ночь рука одеревенела. Фельдшер Потапыч прописал примочки из лошадиного помета, а внутрь касторки. Дал к тому же освобождение на день.

Утро встало веселое и солнечное. С крыш побежало чуть ли не с самого рассвета. Весенняя капель напомнила родную, затерявшуюся где-то в Сихотэ-Алинских горах, деревню. Мужики, гляди-ко, прибирают по двору, готовятся к весне. Пчеловоды пошли в омшаники — глядеть пчел. Эх, хорошо дома в эту пору!

На казарменном дворе было пусто и неприбранно. Партизан Лахудра запрягал слепого Серка в сани и крыл в гроб, в кость, в мать казачишек, что до сих пор не вырыли себе колодезь. Небось, на кореишках все выезжали!

— Тебе б, лошаку ленивому, по воду ехать! — раздраженно плюнул Лахудра.

Плевков метко шлепнулся около ног Синтягина и провалился в рыхлый снег. Синтягин улыбнулся в ответ солнечным снежным полям.

— Сто чертей, сто дьяволов сидят задарма! Харчи казенные переводят!..

— Ты про кого, братишка? — смеясь одними глазами, спросил Синтягин.

— Про кобелей трясучих вроде тебя! Вон, вишь ли, день бы с утра потратить, — указал Лахудра на забитый посреди двора колодезь, — воды сколь хошь пей. И маеты никакой. Открой колодец-то, чего ему забитым стоять!

— Трохим! — прокричал повар из кухни. — Тикай за водой, бо все завертки повывертаю!

— Черти! — сплюнул Лахудра и тронул вожжами. Гнедко пожевал губами, мотнул хвостом и лениво переступил.

Синтягин подошел к колодцу. Истертый веревками сруб был ветх и трухляв от времени. Через край прорезались глубокие от веревки желоба. Гвозди на досках заржавели.

От села к речке шли казачки, вихляя на ходу бедрами.

— Эй, титка! — окликнул одну повар из кухни, скаля зубы. — Гуляй до нас!

Казачка прошла молча мимо.

— Ишь, яка прянцевата! — подморгнул повар Синтягину. — А ты шо там робишь?

В это время тупо заныло плечо. Померкла внезапно красота весеннего дня.

Когда с колодца сорвали вершковы плахи, снизу пошел вверх тухлый, застоявшийся воздух. Потом засмердело необычайно.

— Э-э, да тут чистить да чистить надо! — присвистнул от удивления командир отряда Осадчий.

— Ничего, поскребем как-нибудь.

— Что ж бы оно там воняло?

Партизаны заглядывали в темную пасть сруба.

— Может, дохлые кошки? — предположил повар.

У Лахудры по бороде ползла вошь. Синтягин снял ее и подал повару.

— На, возьми, зажаришь после.

Партизаны захохотали. Осадчий что-то сообщал.

— А ну, хлопцы, кто вниз охотник слазить?

Желающих вызвалось много. Кинули жребий, упало на Синтягина. Его стали спускать вниз по веревке.

Пока мимо вверх ползли вначале деревянные, после выложенные серым, диким камнем, стены колодца, сладковато-приторный тошнотворный запах выворачивал душу наружу. Колодец был глубок необычайно... Свет маячил вверху небольшим кружком. Спуск замедлили. Тут ноги Синтягина уперлись во что-то твердое.

Партизан зажег спичку и выронил от неожиданности. На него глянул мертвым оскалом зубов череп с кусками почерневшего мяса на подбородке.

Пахло покойниками. Один на другой были навалены десятки полураспавшихся трупов. Их, должно быть, ки-

дали сверху живыми: иные с прикушенными от удушья языками так и отошли на тот свет.

Дышать стало нехорошо. В ногах завозились крысы. И тут дикая тоска по земному охватила Синтягина. Веревка трепыхнулась.

— Эй! — глухо донесся сверху голос Осадчего. — Утоп, што ли, там?

— Тащите!

Наверху удивились:

— Ты чего, братишка, дьявола повидал?

— Ще похуже.

— Да ну?

Осадчий распорядился:

— А ну, спустить меня!

Лахудра недоверчиво смеялся:

— Э-э, казання! Чуть побачил мышь, вже и швидко стало.

— Тебя бы туда, хохла нерепаного.

Спустили Осадчего. Он из сруба закричал наверх:

— От не бачили, так побачьте, як нашего брата ховали на тот свет.

(В казарме прежде, до партизан, стояла офицерская рота).

Лахудра подал мысль:

— До гауптвахты!

Осадчий гаркнул в ответ:

— Геть до дому! Я вам, трясця вашей матери! Було б меня тоди командиром не выбирать.

Партизаны молча расходились по казарме.

С каждого маньчжурского поезда Осадчий снимал по несколько человек старых и молодых, толстых и тонких, высоких и низких — бегунов за границу. Иные встревоженно-недоумевающе поднимали плечи кверху и так шли до самой гауптвахты. Другие держались вызывающе и бесстыдно.

— Я покажу вам колодезь! — грозился на допросах Осадчий.

Арестованные недоумевали, о каком колодце шла речь.

Гауптвахта, малоемкий хлебозапасный до революции магазин, была переполнена. В одиночках сидело

по трое-четверо. Раз ночью пограничные калмыковцы сделали налет, но их живо отбили.

Шла ленивая уссурийская весна в ростепелях, туманах, заморозках. Дороги пропали внезапно. Осадчий ходил по казарменному двору мрачный и задумчивый.

Как-то под вечер, коногоны только угнали лошадей на водопой, будто невзначай спросил у начштаба:

— А часом не видал ли на станции плацформ американских?

Начштаба удивился:

— Сколь хошь в тупике стоит. Только на кой хрен они сдались тебе?

Осадчий в раздумье отошел.

В потемках, таясь от чужого глаза, затащили веревками наверх трехдоймовку.

Пушчонка трепыхалась на стыках, сорвавшись с устоев, взад-вперед каталась по платформе. Тогда артиллеристы за хобот, на ходу, тащили ее к держакам, кляли при этом неведомо кого, а чахлый паровоз надрывался на трудном взъеме, рассыпав по ущелью длинным хвостом вонюкую гарь.

— Ты гляди, Синтягин, покрепче. Никого вблизи не пускай, — приказал Осадчий перед китайской станцией.

На станции, предупрежденный по телефону ду-дзюн приготовил встречу. Но когда в полущубках козлиной серой шерстью наверх партизаны кинулись на перрон, почетный караул в испуге попятился к выходам, а дудка визгливо оторвала на верхней ноте.

— Эй, не балуй! — прикрикнул командир.

Так, под завывание диких зурн и свирелей, под грохот китайского барабана и улыбку «случайно» оказавшегося на вокзале японского майора, над китайским, оскалившимся пасть, каменным застывшим на коньке крыши станции драконом затрепетал впервые красный флаг советов. Шел двадцатый год.

...Ду-дзюн Сяо, пока драгоман, прикладывая руку к сердцу, переводил приветствие, показывал на чуть трепыхавшиеся на флагштоке вокзала красный и пестрый — китайский флаги.

Партизаны рассыпались по поселку.

— Слышь, Митрич, как бы не перепилась братва да не натворила чего? — отворотился Осадчий к начштабу: — Прикажи-ка трубить сбор.

Ду-дзюн страдальчески улыбнулся на звук трубы и покосился на зашептавшуюся свиту.

Осадчий улыбнулся.

— Скажи ты своему капитану, — приказал он драгоману, — пусть не пугается. Хлопцев своих созываю не для худа.

Генерал Сяо покосился по сторонам. Солнце было к полдню.

— Наш капитан просит в гости к себе, — сказал драгоман в ответ, словно заглянул в партизанские бурливые животы.

— Ну, коли просит — пойдем. Там и о деле потолкуем.

С базара партизаны подходили навеселе. Синтягин сторожко вглядывался в чумазых китайских солдат. Один из них вздумал было подойти к броневнику.

— Отыдь! — пригрозил Синтягин и прижал винтовку к локтю. Солдат отскочил, как ужаленный.

На обед подали разваренную курицу, острые, пряные пельмени, акулий плавник. Стол был заставлен чашечками, круглыми, фаянсовыми, с синими разводами и драконами.

Ду-дзюн причмокивал языком, от духоты расстегнул шитый золотом мундир, под конец обеда снял шапочку со стеклянными шариками наверху. Угощал засахаренным хрящиком и ласточкиными гнездами.

От терпкой и вонючей ханы в голове у партизан затуманило. Проклятые палочки вертелись в непослушных руках хуже незакрепленной мельницы-ветрянки в тайфун.

— Ото ж бисовы ложки! — хлопнул Осадчий палочками об пол. Китайцы оскалили зубы. Взамен палочек бой принес медные позеленевшие ложки.

— Командир! — пристал охмелевший начштаба: — А ну, кажить им, нехристям, про наши дела. Сразу за жабры.

— Одчипись! — отмахивался отяжелевший от еды Осадчий. Вновь поднялся драгоман с рюмкой в руках.

— Два народа игаян два братка...

Слова он выговаривал тщательно и неторопливо.

— Ура! — гаркнули в ответ русские.

— Я темен, как ночка, но офицерам судить умею! —

хлопнул Осадчий кулаком по столу. Чашечки запрыгали, зазвенели вокруг: — Ты мне не заливай zenки! Коли хошь жить в миру — давай. Но промежду прочим — чтобы без никакой контрреволюции...

Ду-дзюн ласково шурил на свет захмелевшие глаза. У Осадчего в сердце наливалась злоба.

— Красный пролетарьят разогнал всякую сволочь. Ежели ты добиваешься нашей дружбы — зачем было примать к себе колчаковцев? Эй, Сяо, прогони-ка их от себя, поколь худа не вышло! А уж мы доглядим за границей, из рук в руки примем.

Кончил и плеснул в широченную пересохшую пасть чашечку ханы. И пока драгоман жестикулируя переводил, в комнате стояла притаенная тишина. Лицо у генерала стало похожим на желтые бесстрастные физиономии китайских идолов у кумирен.

— Нашему командованию ничего не известно, — ответил ду-дзюн через переводчика.

— А-а, черти желторотые! У японца переняли манеру? — вспикпел тут Осадчий. — Ходим до дому!

Опять завьили горнисты. Солнце шло к ночи.

Сяо дорогой что-то толковал разбитному драгоману и ласково похлопывал Осадчего по рукаву. Хмель прошел. Справа начштаба шептал:

— Ловко ты их отбрил! По делом! Пускай знают наших. Драгоман сказал:

— Капитан говорит, что он прикажет своим солдатам смотреть за калмыковцами и отнимать ружья и пулеметы...

Ду-дзюн, как заведенная кукла, согласно кивал головой слева. Выли горнисты.

В сумерках поезд тронулся обратно. Когда проехали первый туннель и проскочили границу, Осадчий спросил у Синтягина:

— Хлопцы жрать хочут поди?

— Куда там, — отмахнулся тот в серую темень.

Поезд несся в упругую ночь. Глаз слепили искры. Пушчонка подпрыгивала на стыках.

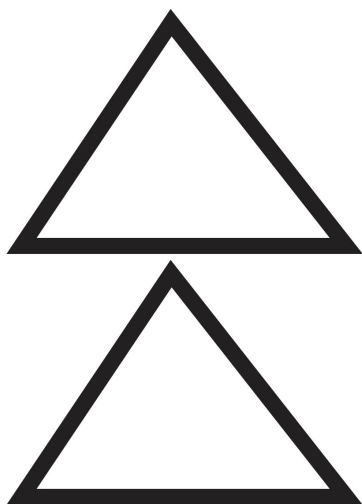
Синтягин задумался о доме. Потом, вспомнив, спросил:

— А как же насчет колодца?

— Набить до верху калмыковцами и забить, хай их, тряся матери, попробуют!

За выемкой замелькали огни казармы.

Михаил Никитин



Михаил Александрович Никитин (1902, по другим данным 1903—1972) — биографические сведения о Никитине скудны. Первый рассказ «Золотой челнок» был напечатан в 1925 в журнале «Сибирские огни». Автор сборников рассказов «Безрогий носорог» (1933), «Енисейская книга» (1944), «Кузбасские записи» (1953), «Сибирские повести» (1964) и др., изданных в Москве.



Партизанская женка

I

Этот рассказ начинается 2 апреля 1927 года. В Омском доме работников просвещения происходит празднование пятилетия «Сиб. огней». В. Зазубрин, произнеся последнее слово доклада, подходит к лесенке, соединившей сцену и партер. Студенты и учителя словесности, ринувшись вперед, окружают докладчика. Это напоминает цирк.

В самом деле, напудренный режиссер прокричал: «Антракт!» Клоун, выскочив на арену, сделал обезьяний прыжок, белые глаза плафонов медленно угасли, шталмейстеры встали в дверях, зеваки устремились за кулисы.

В антрактах разрешено осматривать конюшню. Зеваки бродят вдоль конских стойл, лошади блестят отлакиро-

ванными спинами, рука, затянутая в перчатку, подносит к теплым мордам сахар и конфеты, лошади, тоскуя, берут губами комнатные лакомства.

Докладчик явно не хотел быть деликатной лошадью.

— Узнаете? — спросила его Эльза, студентка Сибакademии, латышка, похожая на англичанку.

— Не узнаю, — сказал докладчик. Белокурая Эльза вспыхнула, ее звонкие каблучки царапнули паркет.

Так началось шествие зевак. Человек, замкнувший это шествие, не был похож на студента или на учителя словесности. Он был черен и кудлат, лицо его было в синих точках, края синей блузы спускались до колен. Он выкинул вперед руку, волосатую и большую, пальцы ее были скрючены.

— Я — тряпицынский партизан, — сказал человек (голос у него был сиплый), — вы тут говорили насчет Фраермана, нет ли у вас той книжицы, где описано о партизанах?

Будем кратки. Я подошел к докладчику и сказал, что у меня есть книга «Сиб. огней» с фраермановской «Огневкой».

Так началось мое знакомство с тряпицынским партизаном. Фамилия его была Кузнецов. Он жил в полуподвале (на ул. Герцена, 54). Комнатка у него была крохотная и удивительно пустая.

В один из весенних вечеров я застал Кузнецова лежащим на кровати. Ноги его в вытяжных сапогах покоились на утлой спинке.

— Садись, — сказал Кузнецов.

Я подошел к окну и сдвинул на подоконнике железный хлам. Вечер отцветал. На тихом дворе, под кузнецовским окном копошились две девочки. Они делали пирожки из глины. Я услышал странный разговор.

— У тебя, Галя, сопля, — сказала черная девочка. Белая Галя подняла голову. Голова с трудом держалась на тоненькой шее.

— У меня нет сопли, — сказала она обиженно.

Черная девочка воткнула в пирожок лопатку.

— Ты будешь кухарка, — сказала она убедительно.

Партизанья берлога показалась мне угрюмой. Она пахла табаком и неопрятным телом. Кроме того, в ней утвердилось запустенье.

— Кузнецов, — сказал я неожиданно, — почему ты не женишься?

Утлая кроватешка скрипнула. Кузнецов переплел пальцы и положил руки под голову.

— Я был женатым, — отозвался он тускло, — жинка моя сгубла в партизанщину.

Любопытство дотронулось до моего плеча. Я вскочил с подоконника и пересек берлогу.

— Кузнецов, — сказал я несмело, — расскажи, Кузнецов!

Сапоги грохнули. Кровать заходила ходуном. Я чувствовал на себе чужие глаза. Они приводили меня в отчаянье. Я вздохнул с облегчением, когда в сумеречном запустении берлоги раздался сиповатый голос.

II

— В восемнадцатом году, по весне, угодил я, браток, в служебный отпуск. Служил я в то время в кондукторской бригаде, жил неплохо, однако, отпуску обрадовался и пошел в деревню.

Деревня наша Крупянской зовется. Стоит она на Иртыше, верст на восемьдесят пониже Омска. Родни там у меня — гибель.

Прибыл в Крупянку в аккурат под воскресенье. Собралась родня, отец ведро самосидки выставил, ребята собрались — не пролей капельки, и пошла промеж нас веселая беседа.

Под утро все наше сродство к Бориску двинулось, к двоюродному братану. Начали мы кузнецовщину обхаживать — в одном доме — четверть, в другом — ведро.

Долго ли, коротко ли обхаживали, только раз просыпалось на полатах. Смотрю — мать шанежки стряпает.

Ладно, думаю, стряпай, мать, шанежки, а я, однако, лакоголик и никакой не кандидат.

В башке собачий сор. Слезаю с полатей. Дай, думаю, пройдуся до Иртыша.

Выхожу за ворота. На улице — звон, народ из церкви валит, все в кобеднешнем — праздник, значит.

Ладно. Дотопал до проулка. Смотрю — шлепают по Иртышу пароходы — один за другим, один за другим.

Я паров нагоняю и бегу к берегу. В аккурат пароходиш-

ко подваливает, на палубе солдаты, все вооруженные, а на мостике человек разгуливает, по видимости, знакомый: «Неужто, — думаю, — товарищ Косырев?»

Он тоже меня заприметил. Сводит совочком руки и кричит:

— Валяй сюда, дело есть!

Я моментально на борт, потом на палубу и — к товарищу Косыреву. Товарищ Косырев мне навстречу:

— Ты, однако, партийный?

— Так точно, отвечаю, кандидат еркапе, партии большевиков.

— То-то, говорит, я тебя на собраниях видел. А про чехов, — спрашивает, — не слышал?

— Нет, отвечаю.

Товарищ Косырев берет меня под руку и дает такое объяснение:

— Чехословаки Омск забрали, наши отступают на Тару. Ежели охота есть, сматывайся на пароход.

Я подумал малость и отвечаю:

— Лозунг твой, товарищ Косырев, мне не с руки, потому что родителей моих некому призреть.

Товарищ Косырев сбылчился. А у меня своя думка на сердце: «Не сердчай, — думаю, — товарищ Косырев, я свое время знаю».

С этой думкой схожу на берег и иду домой.

Дома шанежки ждут.

III

Цветистая подлинность сказа плохо способствует экономии строчек. Автор обещал быть кратким. В этой главе сказ подменен авторским повествованием, сжатым, как консект.

...Конники нарушили спокойствие Крупянки. Они примчались в конце второго спаса. Лето увядало в школьном саду. Конники привязали лошадей в смраде. Их было трое. Они послали за старостой и улеглись в траву.

К полудню площадь загудела сходкой. Один из конников, высокий и худой, тренькая шпорами, вбежал на школьное крыльцо. Он прищурил на толпу бесцветные глаза, мужичьи лица казались одинаковыми. Он крикнул.

— Смирна-а!

В школьном саду шла воронья свадьба, вороний гам наполнил тишину, возникшую от окрика.

Конник поморщился и заговорил. Он заговорил о родине, поруганной большевиками, голос у него был жестяной.

Видел ли он Кудлатого? Кудлатый стоял в толпе. Внезапно он наклонился к соседу. Направо, налево, вперед, назад. Дуновенье шепота оваяло головы. Головы колыхнулись.

Конник вскидывал в воздух тонкие руки. Он говорил о мобилизации. Воронья свадьба не умолкала в саду, ветерок шепота разрастался в бурю.

Конник слышал воронью свадьбу, но не замечал Кудлатого. Внезапно Кудлатый крикнул:

— Довольно брехни!

Скопище колыхнулось — раз и два.

— По домам!

Гам воронья заглох.

— Арестую, — взвизгнул конник. Он сбежал с крыльца. Было уже поздно. Толпа уходила с площади.

Кудлатый шел в толпе.

— Какой нам резон за буржуев фронт держать! — Кудлатый силло орал и нес в сердце гордую думку: эх, поглядел бы на него товарищ Косырев!

Но не товарищ Косырев, а рассудительный Борисок протискался к Кудлатому.

— Тебе, Кузнецов, стеречься надо.

Борисок дотронулся до плеча Кудлатого. Кудлатый обдал его жаром глаз.

— Борисок! Отборное мое зерно, собачье племя, от судьбы никто не уйдет!

...И судьба постучалась в окно Кузнецова, страшно матерщинась.

— Сынок, — простонал ночью ею отец.

Кузнецов соскочил с полатей. Кто-то потрясал раму страшными ударами.

Луна стояла над церковью. Огромные тени солдат колыхались на лужайке. Кузнецов решился.

Изба, сенки, крыльцо. Все было напрасно. На крыльце стояли солдаты. На другую ночь Кузнецова провели по улицам Тары. Тюрьма помещалась у каланчи. На каланче пробило одиннадцать, когда начальник тюрьмы выдал расписку о приеме арестанта и, позевывая, отправился спать...

IV

— Блукащее вышло дело. Втолкнули меня в общую камеру, заперли на замок.

Народу в камере много, на нарах спят вповалку, и воздух очень тяжелый. Делать, однако, нечего. Выбрал я местечко на нарах и моментально заснул.

Долго ли, коротко ли спал, только слышу: кто-то трясет меня за плечо. Просыпаюсь, расхлябываю глаза: стоит надо мной здоровенный мужик, мурластый да рыжий, да еще кривой.

— Вставай, говорит, разговор до тебя имею.

Я заругался. Он ругань мою выслушал и спрашивает:

— По какому делу?

Я перевертываюсь на другой бок и отвечаю:

— Так что по политике.

Мурластый вновь берется за плечо.

— Сапоги, — говорит, — парень, у тебя добрые.

Я глянул на него одним глазом. Он сплевывает на обе стороны и приказ дает:

— Скидавай!

Я его насмех. Он вынимает перышко и начинает пугать: метнет вверх — за черенок поймает, метнет вниз и опять поймает.

Ладно. Поиграл перышком и спрашивает:

— Отдашь добром?

Я моментально в сердце вошел. Рву на себе рубашку и недуром кричу:

— Бей об это место!

(Кузнецов расстегнул блузу. На бронзовой груди, в черном кустарнике волос всплыл синеватый лебедь).

— Бей, — кричу, — об это место!

А сам думаю: «Только сунься!»

Мурластый прячет перышко и показывает на лебедя.

— Сам наколол?

— Сам, — говорю.

— А мне, — спрашивает, — сможешь?

— Смогу, — отвечаю.

На том и поладили. Жизнешка наладилась подходящая. В камере блатные с политическими были перемешаны. Блатных, положим, немного, но камеру они держали

в страхе. Мурластый у них верховодил. Был он фартовый стопорщик и с воли забран недавно. С него и вошел я в настоящий почет.

Почет, однако, не очень-то тешил. Тюрьма, как могила, тяжелым потом до костей прошибает.

Только и было отрады, что Дунярка передачу принесет. Дунярка ходила во вдовах, проживала в Таре в мужнином дому, а сродство имела в Крупянке. В Крупянке мы и слюбились.

По передаточному делу она, однако, походила недолго. Надоело ли ей, а может, пускать перестали, но только остался я без передачи.

Сiju неделю, сiju месяц — движенья нет никакого, а вшивой тоски — колымага. Только и было работы, что блатняку шкуры дубить. Блатные наколку любят. Я и накалывал. Одному голая баба требуется, а другому — лебедь.

V

Автору неизвестно, существует ли книга о побегах. Такая книга повествовала бы о небывалом счастье.

В одной категории побегов счастьем увенчивается тончайший учет бесконечно малых возможностей. Так бежал из крепости анархист Кропоткин.

В другой категории счастье обусловлено секундой замешательства. Так бежала из контрразведки красноармейка Лариса Рейснер.

В седое утро Кузнецова ввели к следователю. За окном был белый буран. Снег таял на лице Кузнецова. Мохнатое тепло покрыло его плечи.

— Как фамилия? — буркнул усатый следователь.

Кузнецов не успел ответить. За окном вдруг бабахнуло. Стекла, звеня, посыпались.

Усатый, бледнея, вскочил. Он постоял секунду и выбежал из комнаты. Кузнецов последовал за ним.

В коридоре не было часового. Кто-то грохал сапогами, сбегая по лестнице. Коридор был пуст.

Кухня, черный ход и двор. Белый буран прикроет следы. Забор, еще забор и полисад. Собаки не залаяли.

Снова забор. Небольшой проход в конюшню. В дырявой крыше вспучивается сено. Беглец прислушивается. Ветер доносит суматошный гул.

Беглец лезет на конюшню и зарывается в сено. Он будет лежать до тех нор, пока девятый удар каланчи не упадет в пушистый снег.

VI

— Дуняркин флигелек двумя окнами на Солдатский переулок глядел, а двумя — на Вдовый. До флигелька я добежал в исправности, ежели не считать того, что малость ознобился.

Зашел с Солдатского, подкрался к окошку. Дунярка за столом сидит и карты мечет.

Я постучал легонько. Она встала и с полколодой карт к окну подошла. Лампа осталась у ней за спиной. Я, понятно, вижен, как горошина.

Она узнала, ударила себя по ляжкам, карты рассыпались. Меня дрожь пробрала. Я опять стучусь и через окно прошу: — Отпирай за ради бога!

Она — в сенцы. Отперла. А я уж зубами чакаю. Чакаю зубами и ставлю ультиматум:

— Не спрашивай ни о чем.

С этим словом да в избу и моментально на полати. На полатах теплынь. Меня, конечно, сморило.

Спросонок услышал я разговор. Разговаривает с кем-то Дунярка, разговаривает и целуется.

Я околемаюсь. Выглядываю из-за тряпья: Якуня-Ваня! Стоит у порога Борисок, а Дунярка к нему ластится и даже тулупчик стаскивает.

Ладно. Раз такое дело, я личность не таю. Высовываюсь с полатей и начинаю здоровкаться.

— Здравствуй, — говорю, — братан, собачья печень!

Борисок заахал. Я слезаю с полатей и беру Бориска за правую руку.

— Борисок, — говорю, — подстиг ты мою залетку, как ястреб цыпку, но я на тебя злого не мыслю, а только прошу об одном: будь ты, Борисок, надежной выручкой!

Борисок скраснел. Мы расцеловались. Борисок выставил четвертуху крупянской, мы выпили и стали думку обдумывать: куда мне теперь пугину держать.

Подумали-подумали и вынесли резолюцию: идти мне по южному направлению, пока не подстигнет линия, а там на любом полустанке влезти в вагон и драпануть на Томск.

Борисок пошел за снаряженьем. Мы остались с Дуняркой. Дунярка глаз не поднимает. Я занозу в живом мясе таю, но вида не показываю и разные бубни-kozyри в разговор вставляю. Сам, между прочим, думаю:

— Что с бабы взять? Баба будто кошка.

По скорости пришел Борисок, принес лыжи да полушубок. Полушубок на-взгляд подходящий, латки на нем, ровно копейки, а в правый рукав загачена заплата на манер военно-пленной перевязи.

Я надел полушубок, сложил припас в холстинку. Отправляюсь в путь. Борисок пошел проводить.

По городу шли осторожно. Распростились у кузниц. Буран угомонился, ночь пала теплая. Я дал наказ насчет весточки родителям, ухетовал лыжи и побежал.

В тую ночь пробежал верст сорок. Под утро залез в стог сена и задневал.

Таким манером шел пять суток: днем хоронюсь, ночью иду.

На шестые сутки кончился припас. В холстинке ни ломтя хлеба, ни табаку на завертку. Я вычах до отказа. До солнозаката все же остановки не делал.

На солнозакате вышел на опушку. Огляделся. Идет от той опушки скат, а по скату, верстах в трех, станция видна, телеграфные столбы и паровозик. Узнал я тую местность. По всем приметам Калачики выходит, станция.

Расчудесно. Я лыжи сбросил и по скату спустил. Присел отдохнуть.

Солнышко на закате. Снег от него кровавой. Я выгадаваю затемно до Калачиков добраться.

Встаю — что за притча: ноги не идут. Побился-побился — не идут.

Делать нечего. Пал я наземь и пополз. Ползу на четырех костях, последних сил лишаюсь.

VII

Приведенные в негодность герои умирают, как правило, в конце романа. Этот рассказ не был бы окончен, если бы в нужное время из-за мохнатой опушки леса не появился зимний обоз.

Впрочем, это был обычный обоз, наполняющий вечернюю тишину пронзительным скрипом полозьев.

Подводчики шли размашисто. Они понукали коней, торопясь к ночевке. Их кости ныли от холода.

Старик с деревянной ногой и розовый парень шли у передней подводы. Они говорили о том, что в Омске объявился император Колчак. Старик похлопывал рукавицами, борода у него закуржевела — это был скрипун-медведь из деревенской сказки.

— Нам што, — говорил скрипун-медведь, — какая партия ни приди — любая будет наша.

— Это правильно, — соглашался парень, — мы за все в ответе.

Внезапно скрипун остановился. Он заметил точку, которая ползла по скату.

— Глянь-ка, Вася! — сказал он озабоченно.

Конец кнута воткнулся в костер зари. Вася поднес рукавицу к слезящимся глазам. Снег был розов. Точка, ползущая по скату, напоминала муху на кошме.

Впрочем, кошма была не белая. Вечер пролил на нее рубиновое вино. Постепенно кошма развернулась в поле. Точка выросла в человека. Человек был, несомненно, пьян.

Он полз на четвереньках. Приподнявшись на колени, он срывал шапку и махал ею в воздухе. После этого он пал на руки.

Обоз остановился. Пятеро подводчиков, увязая в снегу, пошли к человеку. Он взмахнул руками и рухнул в снег.

...Мужики отвезли Кузнецова в Калачики.

Через неделю на станции Томск из теплушки (с надписью «служебный») вышли два кондуктора. Они зашагали по узкому пролету, образованному двумя составами.

Выйдя на перрон, они остановились и протянули друг другу руки.

— Будь здоров, собачья печень, — сказал один из них, открывая в улыбке ослепительные зубы. Зубы были оттены чернью отросшей бороды.

VIII

— В Томском комитете вышло насчет меня такое решение, чтобы быть мне разведчиком под маркой пушкаря. Поставили меня на набережной Ушайки. Место людное. Я всякий слушок на заметку брал и понемножку агитпропил.

К тому времени оброс сильно: борода помелом, волосы копной — конспирация на все сто процентов.

На деле вышло не так. По весне, когда уже оттепели начались, подстигла меня беда.

Подошел ко мне однажды немудрящий солдатик.

— Желаю, — говорит, — сняться.

Я взглянул на солдатику и обмер. Конфликт получился крутой. В том солдатику признал я беляка, который в Таре охранял тюрьму.

Вида, конечно, не показываю.

— Вам, — спрашиваю, — полдюжину аль больше?

Солдатик заказал полдюжину. Я моментально сделал шесть картинок и подаю солдату. Сам думаю: «Проваливай поскорее».

Он поглядел на меня пристально и говорит:

— Где-то мы с тобой встречались, землячок.

Я сомлел. На тот случай подвернулась под руку женщина. Я за ней:

— Садитесь, — говорю, — дамочка, снимаю первый сорт!

Солдатик отошел, но не совсем. Я к женщине подсыпаюсь.

— Вам, — спрашиваю, — в бюст иль в полную фигуру?

Солдатик по бульваре шлындает. Я за ним все подробности замечаю и в тот же момент с бабочкой разговариваю:

— Плечики сравняйте, на лицо выраженье напустите!

Бабочка прихорашивается. Я на нее — одним глазом, а на солдатику — другим.

Бабочка аккуратная. Лицом — бела, телом — строгана, по всем приметам — от больших господ кухарка.

Я сготовил карточки. В соборе как раз к вечерне ударили. Пора пошабашить. С тем и обращаюсь:

— Как, — говорю, — я пошабашил, то не дозволите ль, дамочка, с вами прогуляться?

Она носиком туды-сюды.

— Во-первых, — отвечает, — я не дамочка, а до дому, между прочим, проводите.

Я, конечно:

— С полным удовольствием!

И сматываю монатки.

На бульваре встретил нас подозрительный солдатик. Он глянул на меня волком, но остановить не решился.

Я пустился в разговоры. Моментально узнал, что надобно: барышня моя у городского головы в горнишных служит, в Нижнеудинске брат у нее кочегаром ездит и больше родства никакого. Звали ее Марусей.

Я стал подсыпаться.

— Откуда вы, — спрашиваю, — такая строгана-точена произошли?

С таким разговором дошли до Марусиного дома. Она приглашает. Я про хозяев осведомился. Маруся говорит:

— В гости уехали.

Я в таком разе взял ее на буксир. Поднялись во второй этаж, попутляли в коридорах и очутились в небольшой каморке.

Каморка у ней немудрящая, но убрана красиво: занавесочки, открытки и всякие штуки.

Я расположился, словно в Крупянке. Барышня оказалась не легкого напеву. Моментально дает отпор:

— Прекратите ваши лапанья!

Я тогда другую линию повел. Завожу разговор насчет скуки, насчет холостяцкой кручины. Маруся отвечает, что хорошо бы знакомство свести.

Клюнуло. Я оперился и приступил к делу.

— Как, — говорю, — теперь ночь, то с аппаратом мне идти, безусловно, в неудобицу. Нельзя ли аппарат у вас оставить?

У меня было соображение, что с аппаратом я на улице очень приметен.

Маруся согласилась, я аппарат спокинул, мы распрощались, и она по случаю того, что в передней звонки зазвонили, вывела меня через черный ход. Без аппарата мне, понятно, сподручнее. Опять же к барышне в другорядь завиться можно.

Я заявился и, безусловно, не раз.

IX

Апрельский ветер решил Марусину судьбу. В апрельскую ночь Кузнецов и Маруся стояли на лестнице. Кузнецов держал Марусины руки. Они были теплы, как ветер.

Кузнецов и Маруся молчали. Луна стояла в круглом окне, лунный свет дробился на ступеньках. Лицо у Маруси было белее платья.

Внезапно Кузнецов отпустил ее руки. Она перебросила через плечо тугую косу.

Тогда рука Кузнецова легла на ее грудь. Он почувствовал тело ее, молодое и ждущее.

— Маруся, — сказал он тихо, — дошла ты до моего сердца.

Луна светила ему. Он нашел ее губы. Ветер облил их теплом.

— Голубеночек! — шепнула Маруся, обессиленно закрывая глаза.

Х

— Расскажу тебе коротко.

Повенчали нас на Красной горке. Венчали в соборе. Городской голова в посаженные отцы пошел, а одна генеральша — в матери.

Я, однако, насчет свадьбы не обнадежился и каждый день ждал провала. В таких обстоятельствах вспомнил про жинкина брата.

Братан, как было говорено, в Нижнеудинске кочегарил. Жинка с ним переписывалась, но свиданья не имела два года.

Я начал уговоры:

— Съездим в Нижнеудинск, а после видно будет. Жинка согласилась.

Поехали. Городской голова исхлопотал проезд. Имея большую руку да на женатом положении, я подбодрился. В вагон вошел гоголем и даже спекулянтов потеснил. Их в вагоне было немало.

Ладно. Едем день, едем два. Я к жинке приглядываюсь. Девка ладная: лицом, правда, белобрысенькая, но фигурой — пава. Опять же в разговоре — краля.

В путине какие дела? Поесть да поспать, да с жинкой помиловаться. В таком порядке доехали до Нижнеудинска.

В Нижнеудинске подстигла нас беда. Вещей у жинки было много. Я, конечно, оставил ее на вокзале, а сам пошел к братану.

Братана в день нашего приезда как раз арестовали. Я об этом не знал и наткнулся на засаду.

Вышло так, что судьбина моя пала решкой. Архангелы поволокли в тюрьму.

Попал я опять же в общую камеру. Камера небольшая — человек на двенадцать. Тюремная бражка подступила с расспросами.

Я отвечаю одно:

— Томский пушкарь.

Бражка отхлынула. Я сел на нары. Думка у меня одна:

— Как теперь Маруська выкрутится?

Подле меня спал один хлопец, по видимости хохол. Спал он, действительно, напролет. Я от разной нуды промаялся до рассвета.

На рассвете хлопец проснулся, увидел меня, заприметил, что я не сплю.

— По какому случаю не спишь?

Я отвечаю:

— Тоска задавила.

Он тогда спрашивает:

— Табак есть?

— Нет, — говорю, — отобрали менты.

Хлопец помолчал малость и показывает на кошму:

— Сопи в две дырочки!

Сам отодвигается и моментально засыпает.

Я тоже прилег. Уснул, однако, не скоро.

На утро стал приглядываться к хлопцу. Он прожевал паек и свалился спать. Я заинтересовался.

— Браток, — говорю, — уступи половину!

Он подвинулся. С того и повелось. Проснемся мы с хлопцем, прожужим паек, пошландаем по камере и — спать.

Звали хлопца Павличенко. Был он крепкий бывалец, при первых советах военкомил в Оренбурге, после сидел в тюрьмах и побегу делал лихо. Мы с ним зажили в один дух.

О жинке я, однако, шибко тосковал. Не помню, на какой день дали нам с жинкой свиданье. Вышло это так. Брат моей жинки окрутился с полькой, у этой польки был брат-конвоир из тюремной команды. Он-то и исхлопотал свиданье. Через решетку, впрочем, какой разговор? Жинка сообщила, что братан пропал. До тюрьмы его, видимо, не довели.

По этим случаям жинка пришла печальная. Придерживалась все же крепко и даже меня подбодрила:

— Не унывай, будем вместе.

XI

Во второе свидание Маруся передала Кузнецову бутылку с молоком. Глаза ее голубые и ясные были заплаканы.

В бессвязном разговоре она намекнула на пробку. Оставшись один, Кузнецов забрался в укромное место, вынул пробку и разрезал ее перочинным ножом.

В пробке обнаружилась записка. Маруся сообщала, что на днях из тюрьмы погонят партию в Хабаровск.

Кузнецов побежал к Павличенко. Сонный хохол прочитал записку и изменился в лице.

XII

Павличенко был парень-еж — голыми руками не схватить. Я увидел, что он встревожился и начал спрашивать, какие его соображения.

Он тогда рассказал про смертный эшелон. Я испугался. История выходила гробовая. В таких обстоятельствах начали мы подбирать парней, которые покрепче.

Через три дня приказали нам сматываться. Жинка прежним порядком доставила весточку. В записке было сказано, что в конвое пойдет свой человек, зовут того человека Феликсом.

Мы стали думать на поляка, который в тюремной команде служил. Павличенко сказал:

— Не иначе, готовят махинацию.

Дело получилось табачное. В смертный вагон понатыркали нас полста человек. Время было летнее. Мы, проехав малость, стали проситься до ветру. Конвоиры позвали коменданта. Смертный комендант должность исполнил, обвязал нас большим узлом и запер теплушку.

Мы начали стучаться. В таком разе прибежал конвой. Всыпали нам изрядно, а нужде нашей выхода нет.

Стали мы складывать ее в консервные банки. Но на полста человек где банок набрать?

Исход получался один: складывай нужду в угол.

Хватили мы тогда горя, перетерпели и порку, и вонь, и голод. Жизнешка была такая, что мужики ревели в ручьи.

Наша шатия — семь человек — в отчаянность не впадала. Под конец, однако, начали и мы сдавать.

Человек будет покрепче твари. Однако и человек не сдюжит, когда подходит кораблям потоп.

Мало-помалу вышли мы из сил. Тут и обнаружилась связь. Сунул мне конвойный грамотку. Было это вечером. Я у конвойного заприметил хохолок. Еще заприметил, что он расту большого.

Мне, однако, не до примет. Я подхватил грамотку и шепнул ребятам. Мы сползли в один угол. Павличенко запал за мою спинку и грамотку взял на обгляд.

Там было сказано:

— Притворяйтесь хворыми.

Нам что? Притвориться можно. Притвориться нетрудно, ежели от хворобы народишко пропадал. К тому же все зачервивели. Черва произошла от порок.

Хворали напролет. Из полста человек до Хабаровска дошли тридцать восемь.

В Хабаровске нас вывели из вагона, оцепили конвоем. Смертный комендант объявил, что нас-де отправят на Сахалин. С вокзала и отправили.

Мы, конечно, знали, что за Сахалин. Верст на пятьдесят пониже Хабаровска стоит на Амуре утес. Называется он — Бык. С этого Быка нашего брата спускали в Амур.

Ладно. Погнали нас на Сахалин. Мы идем неторопоко: что ни шаг — спотыкачка, что ни верста — свалка. Ведут нас лесом. Мы поглядываем на лес и прощаемся с белым светом.

Под вечер вышли на елань. После я распознал, что она зовется Красной Горкой. От этой Горки Амур отошел на полверсты, под самой же Горкой стоит китайский базар. Тут нам дали привал. Мы пали наземь — ни живы ни мертвы. Беляки поскидавали винтовки. Внезапно начальник говорит:

— Пойдем, ребята, купаться.

Беляки посчитали нас окончательнодохлыми, составили винтовки и козлы и пошли. Одни пошли на Амур, другие — на китайский базар.

На привале остались двое дозорных — один лежит в траве, другой расхаживает рядом, оба с винтовками.

Я подползаю к Павличенко. Шепчу втихаря:

— Пора начинать!

Он отвечает:

— Пождем малость.

И толкает в бок. Я оглядываюсь. Конвоиры стоят и разговаривают. Один смотрит на меня пристально. Я вижу: расту он высокого, на лбу хохолок.

— Неужто Феликс?

XIII

Высокий конвоир внезапно вырвал у товарища винтовку.

— К оружию! — крикнул Павличенко. Колебание было мгновенное. Конвоир, бросившийся на высокого, упал от удара прикладом. Пленники кинулись к винтовкам. Злость и надежда подняли их.

Феликс, окруженный пленниками, видел страшные лица. Люди дотрагивались до его плеч и винтовки. Люди кричали несурзное.

Павличенко восстановил порядок.

Оружия хватило на восемнадцать человек. Павличенко разделил отряд: восемь человек пошли к реке, десять — на базар.

Конвоиры блаженствовали в Амуре. Залп был ошеломителен. После второго залпа конвоиры сдались и, голые, вышли на берег.

На китайском базаре завязалась перестрелка. Феликс был ранен выстрелом из нагана.

XIV

На привале устроили совет — как быть с пленными. Задумали мы думку насчет тех, которые сдались на Амуре. Палачей Феликса Павличенко ликвидировал на базаре. Остались в живых восемь беляков.

Мы сделали им предложение: или с нами, или — в Амур. Им что? Они — люди мобилизованные.

Согласились с нами. Мы погрузили на них всякий припас, а сами взяли винтовки. Часть припасов забрали на китайском базаре. Торговцы в крик. У нас один ответ:

— Революционная необходимость.

Торговцы, конечно, без понятий. Нам валандаться некогда — день клонит к вечеру. Пошли. Под Феликса сделали носилки. У него ранение серьезное: пуля пробила мочевого пузырь.

В первую смену несли его мы с Павличенко. Когда стали сменяться, он вошел в сознание. Узнал меня, манит пальцем. Я подошел. Он говорит:

— Маруся в Хабаровске.

И сообщает адрес. Я обрадовался, адрес взял на заметку.

При первых звездах повстречались с китаезами. Они несли на прииски спирт.

Мы бидоны со спиртом, безусловно, конфисковали. Ребята предложили выпить. Павличенко согласия не дал.

Ночью, на привале Феликс заметался. Я от него не отходил. Сажу и чуть не плачу: парнишка молоденький, на лбу хохолок, ресницы, как у девки — хороший мальчонка пропадает.

Должно быть, думку свою обсказал. Феликс расхлебывал глаза и шепчет:

— Я анархист.

И сам мутнеет и ворошит руками.

Под утро умер. Мы были парни каменные — по Феликсу все же всплакнул не один.

Схоронили его под высоким кленом, я предлагал три залпа дать, но Павличенко отставил:

— Нельзя, — говорит, — расходовать патрон.

В тот же день, под вечер, вышли мы на веселое место — на высокую гору. К горе прибился дол, очень красивый на вид. Цветов в том долу — гибель, и цветы все синие.

На горе мы застановали. Прожили день, прожили два, все распрекрасно: дни погожие, ночи ясные. Мучает нас только червивая зануда.

Павличенко приказал мазаться спиртом и пекчись на солнце.

Облегчение, действительно, последовало. Червивая шкура слезла. Стали мы красные — срамно смотреть.

Павличенко не дожидаясь, когда мы отшелушимся. Надо было налаживать связь. Я получил приказ быть за начальника, а Павличенко надел конвоирскую форму и пошел в Хабаровск. В кармане у него конвоирский документ и жинкин адрес.

Остались мы без Павличенко. День живем, два живем, красная шкура стала чернеть. Смеху было немало. Сперва почернели под дуб, а после разделало под орех.

На четвертую альбо на пятую ночь я, поверяя караул, наткнулся на Павличенко.

XV

Утро началось осенним холодком. В долине медленно растаял туман. Желтоглазый август прошелся по горам.

Прозрачное утро расцвело озерами веселья. Сходка была шумливой. Партизаны расселись вокруг Павличенко. Некоторые улеглись в траву. Они глядели на долину, седую от росы.

Покусывая сорванную травинку, Павличенко начал доклад.

Хабаровск узнал о дерзком побеге. Казаки рыскают в окрестностях. Подпольный комитет дал две бомбы, а еще — маршрут на Де-Кастри. Не сегодня-завтра женка Кузнецова доставит транспорт винтовок. После этого отряд снимется и пойдет по маршруту.

— Товарищи, будем придерживаться, — закончил Павличенко...

Дозорный прервал медлительного хохла. Он вбежал в круг, бледный и растерзанный. Партизаны вскочили.

— Казаки! — крикнул дозорный. Задохнувшись, он упал в траву. Смятение было мгновение. Павличенко восстановил порядок. Небольшой отряд пошел по горе навстречу казакам. Другие побежали в противоположную сторону. С ними пошел Павличенко.

Они пробежали триста сажен и залегли в кустах. Гора здесь круто спускалась в долину. Внизу, в зеленой траве запуталась дорога. Павличенко решил замкнуть казаков: его отряд должен был их встретить — первый отряд закрывал обратный выход.

Казаки появились из-за выступа горы. Они ехали шагом, ведя заводных лошадей.

Павличенко сунул Кузнецову бомбу. Казаки приближались весело и спокойно.

Внезапно Кузнецов побледнел. Впереди отряда, между двух казаков, ехала женщина. Она неумело раскачивалась в седле, руки у нее были связаны. За ее лошадью двигалась подвода. Телега была пуста.

— Женка! — прохрипел Кузнецов, испуганно взглянув на Павличенко.

XVI

У Павличенко и у меня в руках по бомбе. Казаки близко. Павличенко говорит:

— Пропускать нельзя. Ежели пропустим, отрежут нам путь — сколько народу погибнет.

У меня в голове зашумело. Думаю: «Я один, а товарищей — тридцать восемь».

Казаки все ближе. Даже матерщину слышно. Я гляжу на Павличенко. У него глаз мутный.

— Вспомни, говорит, про смертный вагон!

Казаки под нами. Я зажмуриваю глаза и кидаю бомбу.

XVII

Партизаны бешено скатились в долину. Дым взрывов рассеялся. Люди и окровавленные лошади бились в траве. Фуражки с желтыми околышами разбрызнулись по долине.

Пять-шесть всадников мчались обратно. За ними бежали заседланные лошади.

Павличенко положил людей в цепь. Ветер залпа сорвал с седел двух всадников.

Тогда Павличенко оглянулся. Кузнецов сидел в траве и, держа на коленях окровавленное тело, приставлял к нему оторванную голову.

— Друг! — закричал Павличенко.

XVIII

Я вышел от Кузнецова поздно вечером. Мне пришлось услышать разговор девочек. Они гнездились у ворот на низенькой скамейке.

— А што на небе светит? — спросила одна из девочек.

— Луна, — ответила другая.

— А зачем?

Я зашагал по шаткому тротуару, не дослушав разговора. Я знал, что на небе светит луна. Это было обычное светило омской весны — карминовая луна, похожая на голову казненной.

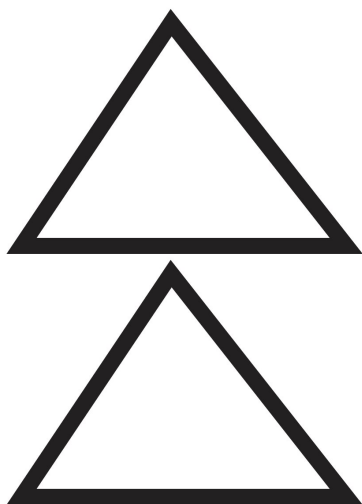
Я был в бредовом раздумье. Я шел по улице и, кажется, просил луну, чтобы она научила меня особенным словам.

Да, особенным словам, таким, которые легли бы на дорогах человеческой боли, как неотесанные простые камни.

Приложение



Георгий Вяткин



Георгий Андреевич Вяткин (1885—1938) родился в Омске, в семье старшего урядника — музыканта Омской казачьей станицы. В 1893 году семья Вяткиных переезжает в Томск. В 1899 году окончил учительскую семинарию в Томске. Свое первое стихотворение опубликовал в 1900 году. В 1902 году поступил в Казанский учительский институт, но при переходе во второй класс был исключен за политическую неблагонадежность. Вернулся в Томск, работал в газете «Сибирская жизнь» корректором, репортером, фельетонистом, рецензентом, секретарем редакции. В 1905 году Вяткин был привлечен к суду по статье 129 Уложения о наказаниях («призыв к ниспровержению существующего строя»). С 1906 года печатался в большинстве литературных журналов России. Был близко знаком с И.А. Буниным, А.И. Kupриным, А.А. Блоком, А.Н. Толстым, Б.К. Зайцевым, А.М. Горьким, В.Ф. Комиссаржевской и с другими крупными деятелями Серебряного века. С 1914 около года проработал в газете «Утро» (Харьков). В октябре 1915 был призван в действующую армию. Проходил службу вместе с писателем Сашей Чёрным. В конце 1917 года демобилизован, уезжает в Томск. Не принял Октябрьскую революцию, примкнул к эсеровскому подполью. Заведовал обзором печати при Правительстве Колчака. Осенью 1919 года принял участие в Сибирском Ледяном походе. 22 мая 1920 г. был арестован по доносу и этапирован в Омск, где был приговорён к трем годам лишения избирательных прав и «общественному презрению».

С 1921 года работал в омских газетах и журналах, с 1925 года — в редакции журнала «Сибирские огни». В начале 1930-х годов Вяткин вошел в редколлегию Сибирской советской энциклопедии. Проработал вплоть до самого закрытия энциклопедии, разгром которой в 1937 г. поставил точку и в судьбе самого Вяткина. Он был исключен из членов Западно-Сибирского краевого отделения Союза советских писателей.

16 декабря 1937 года Вяткин был арестован органами НКВД Новосибирской области. Во время допросов подвергался пыткам. За участие в контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия» и иную (не расшифрованную) контрреволюционную деятельность приговорен к расстрелу. 8 января 1938 года приговор был приведен в исполнение.



Четверо

I

Почти каждый вечер, тяжело трепеща и гроыхая, к тюрьме подкатывал автомобиль. Из камер вызывали двух-трех контрреволюционеров, связывали сзади руки и увозили в загородную рощу на расстрел.

303

В эти часы старый генерал Малышев брал Евангелие и в сотый раз перечитывал свою любимую главу от Иоанна, последнюю беседу Иисуса с учениками. А полковник фон Шток свертывал дрожащими руками сотую за день папиросу и, сутулясь, втягивая голову в плечи, хрипло матерился.

— Послушайте, — взволнованно говорил Малышев, — полковник!.. Как вы не понимаете, что это свинство!..

- Да ведь я не вас...
- Все равно. Я читаю Евангелие, а вы...
- Э, какое там к черту Евангелие! Все равно расстреляют, мать их...
- Ну, вот опять...
- Да что вы... рот мне заткнете, что ли? Хочу лаяться и буду! Вы, небось, перед смертью-то на колени станете... А я, коли на то пошло, и господа бога катну по матушке.

В камере их сидело четверо: кроме Малышева и фон Штока еще полковник Старцев и прапорщик Лепехин. Но Старцев и Лепехин молчали: к ругани они привыкли, им было все равно.

— Собака лает, ветер носит, — лениво думал полковник Старцев. Целыми днями почти неподвижно сидел он на нарах, поджав под себя ноги, и штопая рваную гимнастерку или жирные протертые штаны. Был он подслеповат — на германском фронте повредило глаза ядовитым газом, руки дрожали от застарелого ревматизма, и нитка никак не попадала в иголку.

— Давайте, Илья Ильич, уж я вам помогу, — подсаживался к нему Лепехин. У него тоже дрожали руки, но нитка все-таки слушалась, шла куда надо. Потом Лепехин ложился на нары и читал. Читал до одури, до головокружения, все, что попадалось под руку в убогой и растрепанной тюремной библиотечке старые журналы, Григоровича, «Рациональное свиноводство».

Время тянулось медленно, скучно. Тогда трое, без фон Штока, играли в шашки, сделанные из картонных обрезков. А от фон Штока к шашкам ползли по нарам вши, будто хотели тоже играть: одна, другая...

— Послушайте, фон-барон, — говорил Малышев, — какого черта вы тут... распускаете-то...

— Да уж, действительно, — меланхолично вставлял Старцев, — и в баню не ходит...

— Ладно! — огрызнулся фон Шток. — С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь. Нежности какие... Подумаешь тоже...

— Не нежности, а неуважение к другим...

— Конечно, неуважение...

— Заладили! Уважение... Было бы кого уважать...

— Ну-ну! Поосторожнее, полковник!

— Святоши какие, подумаешь! Посадили, как собак на цепь, так не миндальничайте.

— А вы не беситесь.

— Да уж... Ежели на то пойдет... Кому-нибудь горло перерву...

Так шумели часто, почти каждый день.

А по вечерам, после проверки, все четверо затихали и прислушивались: не к их ли камере идут, позвякивая ключами. Проходило пять минут, десять. Автомобиль сдержанно гудел, ждал. Потом гулко уносился к роще... Тогда можно было облегченно вздохнуть и спокойно спать до утра.

Ночью каждый думал о своем. Малышев украдкой молился. Старцев без конца думал о дочери — бледной Танечке с большими жаркими глазами. Завтра вторник, а в среду день передачи. Таня опять принесет бутылку молока, и в бумажной пробке три слова, чуть заметно карандашиком: «Все будет хорошо».

Прапорщик Лепехин вспоминал мать, сестер, о которых не знал: живы ли. Три года назад оставил их в Самаре и с тех пор никаких вестей...

Его томила бессонница. За плечами стояли семь лет непрерывной войны: бои, отступления, землянки, вшивые нары, сыпняк. Кажется, не осталось в теле и душе ни одного здорового места, и так хотелось вернуться к прошлому: преподавать гимназисткам словесность, летом сидеть на берегу с удочкой. Какой он вояка? Какой он офицер? Ему бы с книжками нянчиться, читать отчеты о государственной думе.

Фон Шток матерился и во сне.

II

305

В тюрьме любили гадать: раскладывали карты, зерна гороха или чечевицы. Открывали наугад книжку и смотрели на тринадцатую строчку сверху или снизу. На картах хорошо гадал цыган Степка, вольнолюбивый дикарь. Он сидел в тюрьме при всякой власти, и когда его начинали этим дразнить, свирепо огрызался:

— Не трожь! Зубами разорву!.. Закипит сердце — беда будет.

— Ой ли?

— Вот те и ой ли! Я брат, заряжен... как бонба...

— Да кто тебя, дурака, зарядил-то? — спрашивали, улыбаясь.

— А все! При царе заряжали, когда в солдатах был... по мордасам били... Потом Керенский... Колчак... теперича красные... Всю жизнь под палкой хожу... Теперя, ежели к стенке не поставят, никому несдобровать.

Степка любил гадать и предсказывать волю — может потому, что сам о ней тосковал. И всем четверем из камеры № 9 тоже нагадал волю.

Когда кончил, генерал Малышев криво усмехнулся.

— Не верится что-то.

И безнадежно махнул рукой.

Старцеву вышло еще лучше:

— Гулять на свадьбе у червонной дамы. У Танечки.

А Лепехину выпало два письма, дальняя дорога, нечаянный интерес. Он даже разволновался, слезы выступили на глазах...

Выпала воля и фон Штоку. Он плюнул сквозь зубы и ничего не сказал. Приезжали из Чека следователи, допрашивали. Были они разные и допрашивали разное: одни с улыбкой, другие с угрозами, третьи холодно и деловито.

От одних постоянно пахло парикмахерской и они допрашиваемых угощали отличными папиросами, а другие не угощали, пахло от них махоркой и потом, и мозолистые руки с трудом выводили на бумаге слова.

Обвинение было одно: служба у белых. Особенных подозрений — участие в карательных отрядах или служба в контрразведке — никто из четверых не вызывал, даже фон Шток, самолично расстрелявший до десятка своих неблагонадежных солдат. Это обстоятельство было Чека неизвестно, но фон Шток со дня на день ждал, что оно обнаружится. На допросах, однако, держался твердо, и даже подал заявление о желании идти добровольцем на польский фронт, защищать Советскую Россию. Втайне мечтал об одном: сбегать, а если пошлют на фронт — передаться полякам.

III

Первым освободили Лепехина. Он был на работе, выгружал вместе с другими арестантами дрова с баржи, и возвращаясь, услышал веселый голос письмоводителя тюремной конторы:

— Собирайте, Лепехин, манатки. На волю!

Криво усмехнулся дрожащими губами:

— Шутить изволите, товарищ?

А через полчаса уже связывал пожитки и, поблескивая влажными глазами, горячо пожимал руки остающимся:

— Авось увидимся... Знаете, гора с горой... или... как это говорится...

И не договорив, кивнул головой и вышел, волоча за узловатые ремни потертый чемоданишко...

Шел как пьяный, смотрел на небо, на солнце, на деревья, на дома. И казалось странным, что другие идут по улице равнодушно, должно быть, не зная, какое это большое счастье — идти по улице, смотреть, видеть. В Соборном сквере присел на скамью. Сердце колотилось смешно и глупо, тоже пьяное. Улыбаясь, смотрел на прохожих, провожал взглядом женщин.

Никого у него в этом городе нет. Ни одной души. Он даже не знает, где будет сегодня ночевать. Но это все равно. Он жив, свободен, ему нет еще и тридцати. Чего же еще?

Позади семь кошмарных лет, бесчисленное количество фронтов и скитаний. Впереди — неизвестность. Что же делать, если нельзя иначе. Мир кипит, как в котле. В крови и муках рождается новое. А тут — этот чемоданишко... да и сам он, Лепехин... Какие пустяки!

IV

Лето состарилось, отяжелело. Какими-то тупыми, душными становились ночи, и в камере нечем было дышать. Полковник Старцев страдал астмой, по ночам задыхался, стонал, боялся, что болезнь задушит его и все мечтал о свидании с Таней. Засыпал он только на рассвете, когда в открытое окно веяло острым холодком...

Плохо спалось и Малышеву: ныли старые кости, перед ненастьем не давали покоя. Хотелось курить — и нечего... А попросить у фон Штока не повертывался язык.

Днем только об одном и думали: когда кого выпустят или отправят в лагерь. Ждали списков. Искали в списках себя и не находили.

И когда 5-го августа Старцеву объявили, что он свободен — он побледнел и зашатался. И так же — от нео-

жиданности — побледнела и пошатнулась Таня, когда он появился на пороге ее комнаты.

Потом успокоилась и порозовела улыбкой:

— Я же тебе писала, папочка: все будет хорошо. Я столько хлопотала, столько бегала, что вот видишь... Ты знаешь, я теперь в губстатбюро, и у нас хороший паек. А кроме того, два раза в неделю даю уроки музыки... в музыкальной студии, в клубе... Завтра там концерт, и мы с тобой пойдем вместе.

Она говорила по обыкновению быстро, перебивая сама себя, заметно увлекаясь, и жарко горели на бледном лице карие, золотистые глаза.

Он взглянул на стол: рядом с его карточкой — снимок какого-то юноши с коммунистической звездой, а рядом с томиком Чехова брошюра Ленина, номер московской «Правды».

Поперхнулся и спросил, кивнув на брошюру и газету:

— Ты и это читаешь?

— А разве нельзя?

— Да нет... я так... полюбопытствовал только... Я-то уж читать не стану.

— Папа, но ведь старое не вернется. Ведь жизнь не стоит на месте...

— Ну что ж! А новое не для меня... В Красную армию, слава богу, не гожусь: инвалидом стал... Может, и к лучшему: тяжело было бы...

V

В конце сентября генерала Малышева перевели в лагерь, а через три недели вызвали в Чека, отобрали подписку о невыезде и направили в военный комиссариат. Комиссия военкомата освидетельствовала и определила: к военной службе не годен по преклонному возрасту и расстроенному здоровью. И направила в отдел труда.

А в отделе труда бушевал заведующий телеграфным агентством:

— Мы вам двадцать раз писали требование на плакатчиков. Неужели не можете прислать ни одного грамотного человека. Это черт знает что такое. Скоро октябрьские торжества, работы по горло, а тут... Я в исполком буду жаловаться... Это безобразие!

На другой день генерал сидел в губроста, за длинным столом и старательно выводил кисточкой на желтой бумаге крупными буквами: «Прихвостни и лакеи международной буржуазии не желают оставить Советскую власть в покое, и мы должны заявить во всеуслышание, что готовы дать им достойный отпор. Долой генералов, помещиков и фабрикантов и всю их реакционную клику! Да здравствует республика трудящихся! Да здравствует мировой пролетариат! Да здравствует III Коммунистический Интернационал!»

В большой комнате было тихо, тепло, горело электричество. Тут же позади стола генералу отвели уголок, где он спал. Дали приличный паек, а к зиме — новый полушубок и мягкие валенки. Покашливая, горбясь, шаркая ревматическими ногами, так и живет он в губроста, скромный, незлобивый, совсем не похожий на генерала. По вечерам тихонько читает Евангелие, а после работы над антирелигиозными плакатами усерднее молится богу и просит простить прегрешения вольные и невольные.

VI

Глубокой осенью, на разгрузке последних барж с дровами, с работы бежали двое арестантов: цыган Степка и полковник фон Шток. Они ловко спрятались в трюме и, выждав, когда все ушли, поздней ночью вылезли и направились лесом в ближайшую деревушку. Степка остался там у знакомой бабы, а фон Шток — сторонкой от дороги двинулся к займке немца Мейера. Здесь он превратился в работника Карла, отпустил усы и бороду, нарядился в рваное тряпье и связался с нелегальной организацией белых.

Он уверен, что очень скоро Советская власть падет и воцарится Михаил II-й. Тогда можно будет расправиться с коммунистами, социалистами, жидами, вешать и расстреливать сотнями, чтобы не осталось ни одного, а потом железной дисциплиной сковать армию и, гарцуя на красавце-коне, принимать парады. И вот, чтобы не разучиться командовать и принимать парады, фон Шток поздними вечерами — когда Малышев в губроста молится богу — выезжает на горячем коне далеко в березовые колки.

В полях висит густая холодная муть, ветер полосами несет мокрый снег; озябшие, исхлестанные ветром деревья не знают, куда им деваться, мечутся из стороны на сторону и скрипят и стонут, как живые.

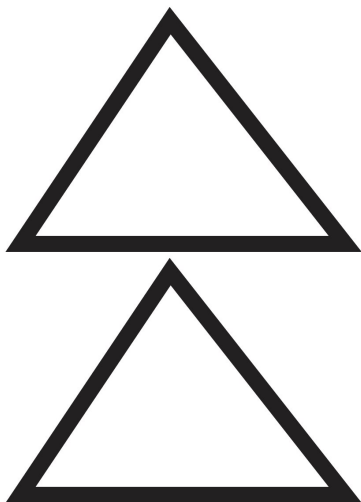
...Фон Шток останавливается среди глухого необозримого поля, высоко вскидывает руку с плетью и, натужась, во всю силу горла и легких кричит:

— Его императорскому величеству... государю императору... Михаилу Александровичу... Ура-а-а!

Ветер обрывает слова, комкает и швыряет их... Взмыленная лошадь шарахается в сторону. И, словно откликаясь на зов, в мутной, холодной тьме с разных сторон выступают сухими огнями волчьи глаза...

Омск, 1922 г., март

В. Шанявец



В. Шанявец — псевдоним Валериана Павловича Правдухина (1892—1938), родился в семье псаломщика. Учился в духовной семинарии, окончил Оренбургскую гимназию. Получив диплом народного учителя, в 1911—1913 годах преподавал в посёлке Акбулак. Поехал в Москву, где слушал лекции на историко-филологическом факультете народного университета Шанявского (1914—1917). Участвовал в эсеровском движении (1912—1918).

В 1919—1920 вместе с женой, писательницей Лидией Сейфуллиной, жил в Челябинске, где заведовал губернским политпросветом. Написал там свое первое произведение — пьесу «Новый учитель». С 1921 года — в Новосибирске, стал одним из основателей и редактором журнала «Сибирские огни», опубликовал там ряд литературно-критических статей.

В 1923 году переехал в Москву, был заведующим отделом литературной критики журнала «Красная нива». Сотрудничал с журналом «Красная новь». С 1926 года публиковал лишь охотничьи истории и рассказы о путешествиях. В 1937 году выступал в защиту Михаила Булгакова. Арестован 16 августа 1937 года. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговорен к смертной казни и расстрелян на полигоне «Коммунарка».



Паутина

I

Сегодня он получил извещение, его срочно вызывали в город.

313

С Назаровым так бывало и раньше: несчастья будто и не было, все обстояло внешне благополучно, но в душу вдруг прокрадывалась шершавая и нудная тревога: словно кто надоедливо и неотвязчиво перебирает горячими пальцами по нутру и никак не хочет дать покоя. Тогда — уходил в себя, становился резким и грубым. Людей не хотел видеть. Но мир от этого не обесценивался, наоборот, казалось ему, что он нес с этой злобой в душе ценное и значительное: в крепкий и плотный узел в такие моменты он завязывал свою горячую кровь.

С таким чувством он въехал в свой город, возвращаясь из деревни.

Но в живой суете встречи со старушкой-хозяйкой и ее дочуркой Нюрой, это моментально улетучилось, как и пришло.

Хозяйка глухо стукнула самоваром, зашебаршила в ведре с углями и зазвенела трубой на кухне, и в этом теперь Назаров уже слышал отзвуки приятной, простой встречи с простыми и приятными людьми.

И в голосе Нюры пела все та же трогательная теплота.

— Бежим с Анюткой... а у крыльца дядя Никита... в снегу весь, чисто дядя Мороз!.. Смеется... Я сразу подумала: дядя Вася!.. А он: на чаек с вашей милости, Анна Петровна...

Нюра захлебывается от восторга, звеня радостью.

— Я чуть не брякнула посуду-то... Вбежала, прямо на дядю Васю!

Назаров вешает в темноте свою солдатскую шинелишку, но видит ясно, как там за стеной широко смеются круглые глазенки Нюры.

— Ну, будет, заткнись, Анна Петровна, — улыбаясь притворно-сурово шамчет на нее старушка. — Неси скорей лампу-то... Не брякни о пол-то... Да, тише ты, коза, не опружь, мотри! Пожару наделаешь...

И ее лицо — маленькое в кулачок, лучистое, коричневое, как печеное яблоко, видел Назаров. Как старинная икона богородицы для старовера, это коричневое лицо было для него полно значения и живой глубины.

Хотел он сразу спросить о Тане, но сдержался: засмеется коричневая старушка, залучится лицо ее, и еще сложнее и значительнее зазвенит ее голос. Кровь прилила в лицо от ожидаемой улыбки старушки, широко и стыдливо стало на душе.

Спросил громко:

— Миха давно был?

— Утром сегодня навещался, вас ждал, — залучилась пуще радостью старушка, — сам себе самовар ставил.. Пел... Сказку нам с Нюрой читал...

— Дядя, он про звездного принца читал! — звонко перебила Нюра.

Назаров ждал: вот сейчас хозяйка заговорит о Тане, знал — заговорит целомудренно, бережно, открыл сло-

вам место в своей душе: горячо и глубоко упадут они туда, но старушка молчала.

Нюра с торжествующим, светлым от лампы и счастья лицом, вошла, оглянулась на него и снова так же торжественно скрылась за дверью.

За стеной громче заговорила глухая труба.

— А еще кто был?

Старался говорить спокойно, но голос чуть-чуть дрогнул, снизился. Волновался. И снова замер в ожидании. От нетерпения стал разбирать корзину, присев на корточки.

— Да бывали... только без вас шуму уж такого не было, — пожалела старушка. — Не пели. Один Миха гомозился... А то больно тихо. Этот белобрысый, прыщеватый, как его, Чубаров, что ли... молодой парнишка. Молчит всегда. Придет, посидит и уйдет — не услышишь. Иван Семеныч заходил. Гордей все в книгах рылся. Да все обычные гости ваши...

И у ней голос оборвался. О Тане ни звука. Думал: нарочно бережет к концу, нарочно лукавит старушка, пытается, чтобы сам спросил.

— Да... Еще один был. Новый. Вчерась. С Таней заходил, — резко и неожиданно вырвалось у хозяйки. — Черномазый... В очках на длинной веревочке... в шубе... гладкий такой, великатный... барин. Все прощенья просил. В комнату не пошел. У двери дожидался. Да там, — голос зазвенел, но не радостью — другим чем-то, — Таня записочку, сказывала, оставила для вас.

Записочку?

Назаров оторвался от корзины, обернулся к столу, схватил большой белый конверт: «В десять 6/1. Обычная в обычном. Хо-о!!!»

Не то. Это о собрании: Михина наивная конспирация и чудачество. Но причем тут «Хо о!!!»? Ага... вот еще.

Маленький синий конверт спрятался за большую, неуклюжую чернильницу с отбитым горлышком.

Узкие, продолговатые, чуть-чуть неровные линии букв. Это от Тани — ясно.

«Вася, я не знаю, что писать тебе и как... Ты умный и чуткий. Может быть, ты и тут поймешь меня и даже не осудишь. Ты не должен осудить, ведь ты же всегда говорил мне о свободном, "вольном, как бесконечность" чувстве...

И ты об одном просил меня: никогда не лгать. И я не лгу и говорю: я ушла к другому. Это невероятно, это не-

ожиданно и для меня, но это так и это непоправимо... И ради всего (тут было зачеркнуто, но Назаров разобрал «прошлого») святого, ради твоей любви к жизни, не вини его, когда ты его узнаешь. Я одна во всем виновата до конца. Ведь я же тебе говорила, что я гадкая, мерзкая. Ты его не знаешь. Одно скажу, хоть и тяжелы, неуместны оправдания, что я не к врагу ушла, чего ты боялся, я с тобой на одном пути. Впрочем, теперь порой кажется, что мне все стало безразличным. Прости меня, мне страшно тяжело. Об одном прошу: не говори со мной об этом при встречах, это моя последняя к тебе просьба.

То, что нас могло бы связать, я вынуждена буду уничтожить, и ты, кажется, раньше ничего не имел против этого.

Татьяна Лунева.

(Карандашом). Карточку свою я унесла. Я изорву ее».

Поднял медленно голову, еще не совсем верил словам, но нет: белая стена так значительно распахнулась во все стороны своей непривычной пустотой, золотая девушка не смотрела с нее, осталась лишь одна блестящая стальная точка кнопки. И на ней полумесяц — маленькая вырезка. Сразу поверил всему до конца, понял все — вплоть до недомолвок и тона хозяйки.

Ну что ж? Казалось, что не задело, прошло мимо. Даже наоборот, как-то удивительно легко и беспечно стало, словно уронил в море большую ношу, от которой мог разбогатеть, но мог и надорваться... А теперь ничего: пусто, легко и свободно снова.

Как неожиданно и как просто. Ушла. Конечно, это ее право. Жизнь большая. Но она к нему — одному — ушла! Кто же он? Остро загорелся Назаров, никогда не допускавший мысли, что может встретиться в этом мире человек, дающий больше там, где Назаров отдавал всего себя — весь мир. Откуда?..

А! Этот великательный барин с очками на веревочке. Сразу нарисовал его. Сразу убедился глубоко и бесповоротно — негодяй. Как он смел отнять ее у него, чем? И как он смел убить моего ребенка? Это он настоял на этом. Мерзкая гадина!

Горячие пальцы опять вернулись: они жгли нутро, заполняли его сплошной скачущей лавой, охватывали все тело изнутри — и остро ударяли в голову. А она... девушка с золотыми волосами.

Вздрогнул: за спиной гроыхнула о пол, ненужно и нахально, жестяная труба.

— Господи! — тихо ахнула коричневая старушка, и опять тихо.

Молчат. Знают? А может быть, нет... Главное, чтобы они не узнали — коричневая старушка и особенно светлоглазая Нюра. Остальное наплевать... Молчат. Видимо, знают. Иначе почему же молчат? А впрочем, на все наплевать.

Сжался. Хотел все раздавить в себе, убить до конца все чувства... И вдруг быстро, больно и глубоко запела по телу кровь.

А ребенок?

Снова в руках письмо: «Я вынуждена буду убить...»

Вчера писала. Еще не успела, если не лжет, сволочь!

Рванулся чтобы бежать к ней. Шагнул за шинелью. Оборвал вешалку и бросил шинель на кровать.

— Нет, не пойду.

Привернул коротко лампу. Сел на кровать.

От мук и болей выработал раньше средство: лечить себя мыслью о смерти, близость которой ощущал не раз в жизни. Помогало. Рождалась легкость. Охватывала, буйная, пьяная жадность к жизни.

— Наплевать. Все проходит!..

И сейчас попытался.

— Умру... исчезну. И ни-ко-гда уже не буду... Нигде!..

Черным крылом вымыло ощущение пустоты: ходят люди, смеются, чай пьют, все такое обычное — вплоть до мелочей — старых самоваров, улыбок, смеха милых девушек, а его нет совершенно...

— Меня уж никогда не будет... Даже закурить не смогу... Улыбку ребенка не смогу увидеть... Никогда!

Последняя точка — безмерной ужасающей тоски... обрыв. Ничего не останется, никто не вспомнит.

И остро до безумия захотелось остаться и после себя в мире...

— Мой ребенок. В нем! И его хотят убить!

Мерно закачался от мук, застыл...

...Стукнула входная дверь. Казалось, не слышал. Кто-то шумливый, мохнатый как медведь, мягко ввалился в дверь. Кричал раздельно и сочно.

— Хо-о, Микандра!.. Ты, что ль? Здравствуй! О, яз-

ви-те в душу-то! Двадцать лет не видались. Пойдем выпьем, что ль, тудыт твою мать!

Совсем еще ясно не узнавал, не думал, кто это, но чувал что-то родное, близкое, горячее, свое лапит его крепкими руками, мажет по лицу пахнущим острой дубильной краской полшубком:

— Хо-о!

Не то легче, не то тяжелее стало Назарову: тяжелое поспешно уходило, но еще сжимало горло резким режущим удушьем.

Встряхнулся.

— Миха, ты? Чего ты орешь?

— Э, нет!.. Не скажу, милейший!.. Нет! Давай рупь целковый, — крепко бросил перед собой широченную ладонь: — Давай, язви те в душу-то, тогда расскажу.

И тут же бурно, с восторгом начал рассказывать, как вчера на барахолке, где он «реализовал подушку — свое последнее наследие буржуазии», он увидел встречу двух старых казаков и так именно приветствовал один из них другого — «Микандру».

— Нет... ты слушай. Хо-о!

Миха пускал звук из глубины, из широченной своей груди — сочно, полно, ядрено:

— Хо-о!

— Куда там тирольцы с голыми ляжками! Ей-богу! Ты вообрази. Старый казак с рубцами на лице, с историческими шрамами, вот с такой седой бородищей... Зверюга, косматый, матерой... Доисторический бронто-палеонто-ихтиозавр! — сляпал с довольной, наивной миной он дикое слово.

— Плечи во-о!

Миха с силой раскинул руки по комнате от стены до стены.

— Вот такой зверюга рычит: хо-о! Нет, слушай, слушай. Хо-о!

И сам, как медвежонок, склонившись, прислушивался к звуку и довольно крутил головой и хохотал от удовольствия...

«Сколько в нем этой “жизнищи”», — подумал Назаров Михиными словами и как всегда глядел с мрачной улыбкой из-под своих черных бровей, нахмутив лоб, на эту кудлатую белобрысую голову, на белесое лицо с наивны-

ми ребячьими глазами и чувствовал, что и сам он, как ребенок, увидевший старую забытую игрушку, светлеет...

Нюра внесла два стакана с чаем и тарелку, нагруженную пирогами.

Миха на лету схватил кусок побольше.

— Это дело!.. Сейчас мы его того, прелестнейшая фея... тиснем! Хо-о!

— А вы дяде Васе оставьте!

— Не бойся, Нюра. Я ему все не дам. Лопнет, — улыбнулся ей сверху Назаров

Сидели, пили чай. Михаил вставал, шумел. Назаров коротко рассказал о своей поездке в деревню.

— Ну, а у нас тут что? Зачем я вам нужен?

— О, много... Ты ничего разве не знаешь еще?

— Откуда?

Взглянули друг другу в глаза: ясно видели, что оба хорошо что-то знают и оба знали в то же время, что сейчас об этом говорить не надо.

— Я еще никого не видел.

— Ну, так вот, милейший. Приехал головарь... областной гусь... — Михаил зашептал слова, не говорил, а словно ел что-то вкусное, и лицо у него стало еще наивнее — совсем ребячье; только длинные белесо-рыжие усы были теперь совсем лишними...

— Шпентель такой!.. Мерзав!.. — повысил было голос, но тут же сорвался. Опять оба поняли и опять знали, что не надо об этом говорить. Назаров задал несколько специальных вопросов о полномочиях, явке приехавшего и, получив ответ, задумался.

Миха опять зашептал:

— Узришь сам сегодня... Сподобишься... Видел мое титло?.. Вызывает нашу троицу боевиков, ставит вопрос об охоте... Я против. Неужели ты за?

— Я всегда готов... А теперь — особенно.

— Почему теперь? — опять осекся и спохватился Михаил, и вдруг неожиданно покраснело до смешных затылки его круглое лицо.

— Не понимаю... Как можно так не любить, не чувствовать жизни, чтобы отказываться от живой борьбы и идти туда, в дыру! — рывкнул Михаил.

— Тише, черт... Хочешь еще чаю?

— Нет!

— Тогда двинем, — ясно и деловито сказал Назаров. — Пора. Дорогой я докажу тебе, как дважды два четыре, что ты не прав.

— Докажешь? А это?.. — Миха уже от двери лукаво ткнул ему под нос свой крепкий кулак, из которого задорно торчал большой палец, легко и молодецкато повернулся и двинулся вперед, перекликаясь весело и широко с коричневой старушкой и Нюрой. Хохотал.

Пела ответно из-за стены хозяйка и задорно радостно звенела Нюра.

II

Собрание было за городом, в тайге, в заброшенной старой даче. Рамы были без стекол, и их снизу закрыли досками, отодранными Михой и Назаровым с террасы. В углу вытянулась вверх черным хоботом железная печка: одно время Миха и Назаров квартировали здесь. Снаружи выла и билась в тонкие дощатые стены неожиданно разыгравшаяся метель, взмывала вверх и, опадая, глухо ударила в крышу. Сверху в широкие щели прорывался легкими рваными клочьями белесый снег и падали серые полосы света.

У двери жался неясной тенью тонкий Чубаров, Миха сидел на столе, слева от председательствовавшего Лепорского. Справа поникла Таня. Огня не зажигали. Курить было запрещено — это именно больше всего и злило Назарова: так ему казалось. Он сидел в пустом темном углу прямо на полу и кутался в свою серую шинель. Посиневшие большие руки старательно прятал в узкие рукава. Перед ним на белом табурете поблескивал синими пятнами его новый наган. Все время молчал.

Спор продолжался больше двух часов. Спорили главным образом Миха и Лепорский.

— Меня удивляет, — мелодично, красиво, не волнуясь, говорил Лепорский, — что здесь я встречаю оппозицию по отношению к вопросу о терроре... и как раз среди боевой тройки. Правда, — в голосе Лепорского послышались пренебрежительные нотки иронии, — самый испытанный член ее товарищ Назаров, по-видимому, не возражает, но вот товарищ Орлов почему-то не хочет согласиться. Он не только тактически не приемлет террора, но

у него чувствуется и идеологическая, принципиальная трещинка в убеждениях...

— Идеологическая... Идеологическая! — передразнил зло Миха, передавая еле заметную словно красиво напущенную картавость и пафос Лепорского. — При чем тут «идеологическая»?.. Мы создавали тройки — и по своему почину — во время корниловщины, держали эти штуки про запас, на случай появления толстосумов, Тит Титычей и генералов... Я так понимаю. А теперь... Да где у вас, черт возьми, наконец, грамота от нашей уважаемой пуповины — цека?.. Выкладывайте! — взревел Миха.

— Позвольте, позвольте, товарищ Орлов, — поблескивал мягкими, круглыми темными глазами Лепорский, — что большевики — контрреволюционеры, это в достаточно ясных формулах зафиксировано последним съездом. Что касается постановления цека, то к чему этот вопрос? Связи нет, а медлить нельзя ни секунды... Ведь не мы нападаем, на нас нападают. Мы не знаем, что будет с нами через пару дней...

— А вы уверены нутром, кишками своими, любезнейший, что эти штуки дадут плод? — спрашивал Миха со страшной настойчивостью, наседая на Лепорского своей мощной фигурой запорожца. Серые глаза его лукаво и наивно резали светлый сумрак.

— Я понимаю, мы стреляли в фаянку красномордого жандарма... Это чудесно! Ух! — потряс он вдруг кулаком в воздухе. — Бить мертвых... Безглазых! Это чудесно! Но палить людей с красным знаменем, палить в них... Может быть, ошибающихся... Это, простите меня... Леруа пардон! Лимонад! — как извиняются русские парни. Да, да!.. Мы все залезли в дыру... и они и мы, но они бьют прежде всего в морду буржуа, черт возьми!.. А его всегда надо бить. Ибо его существование мне личное, жестокое оскорбление!

— Ого! Договорились. Старая интеллигентская песня! — Лепорский в такт словам откидывал рукой в перчатке упавшие на лоб пряди волос из-под барашковой шапки. Народ — святыня, культ, это — своеобразное толстовство. Розовые ленточки институтки на бараньих рогах. Наша цель определенная — дезорганизовать ряды врагов, идущих на нас. Вся их сила здесь, ее необходимо разбить! И мы вершим не убийство, а именно для прекращения в дальнейшем массовых убийств приводим в исполне-

ние смертный приговор над людьми, которые хотят разрушить государство. Другого исхода нет.

Назарову казалось, что он раньше — до того момента, как увидел Лепорского, сам держался тех же взглядов, которые развивал теперь Лепорский. Он был убежден, что если бы не неожиданное появление Лепорского, он сам бы скоро поставил перед тройкой этот вопрос. Ему казалось, что это знают и остальные. Но в красивых, лощеных фразах Лепорского была какая-то фальшь, какая-то тайная, задняя мысль. Назаров почти догадывался о ней, но пока презрительно отметал ее. Взглядывая иногда на Лепорского, его красивые руки в перчатках, выразительное лицо и непреклонный тон, он чувствовал, что Лепорский добьется того, что поставил своей целью — и порой вихрем вспыхивала в нем злость, и он готов был резким ударом разрушить его планы. Но тайная боязнь, что вдруг другие сочтут это трусостью, изменившей его убеждения, а главное, какое-то упорство и самолюбивое, гордое нежелание говорить при Тане с Лепорским удерживали его от участия в споре. «Зачем это он так часто снимает и надевает пенсне?» — подумал он презрительно о Лепорском.

На один момент ему показалось, что они уже встречались где-то с Лепорским и встречались как враги. Усмехнулся над своей романтической фантазией, от которой повеяло дешевым бульварным романом с приключениями.

— Вы эти красивые слова оставьте, милейший!.. Здесь не верхняя палата лорд мистеров! — озлился Миха, соскочив со стола. — Ими вы меня не прошибете... Что вы изрекаете словеса, как непогрешимый лапистый будда! Да скажите ему, наконец, товарищи, что нельзя стрелять в рабочих и крестьян... Таня, что же вы молчите? — горячо метнулся он к ней, но что-то вспомнил и сразу осекся, растерянно застыл посреди комнаты.

— Не в рабочих, а в тех, кто обманно ведет их к неизбежной гибели... Зияющей пропасти! — вспыхнула звонким огнем светло-рыжая Таня, словно ее оскорбили. — Да наконец, когда это, товарищ Орлов, наша партия шла за толпой?

— Но она никогда и не стреляла в нее! — сдержанно, зло бросил Миха.

Назаров во время последних слов сидел неподвижно, устремив взор на табуретку, где спокойно поблескивал

его наган. На Таню ни разу не взглянул. Мусолил во рту папиросы. Бросал и снова незаметно для себя доставал новую. Неожиданно увидел, как по нагану взбирается большой белесо-серый паук. Мягко покачиваясь на высоких тонких ногах, замер на секунду, двинулся по табурету к нему. На краю остановился, тонкий, бескровный он как-то безжизненно остро закачался, словно готовясь раскинуть свою противную паутину.

— Откуда он тут зимой?

С неприятной, словно даже немного жуткой брезгливостью раздавил его папиросой, отшвырнул в сторону и резко поднялся на ноги.

— Может быть, довольно митинговать?

Большой, высокий, сутулый, он раздраженно и быстро прошелся по комнате: доски хрипло и глухо охнули под его ногами, — остановился перед Лепорским и презрительно-зло спросил:

— Разрешите закурить?

— Не могу... воля собрания, — с легким пафосом ответил тот, разводя руками.

— Ну тогда вот что... Довольно канитель тянуть!

Губы, щеки нервно передернулись у него, черные узкие глаза сверкнули.

— Вношу предложение голосовать. Первое: кто за убийство?

— Террор, — мягко поправил Лепорский.

— Ну, пусть будет террор... что ли! — злобно-презрительно подернулся Назаров. — Второе: кого в первую очередь? И жребий. Надоело! Мы не мальчишки, чтоб убеждать друг друга. Домой пора!

— Хорошо. Возражений нет?

Лепорский быстро поднялся и слегка склонился над столом.

Таня вскинула на него свои большие зеленые глаза, но тут же поспешно, почувствовав Назарова, опустила их и снова сжалась.

Миха шлепнулся в угол на место Назарова, вобрав в плечи огромную голову в рыжей папахе.

Чубаров зачем-то открыл дверь. Все оглянулись: из темной дыры мягкой и легкой волной плеснула стихавшая метель.

— Закрой, черт! — огрызнулся Назаров.

— Голосую... Кто против террора? — Лепорский изящно и быстро вскинул пенсне и тускло блеснул ими, оглядывая всех.

Миха вытянул голову, спершись руками о пол.

— Позвольте, — вспыхнул Назаров, бросая под ноги измусоленную, незажженную папиросу, — я не так поставил вопрос. Я предложил: кто за?

— А разве это не безразлично?.. Я полагаю, здесь воздержавшихся не будет.

— Нет, не безразлично! — резко и глухо сказал Назаров со страшным упорством, глядя пристально на Лепорского. — Вы делаете только то, что угодно вам, а не собранию!

— Напрасно так думаете, товарищ Назаров. Я никогда этого себе не позволял и не позволю, — чуть-чуть насмешливо сказал тот. — Кто за террор?

— Я против, — упрямо и нервно бросил Миха.

— Я спрашиваю: кто за?

— Я хочу сказать...

— Я вам слова не давал, товарищ Орлов, — решительно оборвал Лепорский. — Кто за?

Чубаров и Лунева медленно подняли руки.

Назаров небрежно мотнул по воздуху посиневшей рукой.

— Я присоединяюсь, — поспешил добавить Лепорский. — Кто против?

— Да ясно же!.. — Назаров нетерпеливо пошел к двери.

— Кто против? — настойчиво и любезно повторил Лепорский.

— Я против, — безразлично сказал Миха.

— Принято. Кого из намеченного списка в первую очередь?

— Военспеца Павлова, — медленно сказал от двери Назаров.

— Я со своей стороны предлагаю еще комиссара Медведева, — поспешно добавил Лепорский. — Полагаю, двоих вполне достаточно. Возражений нет?

Все молчали.

Миха взглянул вопросительно на Назарова, но, увидев, что тот застыл у двери, отчаянно махнул рукой.

— Хорошо. Принято. Теперь жребий... Я, как известно вам, не имею права участвовать. Товарищ Лунева не входит в тройку и может не участвовать, присутствуя как представительница здешнего комитета...

— Ну черт с вами, милейший! — вдруг весело встрепенулся Миха, легко вскидывая на воздух свое полное тело.

— Товарищ Орлов, призываю вас к порядку. Это не от меня зависит. Я не имею права...

— Знаете, робя! — не обращая внимания на слова Лепорского, загорелся Миха. — Давайте канаться! В чижи-ка сыгранем. Я люблю это. У-ух! Чудесно! Чубарка! Давай твой прозябший жезл. Кто сверху, те двое идут... с визитом к богу, — сострил Миха.

Лепорский усмехнулся с презрительным снисхождением, пожал плечами, но возражать против необычной жеребьевки не стал.

Подшли к Чубарову. Миха ловко схватил палку, подкинул ее и поймал за нижний конец.

— Эх ты, палочка-стукалочка — выручай!

Назаров спокойно положил руку на палку — за Михой.

Чубаров, как автомат, отделился от стены, неловко бросил на стол черные варежки. Одна упала на колени к Тане. Та вздрогнула, повела глазами вспыхнула:

— И я иду!

— Но ведь вы... — начал было Лепорский.

— Хочу! — решительно заявила Таня.

Лепорский недоуменно вздернул плечами.

Миха соорудил довольную мальчишескую мину, высу- нув язык.

Таня быстро отделилась от стола. Подошла. Потяну- лась к палке.

Назаров в это время неожиданно отвел от палки свою руку.

Таня загорелась и крепко и плотно охватила палку ма- ленькой рукой в белой перчатке.

За ней Чубаров. Потом Назаров.

Мелькали медленно руки в сумраке комнаты.

За окнами тихо взмывала порывами утихшая метель.

Сверху остался небольшой — вершка в три — конец палки. Назаров, растопырив длинные пальцы, закрыл его весь, выставив вверх большой палец.

— Ну нет, милейший Вася! Лукавый царедворец! Не финтить. Лимонад!

И Миха резко сдвинул его руку, цепко ухватившись за конец;

— Хо-о! Я говорил, что я люблю играть в чижи-ка...

И мне всегда талан. Ваше величество — светлейший генерал! Иду на вы. Держись, любезнейший!

Казалось, он действительно собирается играть в чижика: присел на корточки и ловко жонглировал в воздухе палкой.

— Я убью Медведева, — медленно и очень спокойно заявил Назаров.

— Но может быть, товарищ Орлов, вы не сможете выполнить постановления? — с несколько нарочитой, довольной серьезностью начал Лепорский. — Во избежание недоразумений я как представитель...

— Пошел к чертовой матери!.. Ах, виноват, прекраснейшая леди! Лимонад! Я же заявил вам, что я прекрасно играю в чижика. И в городки. Чемпион мира! Тайнственная черная маска! Не промахнусь... А что, Вася, если я в него из моей дульцинеи-двухстволки дуплетом, как медведя, сперва бекасинником, потом — жаканом. Иль вицлебен вернее? А может быть, картечью?

— Через два-три дня я сообщу распоряжок, — опять очень спокойно заявил Назаров.

— Чудесно! Чох якши! как говорят на Кавказе. А сейчас двинем на лыжах. Вася, ведь скоро весна!.. Полетят утки... Загогочут гуси!.. Хо-о! Пойдем на тягу, Вася. Хырк! Хорк!

Он говорил так, словно в помещении никого, кроме них, не было. Сам слушал с видимым удовольствием звуки, склонив набок голову.

— Ладно. Сейчас. Вот только два слова мне надо с товарищем Луневой...

— Сейчас? — удивленно взметнулась с молящей слабостью надеждой Таня. — Я тороплюсь. Потом!

— Торопитесь?.. Потом, — тихо и размеренно, словно вдумываясь в слова, повторил Назаров. — Нет! Сейчас. Мне нельзя будет ни с кем видаться, кроме Михи. Необходимо сейчас, — заявил он тоном приказа. — Муха, жди меня там... у оврага.

Таня вскинула беспомощно глазами на Лепорского. Тот молчал.

— Товарищи! Будьте добры, оставьте нас на одну минуту, — с тихой властью, не двигаясь, сказал Назаров.

— Уже поздно, товарищ Назаров, — любезно, но настойчиво возразил Лепорский, укладывая пенсне в карман.

— Мне непременно надо сейчас, товарищ Лунева, —

повторил Назаров, не желая прямо отвечать Лепорскому: чувствовалось, что он ни за что не уступит.

Таня растерянно блеснула глазами и сжалась:

— Хорошо...

— Если вам угодно остаться, я подожду вас на берегу, — с еле уловимой иронией заявил Лепорский.

— Да, да... на берегу, — повторила, как эхо, безучастным тоном Таня.

Лепорский спокойной, мягкой поступью вышел вслед за Михай и Чубаровым, не прикрыв двери.

Метель стихла, и в даче стало светлее.

III

Белесый, дымный, как грязное молоко, сумрак мягко разлился по комнате серыми полосами.

Таня — казалось, что она стала выше, тоньше — стояла посреди комнаты, беспомощно опустив руки. Ждала.

Назаров прошелся раза три от двери к столу, пряча руки в рукава шинели. У полуоткрытой двери, слушал, когда замолкнут глухие шорохи шагов.

Вспыхнула папироса огненной, мелькающей сеткой и открыла его суровое, с крупными чертами лицо, резкий исподлобья блестящий взгляд.

Тишина. Сдержанный тихий вздох Тани. Опять тишина.

Перед террасой дачи широкая просека. За ней бесформенной полосой открывалась сумрачная даль холодная, неприветливая, жуткая, уходящая в безвестное бесконечным пространством.

Назаров глянул туда — и неожиданно, живо ощутил, ярко осознал, что сейчас произошло нечто ужасно нелепое, чего уже совершенно нельзя поправить.

Метнулся было всем существом, но сразу захлопнулась черная тяжелая доска — мышья ловушка! — стало безнадежно пусто на душе.

А тут эта даль — серая, нудная! Она сразу заполнила, захлестнула его живым ощущением, предчувствием своего темного, неизбежного конца.

Так неожиданно...

И острое ощущение своего существа, вот сейчас бьющейся горячо крови, ноющей бессильной мысли, только усиливало жуть перехода в безвестное, беспредметное, неживое.

Деревья мертво и безучастно черной стеной застыли по сторонам. Серый снег уходил вдаль мертвыми полосами. Холодные, черно-сизые пространства далекого неба.

Все это так же будет стыть и после. Всегда. И от меня — ничего, никакого следа. Хоть бы отчаянный вопль собаки плюнул в эту темь!

Но знал, что нет у него и собаки.

Таня ждала. Знала, удар будет. Но какой — не знала. Страшнее всего, если он вдруг подойдет с тоской о прошлом.

Но он молчал. Большая серая спина смотрела на нее безучастно и недвижно. Неуклюжая фигура в серой солдатской шинели, казалось, совершенно забыла о ней. Скоро ли?

Назаров тщательно затушил папиросу и закурил другую.

Тишина. Недвижная, ушедшая в себя большая, сутулая фигура.

— Меня ведь ждут!

Резкий, полный скрытой, сдерживаемой ненависти голос. Назаров словно проснулся. Нет, он не забыл о ней, он только бессознательно, очень хотел, чтобы это так было как можно дольше: стояли бы они молча вместе — в одной комнате — человеческой норе, еще не сказавшие громко друг другу, что они чужие.

Ее возглас был первым ударом, вернувшим его к действительности. Но он не захотел сразу заговорить с ней о своем больном и, не шевельнувшись, все так же стоя спиной к ней, начал расспрашивать ее о Лепорском, так как явка Лепорского была к ней.

Таня насмешливо и ядовито отвечала ему, но Назаров сдерживал себя и долго, подробно расспрашивал. Только когда в одной из ее фраз особенно резко и ясно прозвучала ненависть к нему, не выдержал.

— Таня! Послушай, — он живо обернулся к ней, шагнул, — послушай меня. Зачем этот тон? Еще ведь ничего не случилось! Ты просто ошиблась. Я знаю.

Вот оно, чего так страшилась Таня: суровый человек молил, как обиженный ребенок, это слышалось в его срывающемся грубом голосе. Скрытые ноты нежности в нем оскорбляли ее.

Назаров подошел вплотную:

— Таня!

— Уйдите.... Что вы делаете? Как вам не стыдно унижаться! — с истерической ненавистью и, казалось, брезгливостью медленно, раздельно и глухо проговорила она.

— Таня! Постой... погоди... Ты пойми меня! Послушай, — Назаров с трудом сдерживал себя. — Я ни о чем не прошу тебя. Я хочу, чтоб ты поняла. Предо мной смерть. Черная пропасть.. Дойди со мной до конца! Осталось так немного. Я не хочу от тебя больше ничего.

Он смотрел на нее, брезгливо отстранившуюся от него, и в остатке его безнадежного порыва нежности рождалась уже — выпирала — резкая ответная ненависть. Но ведь в ней был он — его ребенок!

— Уходите!

— Я уйду, — опять сдержал он себя, — скоро уйду... и навсегда. И мне не надо ничего. Дай мне лишь слово — сохранить его и отдать, кому я укажу. Мне это очень нужно теперь!

Последние слова вырвались у него откуда-то из глубины горячим и неожиданным всплеском.

— Уйдите!

Таня отошла к столу и стала к нему боком, отклонившись, точно ожидая удара:

— Уйдите! Я не хочу вашего ребенка. Его еще нет... И не будет. Слышите, не будет!

Она выпрямилась, загорелась дерзостью, в голосе появились ясные и упрямые ноты злости.

Он почувствовал страшную безнадежность: она не услышит, не захочет услышать его. Она так далека от его первой и последней тоски.

— Ты лжешь, гадина! Он жив!

Что-то жгучее дико и неудержимо взметнулось в нем:

— Ты лжешь!

Схватил за руку, сдавил с силой. Раздавить бы ее, расплющить бы в ней эту упрямую, тупую ненависть! Ведь где-то и в ней билось светлое, широкое, человеческое: она нарочно, злобно, как старуха, запрятала это. Куда?

— Ну, бей! Убей меня! Проповедник вольного как бесконечность чувства!

Вскинула голову, смотрела прямо, сияло лицо теми же, что и раньше, глазами — светлыми, ясно-зелеными.

— Ы-ых! — глухо, как от невыносимой зубной боли, промычал Назаров, бросая ее руку. — Гадина... Неужели ты не понимаешь Ты! Женщина!

Откуда-то из глубины опять и опять приливами взмывала безмерная, огромная, бессильно мечущаяся ненависть к ней, теперь казалось, безликой самке.

— Пойми же, хоть раз... ты! Открой свои уши, сбрось свою шкуру! Не я прошу. А ты сама — ты! Неужели не понимаешь? Ты — мать! Ведь всего семь месяцев тебе это будет стоять. Успеешь еще с этим лощеным мерзавцем! — резко и грубо в отчаянии бросил он ей грязное ругательство.

Скривились губы, подергивались щеки у Назарова.

— Ну, а еще как сумеете оскорбить и изругать меня? — с холодным задором спросила Таня.

— Изругать... Боже мой! Она слышит только ругань! О, сволочь!

Вместе с ненавистью в его голосе неудержимо и горячо плеснула широкая, острая тоска отчаяния.

Назаров отошел в угол и стал лицом к стене.

— Уходите! — нервно и глухо, дрогнув, сказал он. И сразу стал — и это увидела Таня — беспомощным, жалким, разбитым, как брошенная собачонка.

Таня быстро пошла к двери. У выхода остановилась:

— Вася, прости меня! Я не могу иначе.

— Уходи скорее, сволочь! — некрасивым криком глухо заплакал Назаров.

— Вася!

— Замолчи же ты, гадина!

Назаров, резко пригнувшись, стремительно бросился к двери мимо отстранившейся в испуге Тани.

Вокруг дачи остро-спокойно смотрел серыми полосами снег, молчаливо и мертво стояли темной стеной деревья. Чуть-чуть яснило небо; кое-где, мерцая, проглядывали звезды.

IV

Назаров почти бежал по тайге, увязая по колена в снегу.

Впереди гулко разносилось: у-ух-хуху!

Это Миха гукал по-тирольски. Он уже стоял на лыжах

крепкий, круглый, мохнатый. Назаров молча стал надевать лыжи, сбивая голой рукой налипший на полозья снег.

Пошли. Словно в тихом испуге шоркали по снегу длинные лыжи. Замаячили среди деревьев в сумерках ночи две странно раскачивающиеся фигуры — сначала неровно, неуклюже; но скоро ровнее и быстрее зашоркали лыжи и ритмичнее закачались фигуры.

Тайга спала. Отовсюду беззвучно дышала тишина. Огромные мохнатые деревья застыли: казалось, каждую секунду, что они только что шептались между собой и внезапно, вот сейчас только, прервали свой шепот. Таинственно и четко реяли резные ветки, выступая то пухлыми белыми опахалами, то темными, тяжелыми мохнатыми лапами недвижно притаившихся чудовищ. Прислушиваясь к их тишине, тяжелыми пятнами низко нависло мутное небо. И только кое-где — в темно-синих полынях облаков — остро и светло проглядывали звезды.

Тонули в темных, сумрачных выемках оврагов, скользили по ровным светлым полянам. Молчали. Миха чувствовал, что пока еще надо молчать: слышал, как неровно, прерывисто дышал Назаров.

Запутавшись лыжей в валежнике, Миха грузно шлепнулся в снег и не выдержал — охнул раскатисто:

— Гоже! Как балерина, прыгнул. Язвите в душу-то!.. Кажинный раз на эфтом месте!

Назаров невольно улыбнулся, глядя, как Миха круглым темным пятном упрямо выкарабкивался из снега, фыркая и ругаясь. Едкое удушье, охватившее его на даче, уже проходило от движений, таяло от бега — на душе становилось легче, яснее и тише. Выезжали из лесу. Темным серебром махнуло в глаза огромное поле. Вдалеке гасло и умирало большим тяжелым пологом.

Взбирались на черный мост, неуклюжим зверем, крепко раскинувшимся над большим глубоким оврагом.

— Покурим.

Миха утвердительно и довольно хокнул, хотя и не курил: голос Назарова прозвучал ясно и спокойно. Светлым вспыхом проклянула темноту спичка. Тела одиноко розовато-красной точкой папираса; летела в овраг. За ней другая, третья...

— Ну так-то Миха... Таки-то дела. Все теперь ясно и просто, как у мандарина в брюхе, — вздохнул откровенно и облегченно Назаров.

— Дела! — взвился Миха, словно от взрыва. — Дураки вы все... и я с вами — первейший! Штампованный и утрамбованный. Чудеснейший балда! — произнес он раздельно со страшным убеждением. — Бесповоротный, как жернов! Чудесно спели под дудку этого шпентеля... Брр!.. А впрочем — теперь на все наплевать с верхней полочки! — сказал он лихо. — Лучше глянем сюда. Видишь? Ширь-то какая. А сюда мотри! — повернулся размашисто, словно размахнулся всей своей фигурой. — Тайга — словно храм милых окаянных чертей! Мрачный, величавый, таинственный... И тихо, как у покойника в носу. Когда там еще нет червей. Эх, и широк же мир!

Крепко выкинул руки в стороны, голову откинул назад, подняв лицо к небу и застыл.

Назаров видел, как смешно торчали усы у Михи и как по-детски поблескивали глаза. И вдруг Миха заговорил — вдохновенно, ярко и ядрено.

— Нет, к черту! К черту вас всех, дрягунов! Канатных скакунов! К черту! К весне упитаю свою фаянку и двину... на Черноморье. Для антитезы ощущений. Буду жрать под кипарисом арбузы... Сяду где-нибудь в Геленджике или Мюссере на берегу моря... под апельсином и лимоном и буду таращить лупала свои на бирюзовое море. И жрать! — хватил цепко рукой по воздуху, словно действительно хотел оторвать кусок мира.

— Желаю, чтоб моему существу, как косноязычному Моисею, открылось особенное, нужное, новое, ценное всем людям!

Слова бросал редко, раздельно, словно вбивал толстые крепкие сваи в гулкую землю; короткие ноги, как два упора тяжелого моста, врезались в снег, казалось, крепко срослись с землей.

— А ты, Васька, мерзавец. Чувствуй и благодари. Лезешь в дыру! В паутину, как муха. Да я б на твоём месте, с твоей-то эрудицией давно бы был... в Батуме! А впрочем, — добродушно, широко добавил он, — при выборе места, дружнице, баранина всегда предпочтительнее разных гейзеров! Итак, юный друг, ты со мной. Да? — вдруг сказал он ласково, задушевно, склонив набок голову и прищурив глаза.

— Конечно... Теперь я вольная птица... — с легкой горечью сказал Назаров: почувствовал, что здесь, в поле, можно говорить обо всем.

— Ага! Вот оно! Это ты про Таню! Наплюй! Я же тебе говорил: женщина всегда предательница. В каждом атоме своего существа. Я это знаю. И я, как старый селезень, когда вижу красивую женщину, ее зовущие, томные формы, говоря высоким штилем, — я только крикаю вот так: Ва-ах! — и будет! Конец! Если же уж очень разберет, покормлю ее шоколадом недельки две, ей вообще ни черта больше не надо! — и атанде! Пошел дальше! Учись и ты, «вьюноша нечестивый», как говорил мой отец, старый киржак — подземный казак.

— Вероятно, ты прав, Миха!..

— Да уж поверь мне... Мне, старому черту и гениальному, как Серафим Саровский, ловеласу, — Миха был на пять лет моложе Назарова, ему было двадцать шесть лет, — поверь и пой песни... К черту! Все к черту! На свете есть только три вещи, достойные внимания мудреца: солнце, фрукты (арбузы главным образом!) и кипарисы!.. Остальное чепуха! Так, что ли, дружище?

Миха крепко потряс за локти Назарова и глубоко глянул ему в глаза — черные, глубокие, живые.

— А если тебе кто под твоим кипарисом да в рожу? — спросил тихо Назаров.

— А ты ему сдачи! — рыкнул, как зверь, Миха. — Всенепременно! И обязательно. Сторицей. Да как можно хлеще! Гуще. В фаянку. Чтоб его, как ветром!.. И опять пой под кипарисом, как птичка... Иэ-эх! Учись мудрости, пока я жив.

Нечаянно сказались последние слова, но оба почувствовали, ощутили живой смысл этих слов. Смотрели друг на друга в глаза, казалось — были одно, держали друг друга за локти, не верили, что это их общее, живое, такое крепкое сейчас, может стать скоро мертвым... Безумно дикой казалась эта мысль, взметнулось огромное чувство жизни, заполнило все вокруг — поле, тайгу, небо, землю...

— А знаешь что, Вася? — таинственно зашептал Миха. И Назарову стало жутко от ожидания того, что скажет Миха, словно тот собирался снять с него какую-то страшную завесу, его прикрывающую, обнажить до нутра, до последнего предела.

— А знаешь что, Вася?..

Мгновенье — взгляды слились совсем и испуганно разомкнулись.

— Знаешь что... — впервые чуть дрогнув, неровно и тихо сказал Миха, — а тебе не кажется, что... тебе надо отдать в починку твою двухстволку? Правый курок у тебя немного фальшит. А то ведь скоро перелет?

— Дурак, — выразительно и убежденно произнес Назаров. — Право, дурак!

Миха гулко, ядрено захохотал, скользнув упруго в сторону на лыжах:

— И поехали два дурака домой, как гласит русская поговорка, — проговорил он и снова захохотал еще более раскатисто и гулко, так что где-то глухо и коротко охнула заснувшая тайга.

V

Через неделю — накануне того дня, когда Миха должен был убить военспеца, ночью его квартиру оцепили агенты Чека. Миха, запершись в комнате, начал отстреливаться и был убит в перестрелке одной из первых пуль.

Назаров еще раньше перебрался в свою запасную нелегальную квартиру, к рабочему жестянщику Гордею, жившему на окраине города. Эту квартиру никто из товарищей, кроме Михи, не знал.

Пришлось несколько выждать.

И только сегодня ему самому лично удалось установить, что военный комиссар Медведев будет вечером в красноармейском клубе, куда он изредка заходил играть в шахматы. Лепорский, узнав от Тани о расспросах Назарова о себе, захотел непременно присутствовать при этом, но Назаров его помощь решительно отверг.

Последние дни почти никуда не выходил. Лежал по целым дням в комнате, с миром сносился только через Гордея и раза два встречался на стороне с Чубаровым.

Только получив известие о гибели Михи, Назаров понял, что в нем до последней минуты бессознательно гнездилась надежда: Миха не пойдет на убийство.

Теперь рухнуло последнее, огромное, и казалось, все чувства навсегда умерли в нем. Все для Назарова стало безразлично. Читал целый день пустейшие романы и старался ни о чем не думать. Только когда видел или

слышал маленькую девятилетнюю сестренку Гордея, с черными блестящими глазами, что-то вспыхивало в нем. Вспоминал Нюру, старушку, и мысль пыталась бежать дальше. Но он легко останавливал ее, и все снова быстро умирало.

Вечером в семь часов лежал на кошме перед печкой и равнодушно жег свои последние сохранившиеся бумаги.

Книги он раньше передал частью Чубарову, частью Гордею. Комната пустела. Неуклюже повисла на стене серая длинная шинель. Неуютно смотрела деревянная кровать большим синим пятном скомканного истертого одеяла. На столе две-три растрепанных книги да грязная разбитая чернильница. И все.

Безучастно смотрел Назаров, как догорали листочки бумаг; яркий, бездушный огонь одинаково весело пожирал их один за другим.

Вот и последний... Что на нем? Назаров устало повел глазами по неровным, черным строчкам: «Сказочной и воздушной кавалькадой, озорной и беспечной, как и наша ватага ребят, по степи скакали круглые кусты ржаво-серого перекасти-поле. Сшибались, цеплялись друг за дружку, громоздились в кучу. Налетал порыв ветра, они снова, как испуганные пушистые зверки, летели врассыпную... Мы снова собирали их в кучу, огромное количество, — потом разом пускали их по широкой, бескрайней степи».

Что такое?

Эти перекасти-поле своими серыми колючими отростками словно укололи его слегка; что-то чуть-чуть разбежались в нем...

Он вспомнил: это его юношеские наброски картин своего детства. Теперь оно уже далеко: оно покрыто и завалено большим грузом жизни; тяжело и окончательно раздавлено неуклюжим страшным мусором недавнего прошлого.

Он бросил листок в печь.

Вспыхнул ярко, скоро погас и ровно затлел коротким синеватым огоньком. Потух. Потухали и угли в печке. В комнате повис темно-синий сумрак.

Назаров медленно откинулся на кошму и закрыл глаза. Поплыли черные бесформенные клубы перед глазами... В городе длинно и серо прохрипел осипший фабричный

гудок... И оборвался. Опять захрипел. Долго не смолкал... Наконец силло гукнул два раза — замолчал.

Назаров забылся в безвкусной сладкой дреме. Поплыл по смутным, тихим волнам. Чуть-чуть вспыхивало сознание, но ему нечем было питаться: на душе было пусто — и оно вновь угасало.

— Спи дитя мое, усни,

Сладкий сон к себе мани! —

наивно мелодично пела за стеной черномазая Лиза.

— Ишь ты, — подумал в полузабытьи Назаров почти с бессознательной слабой лаской, — братишку укачивает. Это все Гордей ее выучил. Чудак... Эстет! Меньшевик, а Фета, Майкова читает. Чудак... — глубже забылся под ее пенье. Ушел в глубину свою, которой, казалось, никогда не знал.

Откуда-то пришла и замаячила серебристым ковылем степь; переливалась разными кругами красок, вспыхивали оранжевые, пунцовые, ярко-красные, огненно-сизые... А это что за краски?.. Да такой нет в жизни. Да, да, нет. Вот бы запечатлеть.

Краски жили, переливались, расплывались, уходили... Ушли совсем.

А вот и перекаати-поле. Он ловит их, хочет остановить, но, странно, их нет под руками, руки машут в пустоте, а перекаати-поле ускользают: кто-то невидимый направляет их и они тихо бегут и бегут. Как их много! Целая армия! Вот они колышутся, как морские волны, и он сам, не ощущая их, путается в них, падает, они подхватывают его и несут... Как хорошо! Как бесконечно сладко безвольно качаться на них...

336 Да это совсем и не перекаати-поле: это настоящие, широкие, ласкающие волны. Он покоится в них, весь отдался им, и в нем самом уже нет совершенно жизни: это ясно — живет не он, а волны, огромные, светлые, ласковые, они шевелят его, и ему кажется, что он живет.

А это кто? Над ним стоит черный человек в барашковой шапке с красивым кукольным лицом и словно молчаливо допрашивает его о чем-то страшном; лицо страшно знакомо, но он никак не может его узнать. Зачем он здесь? Зачем он берет его, поднимает и отрывает от волн. Ему страшно: он же знает, что без них он мертвый. «Не надо! Не трогай!» — беспомощно, по-ребячьи молит он.

Но черный человек улыбается (какие у него красивые, страшные зубы!), мягко берет его под руки и поднимает вверх. Не трогай! Назаров отчаянно сопротивляется — и тут же просыпается.

«Так это во сне?» — облегченно думает он. Теперь он лежит на большой деревянной кровати. Где же это он? Вспомнил. Это кровать его отца. Его придавило смерзшимся скирдом соломы, подъеденным скотиной, отец отрыл его и принес домой. Да, да... Вот и отец: он сидит с поцарапанными большими руками, еще взволнованный, и курит папиросу за папиросой... А он — маленький Вася — с глубокой и благодарной любовью смотрит на эту папиросу с белым дымком и она ему кажется частью самого отца. И отец смотрит на него. Как глубоко проникают в него эти усталые, темно-серые большие глаза. Какой страшный, близкий взгляд! Да, что это?.. Лицо отца наклонилось близко, близко к нему... Кто это дышит? Это не он дышит, а отец... Дыхание горячей струей разбегается по руке.

«Да, это дышит отец, дышит вместе со мной, из меня — тяжело, с одышкой дышит. Где же я?.. И где отец? Но ведь он же умер. Я хоронил его, — с ужасом думает Назаров. — Значит, умер и я... Нет, нет, я жив», — упрямо сопротивляется он и чувствует, как что-то горячее живое закапало из глубины его самого.

«У меня ведь скоро будет мой ребенок — точно горячая капля согревает его. — Мой ребенок, — думает он радостно. — Где он? Он во мне... Я его отдал Тане. А вот пришла и она — женщина. У ней нет лица и вся она гибкая, страстная, зовущая... глубокая... Я ненавижу тебя!» Женщина хохочет, отклоняется, ускользает... Назаров порывается за ней и просыпается.

Оказывается, он сидит на кошме и протягивает вперед руки.

— Что за чепуха? — думает он. Голова болит, ноет тело.
— Не проспал ли?

Светлый вспых спички. Часы. Начало девятого. Еще немного рано. Обычно сейчас приходили Миха и Таня. Где-то внутри неожиданно и ненужно заныла боль. Вспомнилась дача. Воспоминание повисло над душой, как большое грязное и темное пятно.

— Наплевать! Пойду скорее...

Накинул шинель. Нахлобучил шапку.

Ну, еще что? Чернильница? Что с ней делать? Разве запустить ею в стену, как в детстве при отъезде на каникулы?

— А разве сейчас я еду на каникулы? Да, на каникулы, — усмехнулся он.

— Да, чернильницу надо непременно сменить, разбито горлышко, — словно кто-то странно равнодушно со стороны подумал в нем.

Подошел к окну. На окне лежала раскрытая согнутая книга — «Ключи счастья» Вербицкой. «Мудрая женщина!» — подумал иронически Назаров, и вдруг ему показалось, что кто-то взглянул на него в окно, мелькнул за стеклом. Поднял глаза. Никого не было. Снег синими полосами спал на крышах.

Спал тихо, спокойно. Как и тогда — в детстве. Как и после. Как и тогда, когда приходила Таня. Неожиданно заняла боль об ушедших женских ласках, непонятно-сладких, неразгаданно-мучительных. А вдруг она придет сейчас? Холодком пахнуло по спине. Испугала мысль. И вдруг показалось, что хлопнула дверь. Кто это? Миха! Почему Миха? Он буйный. Он всегда кричал, как зверь свое «хо-о!».

— А ведь его нет теперь, — подумалось как-то удивительно просто и равнодушно.

— Нет. Ну так что же? И пусть. И меня не будет. Всех не будет.

— Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая нора, —

учила за перегородкой черненькая девочка пушкинскую сказку.

— Нора?... Почему нора? Не так, надо — дыра... Да, да... Миха так говорил...

— А где же револьвер? Ага... вот он. Это хорошо. Великолепно! Чудесно, черт возьми!

Стоял посреди комнаты в темноте и ему казалось, что в его мозгу скачет какой-то задорный светлый зайчик. Этот зайчик — неожиданно появившаяся мысль четко осознает все окружающее и напряженно ощущает все до боли ясно; вот она словно отделяется от его тела, живет самостоятельно... В ушах начинается сплошной серой лентой шум, все звуки кажутся большими, значительными и странными, пугает шорох собственных шагов и ка-

жется уже слышно, как шуршит по телу кровь... Теперь вдруг само тело стало чужим, ненужным; ненужными и чужими кажутся пальцы, которые тяжелеют, словно распухают и бухнут.

— Странное состояние...

— Однако, что же это я медлю. Нехорошо опаздывать, когда идешь убивать человека.

— Нехорошо! — передразнил задорно светлый зайчик в голове.

— Лиза, я ухожу! Закрой на крючок дверь.

— Куда, дядя?

— В клуб. Скажи Гордею — в клуб. Он знает.

— Играть, дядя?

— Играть...

— Ты скоро воротись?

— Нет, не скоро, Лиза. Не жди.

— А то Гора сказывал, самовар тебе раздуть. Я раздую. В печке картошки остались...

— Нет, не надо. Спи... Я надолго. Прощай! Дай я тебя поцелую. Ты смотри, никому не говори... Смотри же!

— Нет... Я не скажу, — серьезно ответили черные глаза.

Хлопнула резко дверь, тихо щелкнул крючок. Маленькая головка девочки о чем-то озабоченно думала.

VI

Полчаса — не больше — ждал Назаров прихода Медведева.

Чтобы не обращать на себя внимания, он зашел в библиотечную комнату и там у барышни в рваном белом полушубке и белых стоптанных бальных туфлях спросил книгу.

— Вам какую, товарищ? Какая область политики больше всего занимает вас в данный момент? — бойко затараторила барышня, не взглянув на него и роясь в книгах.

— Все равно какую...

— Вы читали «Азбуку коммунизма»?

— Да, смотрел... Дайте какую-нибудь. Безразлично.

— Тогда я рекомендую вам ознакомиться с новой книгой Владимира Ильича «Союз рабочих и крестьян»... Из нее вы увидите, что все нападки на нас...

— Хорошо, давайте! — устало сказал Назаров.

Самоуверенная девушка удивленно вскинула на него своими темными блестящими глазами и спросила другим простым, человеческим тоном:

— Вы нездоровы, товарищ?

— Нет, почему вы так думаете? — усмехнулся Назаров.

— Так... мне показалось, — совсем смутилась девушка.

Хотя для Назарова это явилось и неожиданностью, но на ее вопросы сразу спокойно сообщил ей вымышленные имя, фамилию и адрес.

— Спасибо!

Назаров бессознательно быстро ощупал глазами запасный выход из клуба — темный четырехугольник маленькой двери в библиотеке и вернулся.

Сидел в грязной, неуютной комнате с плохим освещением, беспорядочно и бестолково обставленной разнообразной роскошной мебелью. На полу комнаты лежали шкуры белых и темно-бурых медведей, серых волков, оленей. По ним смело ступали грязные сапоги... На стенах рядом с плакатными фигурами угловатых рабочих, шарообразных купцов и попов висел большой ковер с выгнанными фигурами лебедей. На длинных столах валялись в беспорядке книги, газеты... Тут же стояли дешевые бронзовые фигуры — копии творений Антокольского и Кановы. В углу, рядом с тумбочкой, валялась черная, редкой старинной работы ваза восточного стиля, с изображением гагары — священной птицы шаманов. В нее бросали окурки, плевали... Красноармейцы сидели тут же, в креслах, читали газеты, играли в шашки, а большинство писали письма.

Назаров сел в кожаное кресло невдалеке от шахматных столиков и стал безучастно смотреть в книгу.

— Товарищ... а товарищ!

Назаров поднял голову: на него смущенно смотрел молодой безусый, белобрысый красноармеец:

— Напишите письмо...

— Давайте.

Засаленный листок бумаги и измятый конверт.

— Ну, что писать?

— Пропишите: супруге моей Пелагее Семеновне и родителям Трофиму Ивановичу и Анне Васильевне нижайший поклон...

— Еще что?

— Еще поклон дяде моему...

И красноармеец стал перечислять всех родных и знакомых своей деревни.

И только в конце добавил:

— И говорят еще у нас, что скоро война с буржуями кончится, и мы заключим на всех фронтах мир. Тогда ожидайте меня в скорости домой в добром здравии...

— И с буржуями мир? — усмехнулся неожиданно для себя Назаров.

— Я не знаю... Так говорят у нас, — смущенно замялся красноармеец и на его лице выступили розовые пятна.

— Все?

— Да кажись, все... — совсем покраснел парень. — Вот рази... Не знаю, как выразить... Чтоб жена не баловала до меня. Пленные безобразят... У моего земляка Ивана Скорнякова сын родился, как он в отлучке второй год из дому...

— А у тебя дети есть?

— Нет... Я всего полгода, как женился, — доверчиво блеснул глазами парень.

Назаров секунду задумался, тихо и горько улыбнулся углами губ и написал: «Пелагее передайте мой крепкий супружеский наказ: хранить и беречь себя, как я твердо храню себя здесь. Скоро я вернусь и наша жизнь будет счастливой и ясной. Пусть не рушит нашего будущего счастья, не грязнит и не позорит нашего рода, как многие солдатки по деревням. Передайте ей крепко это от меня».

Красноармеец счастливо заулыбался. Бережно облизал края конверта языком и старательно запечатал. Понес к ящику.

В этот момент в комнату вошел комиссар Медведев с безусым молодым человеком в черном длинном полуплубке. Они быстро прошли в сторону Назарова и сели за шахматы.

Медведев был низкого роста, полный, но не пухлый, с большими серыми, спрятанными под густые брови, глазами.

Назаров, когда увидел вошедших, остро загорелся от волнения, но потом, когда они спокойно уселись за шахматы, быстро остыл и успокоился и стал незаметно наблюдать за ними. Сидели они в трех шагах от него. Он и сам, живя прежде в деревне учителем, любил эту игру, поэтому он даже стал с острым, большим любопытством сле-

дить за ходом партии. Играли они молча, сосредоточенно, уходя в игру все больше и больше с каждым новым ходом.

Медведев скоро поставил своего противника в затруднительное положение.

— Ого! — озабоченно проговорил молодой человек. — Придется помозговать.

Он охватил крепко руками голову и глубоко задумался.

— Мозгуйте, мозгуйте... вид Рима с гор, — медленно и тихо сказал Медведев.

Назарову показалось, что тот произнес конец фразы не по-русски и у него как-то странно слилось в одно:

— Витрима — сгор...

— Ну, кажется, пора, — Назаров нащупал револьвер в глубоком кармане шинели: сталь холодно и чуждо коснулась его руки. Встал. Отложил книгу из стол. В этот момент Медведев достал из простого, черного кожаного портсигара папиросу. Назаров видел, как он взял ее короткими, немного дрожащими пальцами, положил конец в рот, зажег спичку (спички долго не зажигались) и закурил, жадно глотая дым.

«Надо дать ему докурить», — неожиданно и бесспорно подумалось Назарову. «Витрима — сгор...» — почему-то прозвучало опять в ушах навязчивое непонятное слово.

Все его тело охватила дрожь. Он снова сел в кресло.

Медведев продолжал курить.

Подносил ко рту папиросу, жадно и глубоко вдыхал в себя дым и выпускал его тонкими сизыми струйками. Папироса то вспыхивала бледным огоньком, то тускнела и затем снова разгоралась.

— Сейчас конец, — со щемящей тоской и остро-режущим нетерпением подумал Назаров, напряженно следя за папиросой. И вдруг ему как-то совершенно неожиданно показались страшно знакомыми и эта трясущаяся, с еле заметными выступавшими синими жилами рука и эта маленькая белеющая папироса.

— Ну, скорей! — с внутренней мукой понукал он Медведева. В этот момент Медведев вдруг поднял голову от шахматной доски и прямо и широко посмотрел на Назарова, напряженно вглядываясь в него, точно стараясь что-то вспомнить... И тут только Назаров увидел его всего — с головы до ног. Его такую же, как у всех красноармейцев и у Назарова, серую шинель, стоптанные порыжевшие

сапоги, приплюснутую истертую серую папаху и глаза. Глаза у него были большие, серые, глубокие, уставшие и настояще-человеческие с теми еле-уловимыми блеснами тоскливой и больной улыбки и иронии. В них была и усталость, и какая-то конечная, примирившаяся со всем безнадежность.

И ему, Назарову, привычному террористу, вдруг стало по-настоящему жутко. Он не выдержал обнаженного взгляда Медведева, опустил глаза и его внимание с огненной остротой и большим напряжением (так, что у него слегка даже закружилась голова) остановилось на приходявшей к концу папиросе, от которой сейчас зависела жизнь Медведева, эта нелепая связь теперь показалась Назарову безумно-веселой и тоскливо-острой.

— Что за ужас! — подумал он. — И почему это кончается папироса?

И снова то же странное обостренное ощущение всего окружающего охватило его, как и перед уходом из своей комнаты. Он с больной улыбкой и безумной мыслью в глазах стал следить за папиросой. Медведев не докурил ее; он держал ее в своих коротких желтоватых пальцах и было неизвестно, потухла ли она совершенно или под ее пеплом тлеет еще невидимый огонь...

Назаров быстро двинулся к двери. Затем так же быстро и легко повернулся, взял книгу со стола и пошел в библиотеку.

— Спасибо, барышня! — весело и широко сказал он.

Барышня в больших белых стоптанных туфлях с чужой ноги и в рваном полушубке быстро вскинула на него свои острые, черные глаза, хотела было оскорбиться за слово «барышня», но, посмотрев в его лицо, вдруг просто и хорошо улыбнулась ему из глубины своих темных глаз.

Он ответно улыбнулся ей, потом без колебаний вышел из клуба через запасный выход.

Когда Назаров, не убив Медведева и не покушаясь на это, вышел из клуба на двор и вступил на снег, то почувствовал, как остро пахнет первым дыханьем весны. Воздух чуть-чуть щипал ноздри. Снег словно опух и осел. И вдруг над головой Назарова низко-низко обеспокоенно загоготали дикие гуси. Потом, смешавшись, беспорядочно шарахнулись ввысь.

— Что за ерунда? Откуда их занесло такую рань?

Назаров долго и с удовольствием прислушивался к не-
утихавшему успокаивающемуся гоготанью.

— Эх, Михи нет! На перелет скоро двинулись бы! — по-
думал он спокойно, и смутно, но живо воскресли в памяти
широкие степи, перелески, реки...

— Уеду-ка я снова в деревню учителем. Ну их всех,
к чертовой матери! — подумал он, перелезая через забор
на глухую улицу.

VII

Узнав от Чубарова о происшедшем, Лепорский пред-
ложил Назарову явиться опять на ту же дачу, где было
и первое собрание. Назаров сперва хотел решительно от-
казаться, но потом подумал минуту и, чему-то улыбнув-
шись затаенно, мотнул головой в знак согласия.

— Хорошо. Скажи, приду.

Но вечером долго не шел.

Лепорский, Таня и Чубаров ждали его уже около двух
часов. Таня, осунувшаяся и бледная, сидела в безмолвной
позе за столом. Раздраженный Лепорский быстро ходил,
заложив руки назад из стороны в сторону. Порой надевал
на нос пенсне, потом опять снимал их. Серым пятном ма-
ячил у закрытой двери Чубаров, неловко усевшись на же-
лезную печь.

Так же, как и той ночью, во время первого собрания,
выла предвесенняя метель; еще злее била в стены и кры-
шу.

— Он не придет, — жалобно раздалось от двери.

Но в это именно время с террасы послышались тяже-
лые и быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на серой мут-
ной полосе сумерек вырисовалась огромная, нескладная,
темная фигура.

— Извиняюсь. Запоздал... Картошки у Лизы очень
вкусные вышли, — раздался освеженный морозным воз-
духом голос Назарова.

Таня вскочила, потом опять села.

Лепорский сразу успокоился и с достоинством прошел
на то место, где он председательствовал на прошлом со-
брании.

— Товарищ Чубаров, прикройте дверь...

— Ну?

Назаров подошел ближе, остановился против Лепорского и положил на край стола свои большие голые кисти рук.

Лепорский выждал несколько секунд.

— Вам, конечно, известно, или вернее, вы должны понять, товарищ Назаров, зачем мы вас сюда пригласили. На основании моих полномочий и в силу решения прошлого собрания я прошу вас дать объяснение, почему вы не выполнили его, когда вам представлялся такой удобный случай.

Лепорский застыл недвижно, смотря вопросительно на Назарова.

— Еще что скажете?

— Пока все. Отвечайте.

— Ага... Вот оно что! А я то, дурак, подумал, что вы меня вызвали справить тризну по Михе, — усмехнулся Назаров, не отводя взгляда от Лепорского и пригибаясь ниже к столу.

— Товарищ Орлов достойно завершил свою жизнь, — певуче и выразительно начал Лепорский, — и, конечно, партия сумеет передать его имя истории наряду со славными именами Каляева и... — он не мог сразу подыскать другого имени, замедлил на мгновение.

— ...И Лепорского! — его же, приподнято-нарочитым тоном добавил Назаров.

— Гражданин Назаров! — вспыхнул гневно Лепорский. — Я прошу вас отвечать по существу.

— А Михе? — уже упрямо и зло спросил Назаров.

— Отвечайте, желаете дать объяснение?

— Нет! — резко и высоко бросил Назаров, по-прежнему не шевелясь и смотря в упор с ненавистью на Лепорского.

— Хорошо. Тогда, может быть, вы дадите слово исправить свой поступок?

— Нет! — еще резче — точно глубже врубался острый топор — отвечал Назаров. — Я не желаю с вами иметь дела и прошу прекратить допрос.

— Ага, вот как... Что же, может быть, вы желаете покаяться и перейти к нашим врагам? — насмешливо и резко спросил Лепорский.

— К вашим врагам? — медленно и значительно переспросил Назаров, понижая его взглядом. — А вам что за дело? Может быть.

Чубаров, казалось, равнодушно смотрел на все происходившее: серое пятно пристыло к стенке у двери и не двигалось. Таня вспыхивала, привставала и снова садилась.

— А не поздно будет? Вы забыли, что вы уже участвовали в вооруженной борьбе и за вами даже есть заслуги, — опять с злой напряженной иронией спрашивал Лепорский.

— Что ж, донести хотите? — заинтересовался серьезно Назаров.

— Партия не остановится ни перед чем, чтобы обезопасить вас, гражданин Назаров! — с пафосом бросил Лепорский, как-то странно впервые вспыхнув всем лицом.

— Тем лучше! — Назаров выпрямился, пряча руки в рукава шинели. — Ну кажется разговор кончен? — спокойно спросил он.

— О нет! Мы сейчас же должны решить. И я предлагаю немедленно голосовать: отпустить гражданина Назарова или наш партийный долг доставить его в комитет?

— Эге... это любопытно. Занятно! Послушаем... Таня, подвинься чуточку. Я хочу посидеть рядом с тобой...

— Я прошу вас, — зазвенела вдруг Таня истерично, — не издеваться надо мной... Я не желаю сидеть рядом... рядом...

— ...С убийцей? — быстро и значительно спросил Назаров, оборачиваясь и наклоняясь лицом к ней. — Так вы хотите сказать?.. О нет... я не убийца... Я теперь знаю, Таня, убивать человека никак нельзя.

С мягкой, но горячеей и острой горечью летели слова, словно плавилась в нем где-то глубоко.

— Несчастный актер! Предатель! — истерично и звонко закричала Таня.

— Предатель? Но ведь этому же даже Лепорский не поверит. Не так ли, товарищ Лепорский? — повернулся Назаров в его сторону, произнося слово «товарищ» с особым подчеркиванием.

— Призываю к порядку, — Лепорский поднялся и положил перед собой на стол револьвер — черный портативный браунинг, мягко накрыв его обнаженной рукой. Перчатку успел незаметно снять. Назаров, казалось, не обратил на это никакого внимания.

— Я извиняюсь, — спокойно продолжал он обращаясь к Тане, — но я вполне законно занимаю это место: здесь всегда сидел Миха. Вы помните, он играл в чижика. Миха

ведь был всегда против убийства. Теперь я понял его... А вам следует перейти на левый сектор... Вы же за убийство?

— Товарищ Назаров! — раздался вдруг от двери жалобный плачущий голос Чубарова, и слышно было по тону, как он весь дрожал, точно его бил озноб. — Товарищ Назаров! Может быть, вы скажете, разъясните нам...

— О, вам, милый Чубаров, я бы сказал... Да, ведь я же сам не знаю. Ей-богу, не знаю! — с искренностью произнес он. — Это вот Таня и Лепорский знают, почему можно убить человека... А я нет... Я знаю, что убивать никак нельзя... Это я знаю, а почему? Ей-богу, не знаю.

— Итак, товарищи, вопрос ясен. Гражданин Назаров не только не желает дать объяснений, но он и не отрицает для себя возможности перехода к врагам. Я предлагаю голосовать: отпустить его или доставить в комитет. Товарищ Лунева, ваше мнение?

— В комитет...

— Товарищ Чубаров, ваше?

— Я не знаю, — с мукой растерянно произнес тот.

— Странно!..

— Ого, председатель, лишился объективности! — вдруг искренне обрадовался Назаров, закуривая папиросу.

— Извиняюсь. Вопрос решен. Гражданин Назаров, вы арестованы, — Лепорский двинул револьвером по столу и слегка склонился вперед.

— Что? — как будто удивился Назаров, шагнул из-за стола на середину комнаты и медленно повторил: — Арестован?

— Да. Если вы двинетесь, я стреляю. Чубаров, обыскать его.

Чубаров нерешительно шагнул к Назарову.

— Постой, Чубаров. Постой! — мягко и повелительно, словно отмахиваясь от надоевшего ребенка, сказал Назаров и, повернувшись к Лепорскому, так же тихо, но твердо спросил:

— Да вы никак и в самом деле серьезно?

Лепорский навел на него дуло револьвера:

— Не подходите!

Тишина. Била метель в стены.

Назаров, казалось, вглядывался в Лепорского с огромным интересом, вобрав голову в плечи. Чубаров снова

сжался у двери в серое пятно. Странно белела, чуть-чуть дымясь, забытая Назаровым папироса в его опущенной руке. Таня лежала головой на столе, закрывшись от испуга руками.

— Ага! Так вот оно что!.. — сказал Назаров прозрачно-ясным, далеким голосом, словно он понял в это мгновение что-то огромное.

Назаров ничего не видел, перед ним было только одно лицо Лепорского — красивое, резкое, со слегка выпуклым длинным носом, чуть-чуть раздувавшимися ноздрями и блестящим, как темное стекло, взглядом, который внимательно следил за его движениями.

И смотря на него, Назаров вдруг ярко вспомнил, где и как он раньше встречался с Лепорским — все стало для него ясным; его пронизало острие ужаса от нелепости всего происшедшего — мелькнул погибший Миха, и вдруг его крепко, в узел охватила злая решимость.

— Если сделаете шаг вперед или назад... немедленно стреляю!

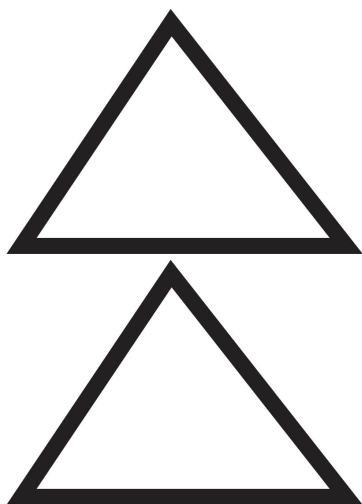
— Не надо!.. Илья, не надо!.. — вдруг в истерике забилась Таня, протягивая перед собой руки в белых перчатках.

В этот момент Назаров стремительно припал к полу, метнулся в сторону, вперед. Из руки Лепорского блеснул полоской огонь. Щелкнул резко выстрел, другой, третий... Назаров опрокинул плечом стол, сбил им с ног Таню, Лепорского и в упор два раза выстрелил ему в голову.

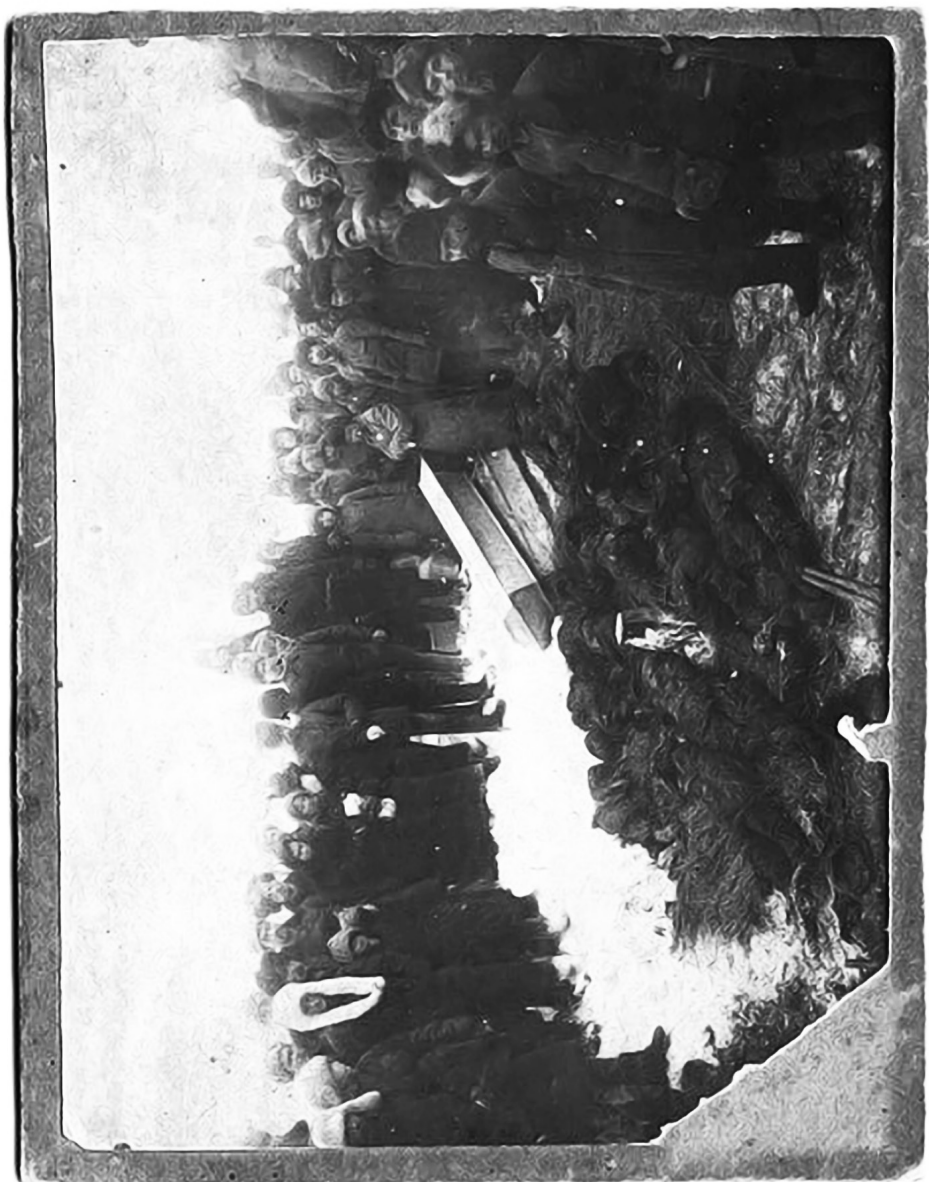
Пронзительно-дико, раздирающе, как раненый заяц, звериным воем закричала Таня, придавленная к стенке крышкой стола. Чубаров метнулся в дверь... Из двери отчаянно хлестнула метель, вырвала дверь из его рук, отшвырнула его обратно. Глухо зазвенела печь. На полу у стены бился с простреленной головой Лепорский, а над ним стоял в уродливо-изогнутой позе огромный, неуклюжий Назаров и, казалось, с любопытством вглядывался в лицо Лепорского. Рядом на полу билась в истерике Таня.

Чубаров в ужасе прижался к стене за печью. Вокруг дачи выла предвесенняя метель.

Федор Абрамов



Сведений о Федоре Абрамове найти не удалось. Отмечается, что других произведений, кроме рассказа «Воскресник» (1925), в журнале «Сибирские огни» не появлялось.



Воскресник

I

Кризис этот начался в девятнадцатом году. Тогда через город прошли на восток сотни тысяч колчаковских беженцев и колчаковская армия. Ехали в поездах, на лошадях и пешком шли. Кто квартиру находил — оставался, а остальные, проходя, оставляли в городе, на станции и в полях возле города трупы. Обязательно оставляли. Без этого не обходился ни один поезд, ни один эшелон. В декабре стали оставлять уже целыми поездами и эшелонами раненых, тифозных и больных. Бросали их, сами дальше уходили, а они замерзали.

В город разных тифов занесли: сыпной, брюшной, возвратный и паратиф. Не было ни одного, кажется, челове-

ка, который бы не переболел. Не было ни одной семьи, где бы не было покойника, а то и всю семью, весь дом целиком уносил тиф. Все больницы были переполнены: лежали не только в палатах, но и в коридорах. Не было дома, где бы не лежали один-два тифозных. Жили скученно, по несколько человек в комнате, было бы где прилечь.

В январе двадцатого года в городе везде встречались подводы и целые обозы с трупами. Это свозили за город со станции, разгружали мертвые поезда, подбирали трупы в окрестностях. На санях везли десять-пятнадцать трупов, все больше раздетых, вымерзших, белых, перетянутых веревкой. Бывает, что везут, а веревка лопнет, и они рассыплются. Женщины сначала в обморок падали, потом ничего — привыкли, стоят и смотрят, нет ли знакомых. Иногда находили.

Возили трупы за город. Там стоял крематорий, но слабо работал: не больше 300 трупов сжигал, а привозили их в несколько раз больше. Пришлось для трупов могилы рыть. Работали какие-то воинские части, потом стали мобилизовать гражданское население. Окрестные крестьяне возили, а городские обыватели могилы рыли.

II

Воскресники устраивали тогда для того, чтобы привлечь к работам служащих и рабочих. Попал наш коллектив в одно воскресенье на рытье могил. Ну и я, конечно. Пришло несколько коллективов, распределили нас по ямам, стали работать. Известно, как работали: чтобы время провести. Ковыряю я киркой, а какая-то девица в стоптанных валенках и овчинном полушубке отбрасывает накопанное мною. Разговорились. Оказалось, беженка из Самары, родных потеряла где-то в Омске, не то живы, не то нет — не знает. Служит в горстатбюро счетчиком, карточки какие-то подсчитывает. Разговариваем, роем и опять разговариваем. А в стороне штабелями сложены трупы, некоторых снегом занесло, некоторые недавно еще сложены. Головы, руки, ноги торчат; на руках пальцы у которых отломаны и потерялись. Посмотрим и роем, а чтобы не скучно было — разговариваем: о пайках, дороговизне, тифе, квартирном кризисе.

Отработали и домой вместе пошли. Хотя плохо работали, но с непривычки усталость чувствовалась, а идти далеко. Есть ужасно хотелось, и было с собою в запасе, но там, с трупами, есть не хотелось. Договорились, что выйдем на дорогу, сядем и поедим. Так и не удалось, на дорогу вышли, а там навстречу обоз с мертвецами.

Дошли до центра и разошлись. Уговорились быть знакомыми.

III

Неделя прошла как-то так. Утром на службе, со службы в столовку горячей воды, именуемой супом, похлебать; бывало, что и кость с признаками мяса достанется; каши пшенной, или просто из целой пшеницы, поешь, сколько достанется. Ложку свою, по-солдатски, в валенках носил. Вечером дома сидеть не хотелось, свету не было. В местном заранее запасешься куда-либо билетом: на лекцию, митинг, собрание какое, а изредка и в кинематограф или спектакль попадешь. Ведь все бесплатно было.

Ее не видел, говорила, где живет, да забыл, а так встретиться не пришлось.

В городе было все то же трупное засилье. На службу ли идешь, со службы ли, обязательно встретишь или похороны, или обоз, или лазаретную линейку. Из лазаретов по одному никогда не возили. Наберется воз, тогда и вывозят. Ежедневно умирало в городе несколько сот, а квартир все-таки не было.

По обыкновению в воскресенье опять воскресник. И опять попал на могилы. Встретились с ней и работаем вместе. Нехорошо было работать: ветер от крематория дул в нашу сторону и многих стошнило. Работало до пятисот человек. Копали сразу несколько громадных и глубоких могил.

Домой вместе пошли. Мечтали дорогой, чтобы в следующее воскресенье на воскресник попасть не на могилы, а куда-нибудь в другое место, ну хоть снег с тротуаров чистить или казармы убирать. Проводил ее до дому, просила заходить. Обещался.

Дома ждала неприятность. Мой сожитель по комнате, совслужащий, ездил куда-то в командировку и вернулся с сыпняком. Придется за ним ухаживать. Сам я еще не

болел, и потому перспектива заразиться громадная. Во всех вещах товарища вши: ехал долго в теплушке и на-собирался. Уйти на другую квартиру — неудобно бросить товарища, да и квартиру не так легко найти.

В четверг достал в месткоме два билета на спектакль, сказал, что сестра приехала, и зашел за моей приятельницей по рытью могил. Живет в маленькой клетушке одна; за стеной жена и сын хозяина лежат в сыпняке. Сходили на спектакль и вернулись поздно, так как всю публику после спектакля задержали и проверяли документы. Без документов никуда нельзя ходить.

IV

В воскресенье повезло. Вместо воскресника на дежурство по учреждению попал. Только и дела было, что принял несколько телеграмм и отослал заву на квартиру.

Вечером пошел к ней. Оказалось, дома сидит и шьет для какой-то больницы белье. Из-за этого освободили от воскресника. Поболтали, потом ходили, шлялись по улицам, но скоро замерзли и разошлись. У ее хозяйки умер сын. Мой товарищ перенес кризис благополучно и теперь температура падает.

Во вторник созвонились по телефону и пошли вместе обедать. Она своей ложки не имеет. Посоветовал ей завести. Через ложку, правда, тифом не заразишься, но можно чем-нибудь другим заразиться.

При нас в столовке произошел скандал. Какому-то гражданину в суп попал коровий хвост. Ну хвост и ладно, посмеялись над счастливым. Стал он его есть, а под хвостом в самом чистом виде кал этой самой коровы. Гражданина рвать принялось, ругался, кричал. Очевидно, человек еще не привычный.

День от дня все хуже становится насчет жратвы. Торговля исчезает, да и покупать-то не на что. Одной столовой не проживешь. Крестьяне денег не берут, давай им чего-нибудь из вещей. А где их возьмешь, в особенности если к тому же человек приезжий.

Трупы все возят. Прямо какое-то трупное наводнение. Привыкли к ним, но все-таки. Теперь стали разгружать линию железной дороги, к западу и востоку от города. Там еще много стояло брошенных замерзших колчаковских

санитарных поездов. Скоро весна, и теперь торопятся поскорее их собрать и зарыть. В городе все то же: везде тиф. На службе хвятишься — то того, то другого нет, говорят, лежит в тифу, или умер тифом. Разговоры все больше о тифе, трупах и квартирах.

V

Опять воскресенье, опять воскресник и опять могилы. Утешают, что наш коллектив и вообще наш район на могилы в последний раз назначают.

Пришли, распределились. Мы опять с ней в паре. Оказалось, что на этот раз нам досталось не могилу рыть, а так как две могилы были уже готовы, то нас заставили трупы в могилу таскать. Не повезет так уж не повезет.

Показали нам, как это делается. Очень просто. Дают веревку двоим. Веревкой зацепят мертвяка за голову или за руку и волоком к могиле, толкнут туда, а там уже есть люди, которые укладывают рядами, чтобы меньше места занимали. Совсем просто: зацепят, приволокут к яме, толкнут и марш за другим. Если бы это были чурки какие деревянные, так даже весело бы было.

Лучше, чем копать.

Делать нечего, пришлось и нам таскать. Ужасно морщилась моя приятельница и все больше отворачивалась. Орудовать уж мне одному приходилось. Зацепил и утащил одного. Зацепил я другого за руку, полусогнутой торчала, дернул — а он примерз, и рука отломилась. Бросил его, зацепил другого и благополучно утащили.

Потом дело совсем наладилось. Выбирали только поменьше, а то были такие дяди, что в нем не меньше семи пудов было. Хотя и вымерзли они все, но все-таки тяжесть порядочная. Кого только тут среди трупов не было: больше были все мужчины, но попадались и женщины; были толстые, безобразные, с громадными животами, были и тоненькие, наверное, когда-то стройные. Почему-то все были раздеты или в одном белье. Изредка попадались убитые — в крови; были татары, или башкиры, находили даже китайцев. Больше всего было мужской молодежи из колчаковской армии.

Рядом с нами работали двое здоровых парней. Зацепили из кучи одного за голову, дернули и оторвали голову.

Постояли, посмотрели на нее и, как ребяташки зимой гоняют замерзший кал, погнали голову к яме, перебрасывая ее один к другому. Кто-то заругался на них.

Многих тошнило. С несколькими женщинами случилась истерика; все были неразговорчивы. Бывает, что и женщины молчат.

Работа по времени подходила уже к концу. Накинул я веревку петлей на какую-то женщину, вытянул из кучи. Смотрю, приятельница как-то дико смотрит на труп. Бросилась на колени, посмотрела, дико закричала: «Мама!!!»

Переполох. Сбежались чуть не все. Она лежит на трупе в истерике, я не знаю, что делать, толпа стоит, молчит. Потом сообразили, оттащили ее от трупа, его поскорее в могилу, а ее снегом оттирать и кормить.

Выпросил у распорядителей сани, на которых трупы возят, усадил ее и домой увез. Так в истерике, полуживой и привез.

VI

Три дня она пролежала. Потом стала на службу ходить. Уговорили ее, что она ошиблась, что ей показалось. Плакала, но понемногу успокаивалась.

Заболел сыпняком. Несколько дней разбаливалась голова, потом слег. Всё трупы мерещились. То на сани укладывал, то руками за ноги таскал их. Бегал от них, а они за мной гонялись. Где-то в поле по снегу, как безумный, несусь, а они за мною целой тучей и не бегут, а летят, вот-вот догонят; кричу, напрягаю все силы. На минуту прихожу в себя. Сожитель и приятельница держат, успокаивают меня. Опять трупы: замерзшие, но двигаются, руки, ноги уродливо согнуты и не шевелятся, головы то подняты, то набок повернуты, молчат, зубы стиснуты и вдруг все бросаются на меня...

Две недели пролежал почти все дни без сознания. В тифозный барак не повезли, оставили дома, хозяйка, товарищ и приятельница поочередно дежурили у меня. В тяжелой форме был тиф; бредил я, бился, стремился убежать, кричал; много было хлопот со мной.

Организм выдержал, прошел кризис, стал поправляться. Ослабел, ноги отчаянно болели. Потом аппетит появился, кажется, все бы съел. Все, кто что мог, носили мне

еду, все казалось вкусным. Наешься, а через час-два опять тянет. Не хватало, что доставали для меня. Хлеба тогда в городе еще много было, ел больше его.

Стал ходить, ноги продолжали болеть. От скуки на службу пошел и все опять пошло по-старому. На воскресники долго не ходил, доктор записку дал.

С приятельницей стал неразлучен. Когда болел, она, оказывается, все свободное время у меня находилась за сиделку.

Трупов в городе меньше стало. Подобрали. Тиф продолжал работать. Организованы были «чекатифы». К весне, однако, пошел на убыль, кажется потому, что все переболели.

Не увернулась и моя приятельница. Ее поймал возвратный. Четыре приступа было. Пришлось повозиться с нею, конечно, мне. Устроил ее в госпиталь хорошо оборудованный. Отлежалась благополучно.

Пришла весна. Трупов уже не было. Подобрали все. Газета писала, что больше пятидесяти тысяч было зарыто в тех могилах, что мы рыли. Столько же почти, сколько живых было в городе.

И только Обь еще долго сверху приносила и выбрасывала на берег остатки.

Летом, когда песок засорял глаза, нестерпимо жгло солнце и все полоскались в мутной Оби, с приятельницей пришлось покончить.

Прошло пять лет. Трупов нет, а если один какой найдется, так об нем в газетах напишут. Но квартирный кризис остался и стал еще хуже, я за пять лет едва сумел отвоевать комнатуху, в которой мы спим, едим и обед готовим, а по полу бегает трехлетний мальчуган, которого я зову «воскресник». «Приятельницы» уже давно нет, а есть жена Женя — та самая, с которой трупы таскали.

common place

издательская инициатива /
волонтерский DIY-проект

Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах
«Фаланстер», «Смена», «Все свободны», «Бакен»,
«Факел», «Пиотровский», «Подписные издания»,
а также заказать с доставкой на сайте
vse-svobodny.com

Больше информации о проекте на сайте **common.place**

СИБИРЬ В ОГНЕ

Неизвестные
рассказы
о Гражданской
войне

Выпускающий редактор — Мария Глушкова

Редактор — Анна Слащева

Оформление серии — Евгения Ставицкая

Подписано в печать 16.09.2017
Формат 84x108/32
Тираж 500 экз.
Заказ № 161

commonplace1959@gmail.com

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 221-89-80